This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 90895

This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967

G. R. Noyes
Zelinskii, V. A., comp.

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ.—Общая характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго.—Критика „Бѣдныхъ Людей".—Критическіе разборы повѣстей и разсказовъ Ѳ. М. Достоевскаго.

СОБРАЛЪ
В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

К87118
ОР18389

МОСКВА.
Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.
1901.

Ке

G. R. Noyes
Zelinskii, V. A., comp.

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ.—Общая характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго.—Критика „Бѣдныхъ людей".—Критическіе разборы повѣстей и разсказовъ Ѳ. М. Достоевскаго.

СОБРАЛЪ
В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

167118
ОР18389

МОСКВА.
Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.
1901.

Ке

PG3328
Z6Z4
1901a
v.1

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

БЫВШИМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орѳографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орѳографическихъ правилъ, орѳографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное,—почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя" открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извощикъ, извосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ орѳографическомъ словарѣ подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ разноцвѣтной окраской обрѣза, 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орѳографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 11-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта". Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орѳографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орѳографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ орѳографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самодѣятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ.—Общая характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго.—Критика „Бѣдныхъ Людей".—Критическіе разборы повѣстей и разсказовъ Ѳ. М. Достоевскаго.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

3

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.

Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.

1901.

Slav 4338.2.930

HARVARD COLLEGE
Sep. 3, 1943
LIBRARY

Prof. George R. Noyes,
Berkeley, Calif.

F
1651
43-027
33

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Выступая въ прошломъ году съ изданіемъ въ свѣтъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева", я чувствовалъ нѣкотораго рода робость. Хотя самъ я лично и не сомнѣвался въ томъ, что моя книга далеко не лишняя для людей, изучающихъ исторію литературы, но однако не могъ навѣрно предвидѣть, какъ на самомъ дѣлѣ примутъ ее *другіе*. Мнѣ оставалось только надѣяться, что общество, несмотря на свое равнодушіе къ критикѣ, все-таки не пропуститъ совсѣмъ безъ вниманія затѣяннаго мною дѣла—собиранія критическихъ статей для изученія произведеній нашихъ популярнѣйшихъ писателей. И дѣйствительно, сравнительный успѣхъ двухъ выпусковъ упомянутой книги оправдалъ мои надежды, и тѣмъ самымъ заставилъ меня приняться съ большею энергіей и смѣлостью за дальнѣйшую работу въ этомъ направленіи.

Цѣль предлагаемаго „Критическаго комментарія" — разъяснить главный смыслъ произведеній Ѳ. М. Достоевскаго путемъ параллельнаго сопостановленія между собою различныхъ критическихъ работъ о Ѳ. М. Достоевскомъ

1885 г. **В. Зелинскій.**

Второе изданіе предлагаемой первой части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго" перепечатано съ перваго изданія безъ перемѣнъ.

1894 г. **В. З.**

Въ настоящую первую часть „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго", вышедшую изъ печати **третьимъ** изданіемъ, вошли не бывшія въ предыдущихъ изданіяхъ этой книги критическія статьи: А. Кирпичникова, В. Буренина и Д. Мережковскаго.

1901 г.

В. З.

Оглавленіе первой части

«Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго».

Стр.

Указатель страницъ, на которыхъ упоминаются имена и предметы, относящіеся къ литературѣ. VII

Ѳеодоръ Михайловичъ Достоевскій. Біографическій очеркъ А. Кирпичникова. 1

Оцѣнка идей, таланта, направленія Ѳ. М. Достоевскаго и вообще характеристика литературной дѣятельности его съ точки зрѣнія разныхъ критикъ.

Критическія статьи:

Н. Булича 24
В. Бѣлинскаго 33
Н. Добролюбова. 35
Изъ „Вѣстника Европы“ (А. В.). 41
П. Михайловскаго. 48
Л. Оболенскаго, изъ „Русскаго Богатства“. 58
Его-же, изъ „Мысли“ 71
Изъ „Моско. Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“. 83
„ „Руси“. 85
Вл. Соловьева 89
Н. Страхова 97
К. Леонтьева. 103
В. Чижа. 115
В. Буренина 123
Д. Мережковскаго. 132

Разборы сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго.

Стр.

„Бѣдные люди“.

Критическія статьи:

П. Анненкова. 141
В. Бѣлинскаго 143
Н. Добролюбова. 150
О. Миллера. 156
Н. Булича. 159

„Повѣсти и разсказы.“

Критическія статьи:

В. Бѣлинскаго. 164
П. Анненкова. 172
Н. Добролюбова. 178
О. Миллера. 191
Н Булича. 199

Указатель страницъ,

на которыхъ упоминаются имена и предметы, относящіеся къ литературѣ.

Анненковъ, П. 37, 141, 143, 172, 178, 202.
„Антонъ Горемыка,“ Григоровича. 30.
Аксаковъ, И. 19, 73, 75, 83.
Бальзакъ. 2, 22.
Беранже. III.
„Біографія и письма Достоевскаго,“ статья В. Буренина. 123.
„Братья Карамазовы.“ 10, 18, 19, 49, 53, 55, 58, 62, 66, 96, 108, 110, 116, 119, 120, 122.
Брокгаузъ, Ф. I.
Буличъ, Н. 24, 33, 156, 159, 162, 199.
Буренинъ, В. 123, 132.
„Бѣдные Люди.“ 3, 4, 19, 33, 34, 38, 42, 46, 67, 94, 98, 99, 125, 126, 141, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 191.
Бѣлинскій, В. Г. 3, 4, 6, 14, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 42. 43, 45, 46, 47, 132, 141, 142, 143, 148, 149, 156, 157, 159, 163, 164, 168—171, 195, 196, 199, 200.
„Бѣлыя Ночи.“ 5, 116, 163, 203.
„Бѣсы.“ 10, 12, 14. 49, 55, 67, 95, 96, 102, 110, 116, 119, 131.
„Ваалъ,“ Писемскаго. 58.
Вельтманъ. 2.
Вогюэ. 23.
„Война и Миръ,“ Л. Толстого. 18, 116.
Вольтеръ. 18.
„Воспоминанія и критическія замѣтки,“ П. Анненкова. 37, 141, 172, 202.
Врангель, А. Е. 11.
„Время,“ журн. 9, 10, 44, 47, 163.
„Вѣстникъ Европы.“ 41, 48.
„Вѣчный Жидъ.“ 167.

„Вѣчный Мужъ.“ 12, 14. 116, 131, 163, 203.
Гангенъ. 122.
Гартманъ, Эд. 107, 108.
Гегель. 75.
„Герой нашего времени,“ Лермонтова. 34.
Гете. 2.
Гиппократъ. 118.
Гоголь. 3, 5, 6, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 94, 97, 98, 99, 116, 151, 156, 168, 169, 170, 191.
„Голосъ,“ газ. 73.
Гомеръ. 3.
Гонкуръ. 122.
Гончаровъ. 30, 91, 93, 132, 139.
Горбуновъ, актеръ. 72.
„Господинъ Прохарчинъ.“ 116, 163, 169.
Гофманъ. 2, 22, 42, 43, 171.
„Гражданинъ.“ 14, 15, 44, 47.
Грановскій. 14.
„Графъ Монте-Кристо.“ 167.
Грибоѣдовъ. 3, 97.
Григоровичъ, Д. В. 3, 30.
Григорьевъ, Ан. 47.
„Губернскіе Очерки,“ Щедрина. 10, 38.
Гюго, В. 2, 94, 99, 130.
„Давидъ-Копперфильдъ.“ 139.
„Двойникъ.“ 4, 33, 34, 42, 116, 122, 142, 144, 158, 163, 164, 165—169, 172, 178, 180, 181, 191, 192, 199, 200.
„Дворянское Гнѣздо,“ Тург. 93.
Державинъ. 39.
„Деревня,“ Григоровича. 30.
Диккенсъ. 22, 94, 100, 139.
„Дневникъ Писателя.“ 3, 14, 16, 17, 19, 20, 44, 47, 51, 56, 58, 59, 67, 78, 87, 99, 100, 104, 128, 160.
Добролюбовъ, Н. 10, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 149, 150, 156, 158, 178, 191, 192, 193, 195, 199.
„Донъ-Кихотъ.“ 13, 139.
„Достоевскій какъ психопатологъ,“ В. Чижа. 116.
„Достоевскій какъ художникъ.“ Статья Д. Мережковскаго. 132.
Достоевскій, М. 11.
Дуровъ. 6.
„Дядюшкинъ Сонъ.“ 9, 116, 163, 194.
„Елка и свадьба.“ 4, 163, 204.
Евангеліе. 59. 87, 109, 112.
„Житіе великаго грѣшника.“ 18.
Жоржъ-Зандъ. 2, 3, 22, 94, 106, 111.
Жуковскій, В. 2.
Загоскинъ. 2.
„Забитые Люди“, Добролюбова. 35, 150, 158, 178.

„Замѣтка въ защиту Достоевскаго отъ обвиненія въ *новомъ* христіанствѣ.“ Вл. Соловьева. 115.
„Заря,“ журн. 12, 13, 131.
„Записки изъ мертваго дома.“ 6—9, 46, 56, 67, 72, 91, 99, 101, 110, 122, 129, 130.
„Записки Охотника,“ Тургенева. 30, 93, 175, 202.
„Записки Сумасшедшаго,“ Гоголя. 4, 34, 98, 116, 191, 192.
„Записки изъ подполья.“ 11, 67, 163, 193, 195.
„Записки Современника.“ 48.
„Запутанное Дѣло,“ Щедрина. 38.
„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ.“ 163, 196.
„Игрокъ.“ 11, 12, 163. 194.
„Идіотъ.“ 10, 12, 13, 49, 53, 54, 100, 116.
„Икарія,“ Кабе. 58.
Кабе. 58.
„Казаки,“ Толстого. 92.
Кампанелла. 58.
Карамзинъ. 2, 39, 97.
Катковъ, М. 12, 73, 74, 75, 83.
Каширевъ. 131.
Кирпичниковъ, А. 1, 23.
Клеркъ, докт. 119.
Кольцовъ. 142.
Контъ. 83.
Корнель. 3.
Котъ Муръ. 2.
Краевскій. 127.
Крафтъ-Эбингъ. 117.
„Крокодилъ. Необыкновенное событіе, или пассажъ въ пассажѣ.“ 11, 163, 204.
Кромвель. 2.
„Кто виноватъ?“ Герцена. 31.
Кукольникъ. 31.
Лажечниковъ. 2.
Lambroso. 119, 120.
Лажечниковъ. 2.
Леонтьевъ, К. 103, 115.
Лермонтовъ. 33, 34.
Майковъ, А. 9, 13.
„Маленькій Герой.“ 6, 163, 204.
„Мальчикъ у Христа на елкѣ.“ 16.
Марлинскій. 42, 43, 171.
Мережковскій, Д. 123, 132, 140.
Мержеевскій, И. 122.
Мещерскій, кн. 44, 47.
„Les Miserables,“ В. Гюго. 34.
Миллеръ, О. 124, 156, 158, 191, 199.
Милль. 73.
Михайловскій, Н. 48, 58.
Монбелли. 6.
Морель. 119.
Моръ, Т. 58.
„Московскія Вѣдомости.“ 83.
„Муза Достоевскаго и муза Тургенева,“ Л. Оболенскаго. 58.

„Мысль," журн. 58, 59, 71.
„Мѣщане," Писемскаго. 58.
Нарѣжный. 2.
„Наши новые христіане," брошюра К. Леонтьева. 103.
Некрасовъ, Н. 3, 42, 142, 143.
Неплюевъ. 80.
„Неточка Незванова." 5, 6, 116, 163, 203.
„Новь," Тургенева. 93.
Оболенскій, Л. Е. 58, 71, 83.
„Обыкновенная исторія," Гончарова. 30.
Одоевскій, кн. 126.
„О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы", Д. Мережковскаго. 132.
Островскій, А. 43, 75, 92, 98.
„Отверженные," В. Гюго. 130.
„Отечественныя Записки." 3, 4, 5, 15, 25, 33, 41, 48, 143, 163, 164, 172.
„Отцы и Дѣти," Тургенева. 93, 134.
„Оцѣнка идей Достоевскаго," статья Оболенскаго. 71.
Панаевъ. 127.
„Парижскія Тайны." 167.
Петрашевскій. 6, 45, 46.
„Пиквикъ." 13.
Писемскій, А. 57.
„Письма русскаго путешественника," Карамзина. 39.
Плещеевъ. 6.
„Подростокъ." 9, 10, 15, 116, 122, 123.
Полевой. 2, 31.
„Ползунковъ". 67.
Прево-Парадонь. 113.
„Преступленіе и наказаніе." 10, 11, 12, 22, 47, 48, 95, 99, 108, 110, 116, 120, 121, 130, 139, 140, 160.
„Просвѣщенное Время," Писемскаго. 58.
„Прохарчинъ." 4.
„Публичныя Лекціи," О. Миллера. 156, 191.
Пушкинъ, А. 2, 3, 19, 20, 21, 33, 39, 91, 94, 97, 98, 101, 110, 147.
„Разсказы бывалаго человѣка." 4, 163, 175. 202.
Расинъ. 3.
„Ревизоръ," Гоголя. 39, 168.
„Ревнивый Мужъ." 4, 163, 202.
„Романъ въ девяти письмахъ." 4, 163, 204.
„Русь," газ. 83, 85, 89, 99.
„Русскій Вѣстникъ." 11, 12, 18, 83, 85, 115, 116.
„Русское Слово." 9, 163.
„Русское Богатство." 58.
Руссо. 39.
„Сборникъ," Некрасова, 143.
„Село Степанчиково." 9, 163, 192.
Сервантесъ. 139.

„Скверный Анекдотъ". 10, 163, 193.
Скоттъ, В. 2.
„Скупой Рыцарь." 15.
„Слабое Сердце." 4, 5, 116, 121, 122, 163, 173, 200.
„Современникъ." 4, 5, 35, 148, 149, 150, 163, 168, 169, 170, 172, 178.
Созерцатель (псевдонимъ Оболенскаго). 58.
„Солдатская Бесѣда." 6.
„Солнечное Государство," Кампанеллы. 58.
Соловьевъ, Вл. 83, 89, 97, 115.
„Сорока-воровка." 31.
Сиѣшневъ. 6.
„Станціонный Смотритель." 98.
„Старосвѣтскіе Помѣщики." 39.
Стелловскій. 12, 13, 131, 163.
Страховъ, Н. 13, 83, 90, 96, 97, 102.
Суворинъ, А. 73, 76.
Толстой, Л. 18, 90 - 93, 99, 101, 116, 132, 133, 134.
„Три рѣчи въ память Достоевскаго," брошюра Вл. Соловьева. 89, 115.
„Три Смерти," Толстого. 92.
Тургеневъ, И. С. 14, 30, 58, 60, 61, 62, 70, 92, 93, 132, 133, 134, 175, 202.
Тютчевъ. 130.
Уголино. 2.
„Униженные и оскорбленные." 9, 13, 35, 43, 46, 67, 91, 94, 116, 119, 129, 160.
„Ускокъ." 3.
„Утопія," Томаса Мора. 58.
„Фаустъ," Гете. 2, 78.
Фонвизинъ. 97.
„Хозяйка." 5, 101, 116, 149, 163, 170, 172, 173, 202.
Чаадаевъ. 18.
Чернышевскій. 11, 14.
„Честный Воръ." 4, 116, 163, 173, 175.
Чижъ, В. 115, 116, 123.
„Что дѣлать?" Чернышевскаго. 58.
„Чужая Жена." 163, 202.
„Чужая Жена и мужъ подъ кроватью." 163.
Шекспиръ. 116, 118.
Шелингъ. 75.
Шинель, Гоголя. 4, 25, 98, 156, 160, 191.
Шиллеръ. 3.
Шлегель. 22.
Щедринъ (Салтыковъ). 10, 37, 38.
Энциклопедическій словарь, Ф. Брокгауза. 1.
„Эпоха," журн. 10, 11, 44, 47, 163.
Эрнани. 2.
„Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія," Н. Булича. 24, 159, 199.

Ѳеодоръ Михайловичъ Достоевскій.

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

*) Знаменитый романистъ, родился 30 октября 1821 г., въ Москвѣ, въ зданіи Марьинской больницы, гдѣ отецъ его служилъ штабъ-лѣкаремъ. Мать, урожденная Нечаева, происходила изъ московскаго купечества (изъ семьи, повидимому, интеллигентной). Семья Достоевскаго была многочисленная (всѣхъ дѣтей было семь: Ѳеодоръ—второй сынъ), а средства небольшія. Жизнь въ семьѣ шла очень однообразно: удовольствія и гости составляли большую рѣдкость. Въ маленькой казенной квартирѣ дѣти проводили большую часть времени на глазахъ родителей; азбукѣ научила ихъ мать. Позднѣе къ старшимъ мальчикамъ ходили два учителя: діаконъ для Закона Божія и М-lle Сушардъ (впослѣдствіи Драпусова) для французскаго языка. Отецъ пользовался всякимъ случаемъ, чтобы сообщать дѣтямъ полезныя свѣдѣнія; онъ былъ очень суровъ и требователенъ, и хотя никогда не билъ дѣтей, но сыновья боялись его. Онъ часто повторялъ дѣтямъ, что онъ человѣкъ бѣдный, что они сами себѣ должны пробивать дорогу. Достоевскій былъ ребенокъ очень живой, первый выдумщикъ въ играхъ и шалостяхъ. Онъ учился хорошо и рано началъ читать. Ему шелъ одиннадцатый годъ, когда родители его пріобрѣли въ Тульской губерніи небольшое имѣніе, гдѣ стали проводить лѣтніе мѣсяцы. До тѣхъ поръ онъ зналъ изъ „природы“ только больничный садъ да Марьину рощу; но о „народѣ“ онъ уже имѣлъ нѣкоторое понятіе черезъ няню, а особенно черезъ деревенскихъ кормилицъ, которыя разсказывали ему страшныя сказки. Домъ въ деревнѣ былъ маленькій, и мальчики все время проводили на воздухѣ и въ полѣ, часто среди крестьянъ. Это было лучшее время въ жизни Достоевскаго. Въ 1834 году онъ поступилъ съ братомъ Михаиломъ въ извѣстный пансіонъ Чермака. Въ пансіонѣ братья особенно

*) А. Кирпичниковъ. „Энциклопедическій словарь“ Ф. Брокгауза, XI томъ.

увлекались уроками словесности, а дома все время отдавали чтенію. Достоевскій перечиталъ не одинъ разъ исторію Карамзина, повѣсти его же, Жуковскаго, рядъ романовъ В. Скотта, Загоскина, Лажечникова, Нарѣжнаго, Вельтмана, а Пушкина оба брата знали почти наизусть. Ѳеодору Достоевскому шелъ шестнадцатый годъ, когда онъ лишился матери; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отецъ отвезъ его въ С.-Петербургъ и опредѣлилъ въ началѣ 1838 г. въ инженерное училище, одно изъ лучшихъ учебныхъ заведеній того времени. Но для Достоевскаго трудно было и выдумать условія антипатичнѣе тѣхъ, въ какія онъ былъ тамъ поставленъ. Нервный, впечатлительный, болѣзненный, онъ не могъ примириться съ военной дисциплиной и шагистикой; для чертежей у него не хватало терпѣнія; къ математикѣ сердце его совсѣмъ не лежало. Мнительность отца совсѣмъ не пріучила его къ товариществу, а съ братомъ онъ долженъ былъ разстаться; состоятельность большинства товарищей доставляла неимѣвшему никакихъ карманныхъ денегъ, самолюбивому Достоевскому унизительное страданіе. Семнадцати-лѣтній юноша держится особнякомъ отъ класса, пріобрѣтаетъ репутацію нелюдимаго чудака. У него развивается мучительное для него самого самолюбіе; природная впечатлительность, скрываемая отъ окружающихъ, доходитъ до крайней степени. Въ 1841 г. Достоевскій произведенъ въ офицеры; въ 1843 г., по окончаніи полнаго курса, онъ зачисленъ на службу при с.-петербургской инженерной командѣ и командированъ въ чертежную инженернаго департамента. И въ офицерскихъ классахъ училища и потомъ на дѣйствительной службѣ онъ продолжаетъ свою отшельническую жизнь, изводя себя надъ чтеніемъ и надъ попытками творчества. Изъ его писемъ къ брату видно, что уже въ 17 лѣтъ онъ весь ушелъ въ литературу, даже до нѣкотораго извращенія мыслей и языка. Вотъ, наприм., что прочитано имъ въ короткія лѣтнія вакаціи: „Весь Гофманъ, русскій и нѣмецкій (т. е. не переведенный Котъ Муръ), почти весь Бальзакъ, Фаустъ Гете и мелкія стихотворенія, Исторія Полевого, Уголино, Ундина, В. Гюго, кромѣ Кромвеля и Эрнани“. Глубоко знаменательно соединеніе двухъ такихъ противуположностей, какъ чистокровный романтикъ и фантастъ Гофманъ и реалистъ Бальзакъ. Къ этимъ двумъ именамъ слѣдуетъ прибавить еще третье—Жоржъ

Зандъ, романами которой Достоевскій зачитывался около того же времени. Черезъ много лѣтъ (въ „Дневникѣ Писателя") вспоминаетъ онъ, что послѣ чтенія Ускока всю ночь провелъ въ лихорадкѣ. Онъ восхищается Зандомъ за то, что она „проповѣдуетъ красоту въ милосердіи, терпѣніи и справедливости", за то, что она предчувствуетъ болѣе счастливое будущее человѣчества. Онъ бредитъ Шиллеромъ, знаетъ сонеты Шекспира, цитируетъ наизусть не только Гоголя и Грибоѣдова, но и Расина съ Корнелемъ, которыхъ сравниваетъ съ Гомеромъ; интересуется критикой и исторіей литературы. И выйдя въ офицеры, Достоевскій бредитъ одной литературой. Голова его переполнена планами изданій своихъ и чужихъ переводовъ; ими мечтаетъ онъ уплатить свои долги и даже нажиться; онъ и любимаго брата убѣждаетъ поддерживать увеличивающуюся семью литературными трудами. Можно думать, что на сцену русской литературы выходитъ какой-то литературный промышленникъ. Но Достоевскій самъ себя обманываетъ: дѣло совсѣмъ не въ деньгахъ, а въ страстномъ влеченіи къ литературной дѣятельности.

Осенью 1844 г. Достоевскій подаетъ въ отставку. Онъ намѣренъ жить литературнымъ трудомъ и „адски работать". Переписавъ свою первую повѣсть, онъ уже сравниваетъ себя съ Пушкинымъ и Гоголемъ и также, какъ они, желаетъ „крѣпиться и не писать на заказъ". Онъ жалѣетъ, что будетъ принужденъ отдать свое первое произведеніе въ „Отеч. Зап.", „разумѣется, за безцѣнокъ", но утѣшаетъ себя тѣмъ, что его прочтутъ по крайней мѣрѣ сто тысячъ человѣкъ и что черезъ мѣсяцъ онъ выпуститъ повѣсть отдѣльной книжкой: „ее купятъ всѣ, кто покупаетъ романы". Въ маѣ 1845 г. Достоевскій отдалъ свою повѣсть не въ „Отеч. Зап.", а, по указанію Д. В. Григоровича, Некрасову, собиравшемуся печатать „Сборникъ". Впечатлѣніе, произведенное ею на Некрасова, Григоровича, Бѣлинскаго, было потрясающее. Бѣлинскій привѣтствовалъ его словами: „Вамъ правда открыта и возвѣщена, какъ художнику, досталась, какъ даръ; цѣните же вашъ даръ, оставайтесь вѣрны ей и будете великимъ художникомъ". Это была самая восхитительная минута во всей молодости Достоевскаго; въ каторгѣ онъ вспоминалъ о ней и укрѣплялся духомъ. Позднѣе члены того же литературнаго кружка далеко не съ такимъ восторгомъ говорили о „Бѣд-

ныхъ людяхъ". Послѣдующія произведенія Достоевскаго Бѣлинскій называлъ „нервической чепухой", и съ свойственной ему стремительностью готовъ былъ совсѣмъ разжаловать его изъ крупныхъ писателей.

Повѣсть написана истиннымъ, хотя еще и мало опытнымъ художникомъ. На первомъ планѣ для него не красота и сила, а вѣрность впечатлѣнія. Оттого его повѣсть мѣстами и кажется растянутой, скучной, какъ часто бываетъ скучна и однообразна сама жизнь. Но автора нельзя считать реалистомъ чистаго типа, простымъ наблюдателемъ жизни; онъ беретъ не среднихъ людей, а людей особенныхъ, именно несчастныхъ и забитыхъ, и въ то же время съ самой тонкой душевной организаціей; онъ изслѣдуетъ ихъ душу до крайней ея глубины, въ моменты особенно сильнаго ея возбужденія. Онъ дѣйствуетъ анализомъ, а не синтезомъ, какъ онъ самъ говоритъ со словъ Бѣлинскаго. Успѣхъ, выпавшій на долю „Бѣдныхъ людей", могъ бы вскружить голову и самому флегматичному, вполнѣ зрѣлому человѣку; болѣзненно самолюбивый Достоевскій былъ возбужденъ имъ до крайней степени. Планы самые грандіозные такъ и кипятъ въ его головѣ. Не кончивъ одной работы, онъ хватается за нѣсколько новыхъ. Въ каждомъ послѣдующемъ произведеніи онъ мечтаетъ сдѣлать огромный шагъ впередъ, „заткнуть за поясъ" и самого себя и всѣхъ другихъ. До своего ареста въ 1849 г. Достоевскій, по прежнему страшно много читавшій, написалъ десять повѣстей, не считая множества набросковъ и вещей неконченныхъ. Самая обширная изъ повѣстей, непосредственно слѣдующая за „Бѣдными людьми" — „Двойникъ" („Отеч. Записки" 1846 г.). Это одна изъ наиболѣе тяжелыхъ мучительныхъ вещей Достоевскаго для чтенія и одна изъ самыхъ характерныхъ по содержанію. Какъ „Бѣдные люди" — „Шинелью", такъ „Двойникъ" вдохновленъ „Записками Сумасшедшаго" Гоголя, но отличается отъ нихъ крайнею растянутостью и несравненно болѣе глубокимъ анализомъ. Въ слѣдующихъ повѣстяхъ: „Прохарчинъ" („Отеч. Зап." 1846 г.), „Слабое сердце" (т. же 1848 г.), „Романъ въ девяти письмахъ" („Совр." 1847 г.), „Ревнивый мужъ" („Отеч. Зап." 1848 г.), „Честный воръ" („Отеч. Зап." 1848 г., подъ заглавіемъ: „Разсказы бывалаго человѣка"), „Елка и Свадьба" („Отеч. Зап." 1848 г.—наиболѣе стройное и изящное его

произведеніе этого періода), Достоевскій изучаетъ тотъ же чиновничій міръ, на который натолкнулъ его Гоголь; но онъ идетъ дальше учителя въ двухъ отношеніяхъ. Типы у него гораздо разнообразнѣе: рядомъ съ жалкими, придавленными до отупѣнія или опустившимися до безпробуднаго пьянства „чиновниками для письма“ и надутыми до потери человѣческихъ чувствъ „ихъ превосходительствами“, онъ выводитъ и чиновниковъ средней величины, обезпеченныхъ матеріально и претендующихъ на бонтонность, и болѣзненно-чувствительныхъ мечтателей въ родѣ Васи („Слабое сердце“), и грубоватыхъ на видъ, но счастливыхъ чужимъ счастьемъ людей въ родѣ Аркадія (тамъ же). Во вторыхъ, Достоевскій глубже изслѣдуетъ эти типы и ихъ душевныя движенія и создаетъ интереснѣйшіе психическіе этюды, то ужасные по своей нагой беззастѣнчивости, то глубоко, до болѣзненности трогательные, но никогда не достигающіе художественной ясности, прелести и законченности повѣстей Гоголя.

Особую группу представляетъ „Хозяйка“ (Отеч. Зап.“ 1847 г.), „Бѣлыя ночи“ („Очеч. Зап.“ 1848 г.) и „Неточка Незванова“ („Отеч. Зап.“ 1849 г.). Это—не физіологическія картины служащаго Петербурга, а первые наброски пробуждающагося творчества крупнаго художника. Въ рукѣ его пока нѣтъ вѣрности и твердости; онъ еще не можетъ найти надлежащаго тона; образы его еще не ясны ему самому, но въ нихъ уже чувствуется созидающая сила; она слышится даже и въ самомъ тонѣ рѣчи, въ оригинальномъ и сильномъ языкѣ. Во всѣхъ этихъ трехъ повѣстяхъ рѣзко выступаютъ особенности будущаго Достоевскаго: его герои — люди „съ судорожно напряженной волей и внутреннимъ безсиліемъ“, люди, которымъ обида и униженіе доставляютъ болѣзненное наслажденіе—люди, которые въ себѣ самихъ не могутъ отдѣлить любви отъ ненависти, и сами себя не понимаютъ, себя самихъ „вмѣстить не могутъ“. Въ продолженіе всего этого перваго періода своей литературной дѣятельности Достоевскій, несмотря на хорошій заработокъ, былъ кругомъ въ долгахъ и „въ тискахъ у нужды“—до того плохо умѣлъ онъ устраивать свои денежныя и вообще практическія дѣла. Здоровье его тоже было въ очень неудовлетворительномъ состояніи; онъ нѣсколько разъ думалъ серьезно заняться имъ, но не было ни средствъ ни времени. Съ кружкомъ „Современника“

онъ скоро совсѣмъ разошелся; съ однимъ Бѣлинскимъ онъ поддерживалъ хорошія отношенія довольно долго, хотя очень оскорблялся его неблагопріятными отзывами о послѣднихъ его повѣстяхъ.

„Неточка Незванова" осталась неоконченной вслѣдствіе катастрофы, постигшей Достоевскаго: въ ночь на 23 апрѣля 1849 г. онъ былъ арестованъ и провелъ восемь мѣсяцевъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ Петропавловской крѣпости. Онъ написалъ тамъ повѣсть „Маленькій герой", напечатанную только въ 1857 г. Причиной ареста было такъ называемое дѣло Петрашевскаго. Достоевскій былъ судимъ за то, что посѣщалъ собранія у Петрашевскаго три года, слушалъ сужденія и самъ принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры, и на одномъ собраніи, въ мартѣ 1849 г., прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для списанія копіи Монбелли; на собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предложеніи завести литографію, у Спѣшнева слушалъ чтеніе „Солдатской бесѣды". Приговоръ генералъ-аудиторіата о немъ гласитъ: „За участіе въ преступныхъ замыслахъ, распространеніе письма литератора Бѣлинскаго, полнаго дерзкихъ выраженій противъ православной церкви и верховной власти, и за покушеніе, вмѣстѣ съ прочими, къ распространенію сочиненій противъ правительства посредствомъ домашней литографіи" онъ ссылается на каторгу на восемь лѣтъ. Государь измѣнилъ это наказаніе, утвердивъ каторгу „на четыре года, а потомъ рядовымъ". 21 декабря 1849 г., Достоевскій вмѣстѣ съ другими осужденными былъ вывезенъ на Семеновскій плацъ, гдѣ всѣмъ имъ былъ прочитанъ приговоръ къ смертной казни черезъ разстрѣляніе, потомъ объявлено помилованіе и приговоръ въ окончательной формѣ. 24 декабря Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. Въ это время онъ не чувствовалъ себя подавленнымъ и утѣшалъ при прощаніи брата Михаила, говоря, что „и въ каторгѣ не звѣри, а люди", и что по выходѣ изъ каторги ему „будетъ о чемъ писать". Дорога до Омска въ суровое время года не легко отозвалась на здоровьѣ Достоевскаго: у него открылись золотушныя раны на лицѣ и во рту. Жизнь Достоевскаго въ острогѣ хорошо извѣстна по „Запискамъ изъ мертваго дома", гдѣ, какъ онъ самъ говоритъ,

онъ, „подъ вымышленными именами разсказалъ свою жизнь въ каторгѣ и описалъ своихъ прежнихъ товарищей каторжныхъ“: краски только немного гуще въ секретно пересланномъ, откровенномъ письмѣ къ брату, писанномъ 22 февраля 1854 г., т. е. почти сейчасъ же по выходѣ изъ острога. Относительно того, какъ повліяло на Достоевскаго одиночное заключеніе, приговоръ на Семеновскомъ плацу и каторга, есть два совершенно противуположныя мнѣнія. Одни, опираясь на его же собственныя слова, говорятъ, что судьба оказалась къ нему „не мачихой, а суровой матерью“, что страшное испытаніе, имъ вынесенное, излѣчило его отъ многихъ недостатковъ, выработало его убѣжденія, а наблюденіе окружающаго раскрыло передъ нимъ такіе горизонты и такія глубины души человѣческой, какихъ не видалъ ни одинъ писатель до него. Другіе весь болѣзненный надрывъ его произведеній, его мистицизмъ и его переходъ изъ одного лагеря въ другой объясняютъ тѣмъ, что каторга сломила его нравственно, не говоря уже о томъ, что окончательно погубила его здоровье. Первые забываютъ, что Достоевскій и въ раннихъ своихъ произведеніяхъ выказывалъ необыкновенную глубину анализа, а съ другой стороны, онъ и послѣ каторги остается тѣмъ же болѣзненно самолюбивымъ и нетерпѣливымъ человѣкомъ и тѣмъ же поэтомъ безысходнаго страданія, душевныхъ ненормальностей и болѣзней. Вторые упускаютъ изъ виду слабыя стороны произведеній его перваго періода. Что каторга не сломила Достоевскаго, видно изъ той энергіи и жажды умственной жизни, которая проявляется хотя бы въ упомянутомъ письмѣ къ брату (онъ настоятельно проситъ у него и отцевъ церкви, и историковъ, и экономистовъ); но она не могла не надломить его, какъ это видно изъ приниженнаго тона тѣхъ же сибирскихъ писемъ (братъ Михаилъ для него „благодѣтель“, сестры, которыя не забыли его „горемычнаго“—ангелы) и изъ тѣхъ средствъ, которыми надѣется онъ снискать себѣ полное прощеніе (патріотическія стихотворенія и пр.); да и четыре года невольнаго умственнаго застоя не могли пройти безслѣдно, не говоря уже о падучей болѣзни, которая теперь опредѣлилась совершенно ясно. Впрочемъ, этотъ „надломъ“ нисколько не отражается на „Запискахъ изъ мертваго дома“, надъ которыми онъ принимается работать по освобожденіи. „Записки изъ мертваго дома“—наиболѣе художествен-

ное, единственное безусловно-художественное произведеніе Достоевскаго, такъ какъ въ нихъ великая идея и прекрасная форма вполнѣ уравновѣшены между собою. Во всѣхъ его послѣдующихъ произведеніяхъ идея какъ будто подавляетъ самого автора и беретъ надъ формою верхъ; онъ стремится выразить эту идею съ такою же силою и убѣдительностью, съ какою самъ сознаетъ и чувствуетъ ее, а это ему удается не сразу. Добившись, наконецъ, выраженія точнаго и достаточно сильнаго, онъ не рѣшается исключить всѣ прежнія попытки, такъ какъ въ нихъ извѣстная сторона идеи выражена съ большею ясностью, нежели въ окончательной формѣ. Онъ, конечно, сознаетъ, что отъ этого страдаетъ стройность композиціи; но онъ всегда склоненъ жертвовать красотою для истины. По той же причинѣ Достоевскій, столь ревнивый въ оригинальности своихъ произведеній со стороны идеи, не задумываясь повторяетъ свои типы и положенія, если находитъ, что ихъ можно выразить еще сильнѣй и рельефнѣй, нежели онъ сдѣлалъ это прежде. Но очень часто Достоевскій не имѣлъ физической возможности выправить свое произведеніе и сдѣлать его болѣе сильнымъ и стройнымъ. Первая часть была уже въ рукахъ читателей въ то время, когда онъ писалъ вторую. Причины, почему такъ исключительно посчастливилось „Зап. изъ мертваго дома", двѣ: первая, конечно—содержаніе, не выдуманное, а данное собственной жизнью, что для поэта правды всегда представляетъ огромныя выгоды; вторая—та, что, работая надъ ними, Достоевскій не могъ имѣть въ виду скоро напечатать ихъ по цензурнымъ условіямъ, писалъ ихъ почти для себя и такимъ образомъ имѣлъ полную возможность выносить ихъ въ душѣ своей.

Послѣ каторги солдатская служба не могла показаться Достоевскому особенно тяжкой, да и продолжалась она не долго: 1-го октября 1855 г. онъ произведенъ въ прапорщики. Въ это время въ жизни его совершался романъ, повидимому, довольно болѣзненнаго характера; онъ закончился тѣмъ, что 6-го марта 1856 г. въ г. Кузнецкѣ Достоевскій женился на вдовѣ Марьѣ Дмитріевнѣ Исаевой. Бракъ увеличилъ денежныя нужды Достоевскаго (у него былъ пасынокъ, о которомъ онъ заботился всю послѣдующую жизнь), и ему еще чаще пришлось обращаться за помощью къ друзьямъ и брату Михаилу, который въ это время состоялъ во главѣ торговаго предпріятія-

тія, шедшаго довольно удовлетворительно (напрасная фабрика). Въ 1859 г. Достоевскій прощенъ и ему дозволено выйти въ отставку и вернуться въ Россію. Въ этомъ же году онъ печатаетъ двѣ большія повѣсти „Дядюшкинъ сонъ" („Русское Слово") и „Село Степанчиково и его обитатели" („Отеч. Зап."). „Дядюшкинъ сонъ" — одно изъ наименѣе субъективныхъ произведеній Достоевскаго. Тема его до крайности невинная, не имѣвшая ни малѣйшаго отношенія къ жгучимъ вопросамъ дѣйствительности: это—исторія неудачной попытки женить полуразвалившагося старика на красивой и умной барышнѣ. Достоевскій былъ, очевидно, недоволенъ тѣмъ, какъ онъ справился съ этой темой, и черезъ пятнадцать лѣтъ переработалъ ее вновь въ „Подросткѣ", реальнѣе и глубже. „Село Степанчиково" — произведеніе вполнѣ оригинальное, и тема эта у Достоевскаго уже никогда не повторялась. Обработываетъ его Достоевскій еще въ Сибири въ 1856 г. О немъ, надо думать, говоритъ Достоевскій въ письмѣ къ А. Майкову отъ 18-го января 1856 г.: „я шутя началъ комедію и шутя вызвалъ столько комической обстановки, столько комическихъ лицъ и такъ понравился мнѣ мой герой, что я бросилъ форму комедіи, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствія какъ можно дольше слѣдить за приключеніями моего новаго героя и самому хохотать надъ нимъ. Этотъ герой мнѣ нѣсколько сродни. Короче, я пишу комическій романъ, но до сихъ поръ все писалъ отдѣльныя приключенія; написалъ довольно, теперь все сшиваю въ цѣлое". По возвращеніи въ Россію, Достоевскій, не имѣя права жить въ столицахъ, поселился въ Твери, но усиленно хлопоталъ о дозволеніи переѣхать въ Петербургъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ хлопоты его увѣнчались успѣхомъ. Въ 1860 г. Достоевскій уже окончательно основался въ Петербургѣ и съ 1861 г. вмѣстѣ съ братомъ издаетъ ежемѣсячный журналъ „Время", въ которомъ печатаетъ свой первый большой романъ: „Униженные и Оскорбленные" и „Записки изъ мертваго дома".

Романъ „Униженные и оскорбленные" не очень высоко ставили даже самые близкіе друзья Достоевскаго. Это—фельетонный романъ, говорили они; въ немъ куклы, ходячія книжки, а не люди,—и самъ авторъ соглашался съ ними, называлъ свой романъ произведеніемъ дикимъ, хотя и находилъ въ немъ

полсотни страницъ, которыми онъ могъ гордиться, и два серьезныхъ характера. Добролюбовъ поставилъ его ниже эстетической критики, и поставилъ не голословно, а съ очень вѣскими доводами и при полной симпатіи къ автору. Мнѣніе публики, очевидно, совсѣмъ другое: въ нѣсколько лѣтъ романъ выдержалъ пять изданій и до сихъ поръ читается почти также усердно, какъ „Преступленіе и наказаніе“ или „Карамазовы“ и значительно больше, чѣмъ „Подростокъ“, „Идіотъ“, „Бѣсы“. Романъ, дѣйствительно, имѣетъ вопіющіе недостатки вслѣдствіе той страшной поспѣшности, съ которой писалъ его Достоевскій (онъ въ то же время велъ и нѣсколько другихъ отдѣловъ въ журналѣ, и несъ на себѣ по крайней мѣрѣ половину заботъ по редакціи); но здѣсь впервые развернулось нравственное міросозерцаніе вполнѣ созрѣвшаго Достоевскаго, не затемненное политикой и публицистикой. Основа этого міросозерцанія—вѣра въ человѣка, въ чистоту его сердца, и глубокое убѣжденіе, что спасеніе отъ всѣхъ золъ жизни въ нашей власти; надо только исполнить евангельскую заповѣдь: возлюби ближняго какъ самого себя. Люди добры по природѣ; они дѣлаютъ зло только по недоразумѣнію; поймемъ это, и зло исчезнетъ. Алеша—одинъ изъ тѣхъ характеровъ, оригинальностью которыхъ справедливо гордился Достоевскій. Это взрослый ребенокъ, чистый сердцемъ, несмотря на свое воспитаніе въ аристократическомъ домѣ негодяя—отца, несмотря на свою жизнь въ кругу петербургской золотой молодежи; что бы онъ ни дѣлалъ, всѣ хорошіе люди, всѣ дѣти и всѣ животныя всегда будутъ любить его. Онъ ограниченъ, легкомысленъ, вѣчно подъ чужимъ вліяніемъ, а все-таки всегда и во всемъ правъ, потому что не знаетъ зла и не можетъ понять его. Въ журналѣ „Время“ (1862) Достоевскій напечаталъ еще небольшую повѣсть „Скверный анекдотъ“, носящую на себѣ довольно явные слѣды подражанія „Губернскимъ очеркамъ“ Щедрина. Успѣхъ журнала обезпечивалъ братьевъ Достоевскихъ, и лѣтомъ 1862 г. Достоевскій могъ съѣздить за границу полѣчиться (свои впечатлѣнія онъ описалъ въ журналѣ „Время“ за 1863 г., №№ 2 и 3). Запрещеніе „Времени“ разстроило дѣла Достоевскихъ; однако, Достоевскій опять былъ принужденъ на лѣто уѣхать за границу лѣчиться. Съ 1864 г М. Достоевскому было разрѣшено изданіе журнала „Эпоха“; но она далеко не имѣла такого успѣха, какъ „Время“. Въ

это время Достоевскій былъ въ Москвѣ, самъ больной и у постели умирающей жены (она скончалась 16-го апрѣля 1864 г.) и почти не могъ помогать брату; повѣсть „Записки изъ подполья“ (одинъ изъ самыхъ глубокихъ и самыхъ мучительно тяжелыхъ психологическихъ этюдовъ Достоевскаго) не была окончена къ первымъ книжкамъ „Эпохи“. 10 іюня 1864 г., неожиданно скончался Михаилъ Достоевскій, и Ѳ. Достоевскій, уже переѣхавшій въ Петербургъ, взялъ на себя негласно редакторство и издательство. Несмотря на всю его энергію, отягченная долгами „Эпоха“ не пошла, и въ началѣ 1865 г. (на который однако же набралось тысяча триста подписчиковъ) въ кассѣ не оказалось ни копейки, а у Достоевскаго — 15000 руб. долгу и нравственная обязанность содержать семью покойнаго брата. Въ послѣдней книжкѣ „Эпохи“ Достоевскій началъ печатать фантастическую повѣсть: „Крокодилъ. Необыкновенное событіе или пассажъ въ Пассажѣ“, которая такъ и осталась не оконченной. Нѣкоторая часть печати приняла это довольно неудачное произведеніе за памфлетъ на Чернышевскаго и вознегодовала на Достоевскаго за такое глумленіе надъ несчастіемъ талантливаго публициста; но Достоевскій въ 1873 г. печатно опровергъ эту „пошлѣйшую сплетню“.

Въ концѣ іюля 1865 г. Достоевскій, кое-какъ устроивъ на время свои денежныя дѣла, уѣхалъ за границу въ Висбаденъ и тамъ, къ довершенію своихъ матеріальныхъ несчастій, проигрался въ рулетку до копейки (онъ игралъ и въ прежнія поѣздки за границу и одинъ разъ выигралъ одиннадцать тысячъ франковъ; немного позднѣе онъ воспользовался своими наблюденіями и ощущеніями, чтобы создать повѣсть „Игрокъ“, слабую въ художественномъ отношеніи, но интересную по глубинѣ психологическаго анализа). Выпутавшись изъ критическаго положенія съ помощью старинаго пріятеля А. Е Врангеля, Достоевскій въ ноябрѣ пріѣхалъ въ Петербургъ и принялся усердно писать „Преступленіе и наказаніе“, которое стало печататься въ январской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1866 г. Романъ произвелъ громадное впечатлѣніе, которому до нѣкоторой степени способствовало поразительное его совпаденіе съ дѣйствительностью: въ то же время въ Москвѣ совершено было подобное преступленіе, студентомъ Даниловымъ. Достоевскій давно уже (съ самой Сибири) обду-

мывалъ романъ, гдѣ должны были дѣйствовать новые люди, но не рѣшался писать его: крайне небрежно относясь къ формѣ, онъ очень дорожилъ идеями своихъ произведеній, и пока идея не выносилась въ душѣ его, онъ не пытался ее обработывать. Наконецъ, онъ рѣшился, и успѣхъ превзошелъ его ожиданія. „Преступленіе и наказаніе"—несомнѣнно, лучшій изъ его романовъ и одно изъ самыхъ крупныхъ и характерныхъ произведеній всего нашего столѣтія; нельзя идти дальше въ глубинѣ психологическаго анализа и въ проповѣди величайшей идеи нашего вѣка—гуманности. Но герой не есть типъ, и его сліяніе съ „правдой народной" на каторгѣ есть явленіе исключительное. Небрежность формы и растянутость чувствуются и здѣсь, только, вслѣдствіе богатства содержанія, вредятъ гораздо менѣе. Несмотря на болѣзнь и отчаянное положеніе своихъ денежныхъ дѣлъ, Достоевскій въ это время чувствовалъ большой приливъ жизненныхъ силъ и душевной бодрости. Осенью 1866 г., чтобы исполнить скорѣе свое обязательство передъ Стелловскимъ, которому онъ продалъ собраніе своихъ сочиненій съ условіемъ прибавить къ нимъ новую повѣсть, онъ пригласилъ къ себѣ стенографистку Анну Григорьевну Сниткину и диктовалъ ей „Игрока". 15-го февраля 1866 г. Анна Григорьевна стала его женой, а черезъ два мѣсяца Достоевскіе уѣзжаютъ за границу, гдѣ остаются четыре слишкомъ года (до іюля 1871 г.). Тамъ Достоевскій написалъ два большіе романа: „Идіотъ" (Русскій Вѣстникъ 1868—1869 г.) и „Бѣсы" (т.-же 1871 г.) и большую повѣсть: „Вѣчный мужъ" („Заря" 1870 года.).

Условія, при которыхъ создавались эти произведенія, въ значительной степени объясняютъ ихъ тонъ и ихъ недостатки. Заграничное путешествіе Достоевскихъ—бѣгство отъ кредиторовъ, которые уже подали ко взысканію. Достоевскій, по собственнымъ словамъ его, ничего не имѣлъ бы и противъ долгового отдѣленія; но здоровье его до того разстроено. припадки падучей болѣзни до того участились, мозгъ былъ такъ потрясенъ, что въ домѣ Тарасова онъ не вынесъ бы и мѣсяца, а стало быть и долги остались бы невыплаченными. Чтобы обвѣнчаться и уѣхать, онъ сдѣлалъ новый долгъ — взялъ впередъ у Каткова подъ задуманный имъ романъ („Идіотъ") три тысячи рублей. Но изъ этихъ 3000 р. едва ли и третья часть переѣхала съ нимъ за границу: вѣдь, въ

Петербургѣ на его попеченіи остаются сынъ его первой жены и вдова его брата съ дѣтьми. Направляясь на югъ, въ Швейцарію, онъ заѣхалъ въ Баденъ, сперва выигралъ на рулеткѣ четыре тысячи франковъ, но не могъ остановиться и проигралъ все, что съ нимъ было, не исключая своего платья и вещей жены; отсюда необходимость новыхъ займовъ. Почти годъ живетъ Достоевскій въ Женевѣ, работая отчаянно (онъ пишетъ по $3^1/_2$ листа въ мѣсяцъ) и иногда нуждаясь въ самомъ необходимомъ. У него родится первый ребенокъ; онъ въ три мѣсяца успѣваетъ страстно привязаться къ нему; ребенокъ умираетъ, къ неописуемому отчаянію родителей. Въ Веве, потомъ въ Миланѣ настроеніе духа Достоевскаго не лучше; онъ крайне недоволенъ формой своего новаго романа: по его мнѣнію, она до того плоха, что даже „идея романа почти лопнула"; но что жъ дѣлать, „надо спѣшить,—гнать на почтовыхъ". Когда Н. Н. Страховъ приглашаетъ его участвовать въ новомъ журналѣ „Заря" (24 ноября 1868 г.), первая его мысль—получить впередъ часть денегъ за повѣсть, за которую онъ еще и не принимался. Всѣ его письма къ А. Н. Майкову переполнены денежными разсчетами, запросами и судьбищемъ, изъ-за недоплаты нѣсколькихъ сотъ рублей, съ Стелловскимъ. „Идіотъ"—по идеѣ одно изъ самыхъ задушевныхъ произведеній Достоевскаго и одно изъ самыхъ слабыхъ по исполненію. Главная мысль романа, какъ говоритъ самъ Достоевскій, „изобразить положительно прекраснаго человѣка", не смѣшного, какъ Донъ-Кихотъ и Пиквикъ, и не возбуждающаго сожалѣнія своими несчастіями, какъ Жанъ Вальжанъ. Эта мысль воплощена въ больномъ князѣ Мышкинѣ. Въ основѣ его характера—та же душевная чистота и правдивость, та же потребность безграничной любви и непониманіе злыхъ чувствъ, что и у Алеши „Униженныхъ и оскорбленныхъ" и у Алеши Карамазова Но оба Алеши—почти мальчики, а князь Мышкинъ—человѣкъ съ глубокимъ и тонкимъ, всесторонне развитымъ умомъ, человѣкъ много видавшій и много страдавшій. Мысль „открыть Россію" для человѣка съ такими данными, какъ князь Мышкинъ—мысль въ высшей степени удачная, но Достоевскій не провелъ ее послѣдовательно: мы видимъ героя въ Петербургѣ, а какъ онъ прожилъ шесть мѣсяцевъ въ Москвѣ и внутри Россіи, мы не знаемъ. Мы знаемъ только,

что онъ вернулся убѣжденнымъ народникомъ и исповѣдникомъ православія. Глубоко задуманъ и мѣстами прекрасно исполненъ характеръ Рогожина; слабѣе всего тенденціозная часть романа—изображеніе полупомѣшанныхъ соціалистовъ Бурдовскаго и К°. „Бѣсамъ", въ основу которыхъ положенъ нечаевскій процессъ, сильно вредитъ избытокъ политики и тенденція. Мысль вывести въ смѣшномъ видѣ Грановскаго и Тургенева положительно неудачна, и злобныя выходки противъ Кармазинова-Тургенева могутъ быть объяснены только крайне тяжелымъ и раздраженнымъ настроеніемъ автора. Около того же времени написанная повѣсть „Вѣчный мужъ"— одна изъ лучшихъ повѣстей Достоевскаго по оригинальности идеи и характера, ее выражающаго; даже построеніе ея отличается ясностью, ходъ дѣйствія—энергіею, что очень рѣдко у Достоевскаго; видно, что онъ, измучившись надъ соціальнымъ романомъ съ „прекраснымъ" героемъ, поработалъ надъ повѣстью съ удовольствіемъ.

По возвращеніи въ Петербургъ начинается самый свѣтлый періодъ въ жизни романиста, въ горячо любимой семьѣ (дочь Любовь, родившаяся въ 1869 г. въ Дрезденѣ, сынъ Ѳедоръ, род. въ 1871 г. въ Петербургѣ), съ доброй и умной женой, которая взяла въ свои руки денежныя (издательскія) дѣла и скоро освободила мужа отъ долговъ. Въ первый разъ пятидесятилѣтній писатель оказался въ сносномъ денежномъ положеніи и въ состояніи работать не „изъ подъ палки", не „на почтовыхъ"; но многолѣтняя привычка не могла исчезнуть и при измѣнившихся обстоятельствахъ. Достоевскій и теперь подгоняетъ работу къ послѣднему сроку и тѣмъ искусственно возбуждаетъ свой мозгъ и нервы; у него и теперь встрѣчаются небрежности, но въ общемъ отдѣлка его произведеній лучше, и „надрывъ" чувствуется значительно слабѣе. Съ начала 1873 года Достоевскій дѣлается редакторомъ еженедѣльнаго журнала „Гражданинъ", съ платою по двѣсти пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ, кромѣ гонорара за статьи, и пишетъ въ немъ фельетонъ, подъ названіемъ „Дневникъ Писателя", и обзоръ иностранной политики. Въ его фельетонахъ есть интересныя личныя воспоминанія (о Бѣлинскомъ, о Чернышевскомъ), комментаріи къ собственнымъ произведеніямъ и повѣствовательные очерки; слабѣе всего критическія и чисто публицистическія статьи. Въ началѣ

1874 г. Достоевскій разошелся съ „Гражданиномъ“ и занялся новымъ большимъ романомъ: „Подростокъ“. Въ этотъ періодъ Достоевскіе проводили лѣтніе мѣсяцы въ Старой Руссѣ (откуда Достоевскій на іюль и августъ уѣзжалъ въ Эмсъ для лѣченія; такъ было въ 1874, 1875, 1876, 1878 и 1879 гг.); въ 1874 г. они остались тамъ и на зиму.

Задача „Подростка“ (напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1875 г.) опредѣляется самымъ заглавіемъ. Изъ подростковъ выходятъ дѣятели; стало-быть, и вопросъ о настроеніи ихъ—вопросъ о будущемъ Россіи. Подростковъ, какъ и взрослыхъ, Достоевскій дѣлитъ на безразличную массу и на людей съ идеаломъ. Такіе держатся всегда особнякомъ, въ уединеніи. Ихъ способности и характеръ „угрожаютъ развиться къ худшему, часто въ стремленіе къ безпорядку“. Но это желаніе „безпорядка“ происходитъ изъ затаенной жажды порядка и благообразія. „Юность чиста уже потому, что она юность“. Герой романа—это самъ Достоевскій въ юности, въ не очень лестномъ изображеніи. Онъ „сбродъ всѣхъ самолюбій“. Онъ всего больше мучитъ тѣхъ, кого больше всего любитъ. Сердце его переполнено любви къ людямъ, а онъ старается „держать себя какъ можно мрачнѣе“, онъ ненавидитъ себя за желаніе „прыгать людямъ на шею“.

Онъ не мстителенъ, но страшно злопамятенъ: онъ желаетъ отомстить великодушіемъ, чтобы обидчикъ почувствовалъ свою вину передъ нимъ. Уединеніе и большая развитость сравнительно съ товарищами мѣшаютъ ему стать въ ряды политическихъ дѣятелей, и онъ изобрѣтаетъ себѣ собственную идею, въ сущности нелѣпую, но за то оригинальную (литературный ея источникъ—„Скупой рыцарь“—не уничтожаетъ этой оригинальности). Но живая жизнь, любовь къ отцу и матери и полудѣтская страсть къ Катеринѣ Николаевнѣ въ концѣ концовъ излѣчиваютъ его отъ исключительностей. Въ романѣ есть и другой герой—это Версиловъ, въ лицѣ котораго Достоевскій, такъ сказать, расплачивается съ собою за свое прежнее отрицательное отношеніе къ русскому образованному дворянству. Версиловъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ и при своемъ огромномъ эгоизмѣ—самый умный и самый порядочный человѣкъ не только въ нашемъ обществѣ, но и единственный европеецъ въ самой Европѣ; онъ представитель міровой идеи, „высшій культурный типъ

болѣнія за всѣхъ". Такихъ какъ онъ, по его словамъ, можетъ быть тысяча въ Россіи, которая только и существовала для того, чтобы произвести эту тысячу, и существовала не даромъ: благодаря имъ, она живетъ не для себя, а для идеи, а только это и есть настоящая жизнь. Ни въ какомъ другомъ своемъ произведеніи Достоевскій не возстаетъ съ такимъ ожесточеніемъ на жизнь разсудочную, безъ идеала, на занятіе „полезнымъ". Техники-спеціалисты, „которые въ послѣднее время у насъ такъ подняли носъ"—по его убѣжденію, люди грубо-необразованные.

Съ начала 1876 г. Достоевскій берется за оригинальное предпріятіе, идея котораго мелькала у него еще во время четырехъ-лѣтняго пребыванія за границей; это—„Дневникъ Писателя", ежемѣсячный журналъ, безъ сотрудниковъ, безъ программы и отдѣловъ. Въ матеріальномъ отношеніи успѣхъ предпріятія былъ несомнѣнный: въ первый же годъ „Дневникъ Писателя" имѣлъ двѣ тысячи подписчиковъ и въ такомъ же количествѣ расходился въ розничной продажѣ; въ 1877 г. расходилось до 6000 экз. „Дневникъ Писателя" нажилъ Достоевскому и массу горячихъ приверженцевъ и много порицателей, которые не безъ основанія доказывали, что поэтъ взялся не за свое дѣло. Теперь прочесть подъ рядъ всѣ №№ „Дневника"—трудъ не малый; но этотъ трудъ вознаграждается перлами ума, доброты и поэзіи, встрѣчающимися среди массы повтореній и парадоксовъ. „Дневникъ Писателя" интересенъ, во-первыхъ, какъ комментарій къ произведеніямъ Достоевскаго, во-вторыхъ—какъ превосходный матеріалъ для выясненія процесса творчества поэта, такъ какъ мы здѣсь находимъ фактъ, который далъ толчокъ фантазіи, и художественное произведеніе, которое возникло изъ этого факта; въ-третьихъ, наконецъ, какъ собраніе превосходныхъ повѣстей и очерковъ, изъ которыхъ иные (напр., „Мальчикъ у Христа на елкѣ") уже успѣли сдѣлаться народными книжками. Всего слабѣе Достоевскій въ вопросахъ политическихъ, гдѣ необходима подготовка, и вовсе не литературнаго характера, и гдѣ ему мѣшаетъ сила его воображенія и односторонняя страстность его „патріотизма". Глубоко убѣжденный въ нашемъ внутреннемъ превосходствѣ передъ Европою, онъ твердо вѣруетъ, что она не нынче, такъ завтра постучится къ намъ и будетъ требовать, чтобы мы шли спасать ее отъ

нея самой. Чтобы это случилось скорѣе, мы должны перестать быть международной *общимной*, какъ выражается Достоевскій, стать русскими прежде всего—а стать русскими, значитъ перестать презирать народъ свой. И какъ только европеецъ увидитъ, что мы начали уважать народъ нашъ и національность нашу, такъ тотчасъ же онъ начнетъ насъ самихъ уважать. Достоевскій вовсе не закрываетъ глазъ на недостатки нашего народа: онъ видитъ въ немъ и грязь и даже грубый матеріализмъ, но считаетъ это явленіемъ наноснымъ и преходящимъ. Что касается до средства очиститься, оно у Достоевскаго то же самое, что и у всѣхъ лучшихъ людей 40-хъ, 60-хъ и 80-хъ годовъ. „Я не хочу, говоритъ Достоевскій, мыслить и жить иначе какъ съ вѣрой, что всѣ наши 90 мил. русскихъ будутъ образованы, очеловѣчены и счастливы. Я знаю и твердо вѣрую, что всеобщее просвѣщеніе у насъ никому повредить не можетъ". Достоевскій настойчиво требуетъ для всѣхъ права на высшее образованіе, и прежде всего для будущихъ матерей, для нашихъ женщинъ. Онъ видитъ въ современной русской женщинѣ, которую вообще ставитъ много выше мужчины, великій недостатокъ: зависимость отъ мужскихъ идей и наклонность принимать ихъ на вѣру. Лѣкарство отъ этой болѣзни—высшее образованіе. Основа всякой педагогіи, по убѣжденію Достоевскаго, есть дѣятельная и неустанная любовь. Мѣры насильственныя, тѣлесныя наказанія —продуктъ лѣни родителей. Дѣти—великій и страшный долгъ: честный отецъ съ матерью должны прежде всего перевоспитать самихъ себя. Дѣти гораздо больше понимаютъ, чѣмъ мы объ нихъ думаемъ, и расположены къ любви самой природой: разъ что родители добры къ нимъ, они простятъ всякія отклоненія, всякія безобразія, и если не будутъ уважать родителей, то будутъ любить ихъ и вынесутъ изъ дѣтства хоть нѣсколько свѣтлыхъ воспоминаній—а нѣтъ ничего на свѣтѣ выше, сильнѣе и полезнѣе для жизни, какъ эти воспоминанія. Съ этими гуманными, прогрессивными воззрѣніями рѣзко расходится мрачный мистицизмъ Достоевскаго и его проповѣдь о потребности человѣка (преимущественно русскаго) въ страданіяхъ, о необходимости суровыхъ судебныхъ приговоровъ и т. п.

Почти обезпеченный матеріально, Достоевскій съ 1878 г. прекратилъ „Дневн. Писат.", чтобы отдаться большому роману,

который онъ задумалъ еще въ Дрезденѣ, въ 1870 г. Тогда онъ думалъ написать пять отдѣльныхъ повѣстей, подъ общимъ заглавіемъ: „Житіе великаго грѣшника". Это житіе должно было обнимать жизнь нѣсколькихъ поколѣній, начиная со временъ Чаадаева и до нашихъ дней, и представить параллель къ „Войнѣ и Миру" Толстого, подъ вліяніемъ чтенія котораго оно, повидимому, и замышлено. Впослѣдствіи планъ измѣнился: эпоха Чаадаева оставлена, и пять повѣстей превратились въ два, связанныхъ единствомъ лицъ, романа, между дѣйствіями которыхъ проходятъ 13 лѣтъ. Достоевскій успѣлъ написать только первый романъ, совершенно самостоятельный и внутренно законченный: „Братья Карамазовы" („Русскій Вѣстникъ", 1879—1880 год.).

Этотъ романъ обработанъ значительно лучше всѣхъ другихъ крупныхъ произведеній Достоевскаго и представляетъ поразительныя сцены и характеры, но въ немъ же особенно рѣзко выразились и всѣ недостатки Достоевскаго, какъ поэта, и основа его міросозерцанія—болѣзненный мистицизмъ. Идея романа выражена въ 4-хъ представителяхъ семейства Карамазовыхъ. Карамазовъ—отецъ—отвратительный продуктъ воздѣйствія Европы на полудикую въ глубинѣ провинціи Россію XVIII и начала XIX вѣка. Есть свое „благообразіе" въ западномъ баронѣ и бюргерѣ, есть свое и въ русскомъ мужикѣ и мѣщанинѣ. Ѳедоръ Карамазовъ не имѣетъ ни того ни другого, и соединяетъ въ себѣ безобразіе разнузданнаго эгоизма и скептицизма худшаго изъ учениковъ Вольтера съ безобразіемъ пьянаго и распутнаго мужика. Двое старшихъ его сыновей подѣлены между Европой и Россіей—подѣлены, конечно, неравномѣрно, такъ какъ по крови и по обстановкѣ они оба русскіе люди. Иванъ, по образованію и по образу мыслей, европеецъ; на Руси это оторванный отъ почвы несчастный искатель идеала, тотъ же Раскольниковъ, геройски смѣлый въ мысляхъ и вѣчно колеблющійся въ дѣйствіяхъ, человѣкъ съ яснымъ сознаніемъ зла безъ сознанія добра, вѣчный „мученикъ" безъ надежды на царство небесное. Дмитрій — натура почвенная; но при этомъ онъ такой же холодный эгоистъ, какъ его отецъ, и также лишенъ всякой нравственной поддержки; онъ человѣкъ чисто русскій, но изломанный, вслѣдствіе вѣчной борьбы между „благообразіемъ" своего идеала и безобразіемъ своей жизни; но и онъ

эгоистъ, потому что не зналъ другой цѣли въ жизни, кромѣ удовлетворенія своихъ страстей и капризовъ. Иванъ ненавидитъ Дмитрія, какъ Европа ненавидитъ Россію; Дмитрій благоговѣетъ передъ Иваномъ, какъ Россія благоговѣетъ передъ Европой. Третій сынъ, Алеша — настоящій герой романа, во второй, не написанной его половинѣ; это Россія будущаго, прилѣпившаяся „къ народнымъ началамъ" но не исключающая черезъ нихъ, а, напротивъ, усиливающая ими начало общечеловѣческое: вѣру въ человѣка и христіанскую всепрощающую любовь. Эту Россію всѣ возлюбятъ, потому что она всѣхъ возлюбитъ и всѣхъ примиритъ. Характеръ Алеши обработанъ слабѣе другихъ.

Во время печатанія „Братьевъ Карамазовыхъ" Достоевскому удалось испытать моментъ торжества настолько же полнаго, какъ тотъ ободряющій приговоръ Бѣлинскаго, который встрѣтилъ его первое произведеніе. Рѣчь его во время московскихъ пушкинскихъ празднествъ 8 іюня 1880 г. (она напечатана съ поясненіями въ единственномъ № „Дн. Пис." за 1880 г.; 4000 экз. его перваго изданія разошлись въ нѣсколько дней) привела многочисленную публику въ восторгъ неописуемый, и, по словамъ И. Аксакова, соединила въ одномъ чувствѣ славянофиловъ и западниковъ. Рѣчь эта— одно изъ лучшихъ произведеній Достоевскаго по горячности и искренности чувства къ поэту и по гуманности идей, въ ней проводимыхъ; она очень важна и для пониманія самого Достоевскаго, такъ какъ, безсознательно для оратора, оказалась подведеніемъ итоговъ всей лучшей стороны его литературной дѣятельности. Достоевскій превозноситъ поэта—прозорливца за его горячее стремленіе къ идеалу и за умѣнье находить идеалъ въ родной землѣ. Достоевскій былъ всю жизнь „неисправимый идеалистъ", вѣчно искавшій святынь и умѣвшій находить ихъ у себя дома. Онъ превозноситъ Пушкина за созданіе, въ лицѣ Онѣгина, типа русскаго скитальца и страдальца, тоскующаго по потерянной правдѣ. Самъ Достоевскій всю жизнь болѣлъ за русскихъ страдальцевъ и всю жизнь указывалъ имъ потерянную правду, говоря: „смири свою гордость, гордый человѣкъ, поработай на нивѣ, праздный человѣкъ"! Онъ видитъ въ Татьянѣ апоѳеозъ русской женщины, которая не можетъ основать своего счастья на несчастіи другого. Достоевскій начиная съ „Бѣдныхъ

людей", доказывалъ, что счастье только въ томъ, чтобы доставлять другимъ минуты счастья, поднимать падшихъ, утѣшать униженныхъ и оскорбленныхъ. Пушкинъ не былъ ни славянофиломъ ни западникомъ, а былъ одновременно и русскимъ и міровымъ человѣкомъ. Достоевскій въ лучшія свои минуты проповѣдывалъ объединеніе національныхъ и гуманныхъ стремленій, всеобщее братство народовъ и сословій и отдѣльныхъ людей. Рѣчь Достоевскаго прекрасна; но ошибется тотъ, кто станетъ въ ней искать полной характеристики Пушкина: въ ней та сторона Пушкина, гдѣ онъ сходился съ Достоевскимъ. Съ начала 1881 г. Достоевскій рѣшился возобновить „Дневникъ Писателя", и первый № его сдалъ въ цензуру 25 Января. 29-го Января онъ обѣщалъ участвовать въ Пушкинскомъ вечерѣ, но 28 Января къ вечеру его уже не было въ живыхъ. Послѣдніе годы своей жизни онъ страдалъ эмфиземой, вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей; въ ночь съ 25 на 26-е у него произошелъ разрывъ легочной артеріи, которому, впрочемъ, доктора не придали особаго значенія; но сильный припадокъ обыкновенной его болѣзни сразу сокрушилъ давно надломленный организмъ. Вѣсть о смерти Достоевскаго вызвала у всей читающей Россіи чрезвычайно пылкое чувство къ покойному. Похороны его (2 февраля 1881 г.) были настоящимъ событіемъ для С.-Петербурга: шестьдесятъ семь вѣнковъ было внесено въ церковь св. Духа въ Александро-Невской лаврѣ, семьдесятъ двѣ депутаціи участвовали въ процессіи.

Успѣхъ двухъ посмертныхъ изданій „Полн. Собр. Соч. Достоевскаго" и статистика читательскихъ требованій въ публичныхъ библіотекахъ ясно доказываютъ, что увлеченіе Достоевскимъ не было минутнымъ и скоропреходящимъ. Несмотря на свое восторженное поклоненіе передъ Пушкинымъ и на поразительную близость темъ своихъ раннихъ повѣстей къ произведенію Гоголя, Достоевскій не принадлежитъ ни къ Пушкинской ни къ Гоголевской школѣ и не унаслѣдовалъ ихъ общихъ свойствъ. Защищая въ теоріи „искусство для искусства", Достоевскій въ своихъ произведеніяхъ не придаетъ никакого значенія изяществу формы, не интересуется физической красотой и гармоніей, не хочетъ видѣть и красоты въ природѣ, и всѣ силы своего ума и воображенія устремляетъ исключительно на выясненіе правды, какъ

онъ ее понимаетъ. Правда для него настолько выше всего остального, что онъ не отдастъ малѣйшей ея частицы за всѣхъ Аполлоновъ бельведерскихъ въ мірѣ. Этой правды онъ ищетъ въ изображеніи души человѣческой, но не въ здоровомъ ея равновѣсіи, а въ состояніи тяжкаго страданія, борьбы, противорѣчій, раздвоенія, когда обнаруживаются самые тайные изгибы ея, короче сказать—въ состояніи патологическомъ. Цѣль воспроизведенія этой правды, въ первыхъ его произведеніяхъ—пушкинское пробужденіе „милости къ падшимъ", но средства прямо противуположны тѣмъ, которыя употребляетъ Пушкинъ. Достоевскій не услаждаетъ читателя, не возвышаетъ его надъ пошлой дѣйствительностью, а мучитъ его, заставляя всматриваться въ то, что есть самаго ужаснаго и жалкаго въ человѣческой жизни; читателю тяжело и больно, минутами томительно и тоскливо, но онъ не можетъ оторваться отъ чтенія, какъ человѣкъ часто не можетъ оторваться отъ зрѣлища страданій больного друга. Въ послѣдующихъ большихъ романахъ къ этой цѣли Достоевскій присоединяетъ и другую, болѣе глубокую и трудную: онъ хочетъ показать обществу его грѣхи и ошибки и направить его на новый путь, путь „любви и правды". У Достоевскаго нѣтъ чувства мѣры, нѣтъ свойственнаго великимъ художникамъ умѣнія немногими, характерными чертами изобразить человѣка или положеніе; у него нѣтъ и слѣда гоголевскаго юмора; смѣхъ у него тяжелый и какъ будто дѣланный. Но все это происходитъ не отъ творческаго безсилія, а отъ того же вѣчнаго исканія одной правды и пренебреженія ко всему остальному. Онъ минутами бываетъ поразительно остроуменъ и мѣтокъ; но часто самъ же и уничтожаетъ дѣйствіе своего мѣткаго выраженія, ослабляя его перифразами и прибавленіями. У него всѣ главныя лица говорятъ почти всегда однимъ и тѣмъ же языкомъ, и это—языкъ самого Достоевскаго: но это происходитъ не отъ неумѣнья вселиться въ чужую душу и не отъ недостатка наблюдательности—немногія жанровыя сцены у него написаны превосходно,—а оттого, что всѣ дѣйствующія лица нужны ему только для его идеи, которую они и выясняютъ длинными монологами и разговорами. Достоевскій не можетъ считаться ни чистымъ художникомъ ни реалистомъ. Онъ, по выраженію одного нѣмецкаго критика, „оставляетъ за собою міръ явленій, феноменовъ, хотя и пользуется

ими, какъ матеріалами". Не даромъ Достоевскій въ юности изучалъ со страстью Гофмана и французскихъ романтиковъ. У него то же объединеніе поэзіи и дѣйствительности; какъ самые крайніе изъ романтиковъ, онъ ненавидитъ утилитаризмъ, жизнь разсудочную, людей „практическихъ"; они всѣ у него выходятъ смѣшными дураками или негодяями. Онъ, какъ Гофманъ, отмежевалъ себѣ особую область—неопредѣленныхъ и несогласимыхъ чувствъ и стремленій, необыкновенныхъ, болѣзненныхъ ощущеній, противорѣчій мысли и дѣла, короче сказать: психологію безсознательнаго. Онъ горячій проповѣдникъ субъективизма въ искусствѣ, какъ и всѣ крайніе романтики, начиная съ братьевъ Шлегелей. Онъ ученикъ Бальзака по необузданности реалистической фантазіи; по своимъ мечтамъ о золотомъ вѣкѣ въ будущемъ, онъ и до старости остается послѣдователемъ Жоржъ Занда. Всю жизнь онъ высоко чтитъ Диккенса и раздѣляетъ его глубокую вѣру въ людей. Но, уступая Диккенсу и Жоржъ Зандъ, и даже Гофману съ Бальзакомъ, въ отдѣлкѣ формы, въ пластичности и ясности, онъ превосходитъ ихъ всѣхъ богатствомъ содержанія, смѣлостью мысли и небывалой глубиной анализа. Онъ такъ расширилъ рамки романа и повѣсти, что оставилъ далеко за собою самыя смѣлыя мечты романтиковъ относительно реформы въ „беллетристикѣ". Умъ необыкновенно обширный, изворотливый, смѣлый до дерзости, впечатлительность тонкая до болѣзненности, фантазія необузданная, но вращающаяся исключительно въ предѣлахъ дѣйствительности—все это послѣ появленія переводовъ „Преступленія и Наказанія", поразило до крайности всю западно-европейскую интеллигенцію и критику, и несомнѣнно окажетъ сильное вліяніе на исторію всемірной литературы. Другой вопросъ, насколько это вліяніе будетъ благотворно. Западные критики самымъ характернымъ признакомъ Достоевскаго считаютъ его безотрадный пессимизмъ. Они правы въ томъ отношеніи, что Достоевскій смотритъ на человѣческую жизнь, какъ на юдоль скорби и мученій, отъ которыхъ было бы напрасно искать спасенія, такъ какъ источникъ важнѣйшихъ изъ нихъ въ самомъ человѣкѣ (да и нужно ли спасеніе, если страданіе такъ необходимо, какъ иногда казалось Достоевскому?). Но по отношенію къ каждому отдѣльному человѣку Достоевскій—крайній оптимистъ; въ самомъ черствомъ эгоистѣ онъ признаетъ возможность альтруисти-

ческихъ, благородныхъ моментовъ, въ самомъ ужасномъ злодѣѣ учитъ видѣть несчастную человѣческую душу, которой не чужды ни высшая справедливость ни великодушіе. Печальный взглядъ на жизнь и безотрадный квіетизмъ, какъ его естественное послѣдствіе, для самого Достоевскаго смягчаются его глубокой вѣрой въ безконечное: онъ былъ религіозенъ въ дѣтствѣ и юности, прошелъ съ Библіей каторгу и умеръ съ евангельскимъ текстомъ на устахъ. Несравненно тяжеле положеніе тѣхъ его послѣдователей, которые лишены такой вѣры; лучшіе изъ нихъ не могутъ успокоиться ни на пошлыхъ личныхъ наслажденіяхъ ни на безплодныхъ палліативахъ, и иногда насильственно сводятъ себя со сцены, успѣвъ заразить другихъ своимъ безсильнымъ отчаяніемъ. Относительно техники разсказа Достоевскій—въ высшей степени опасный образецъ для подражанія. Кажущаяся крайняя небрежность его изложенія съ безчисленными отступленіями и повтореніями, прикрываетъ почти неуловимую внутреннюю связь и стройность: если читатель пропуститъ 3—4 страницы, связь потеряется, электрическій токъ, какъ выражается Вогюэ, прервется. Необыкновенная простота и обыденность его слога доходятъ почти до границъ литературной неопрятности. Одинъ шагъ дальше въ этомъ направленіи—и литература обратится въ нѣчто безформенное, безобразное, „уличное“.

А. Кирпичниковъ.

Оцѣнка идей, таланта, направленія Ѳ. М. Достоевскаго и вообще характеристика литературной дѣятельности его съ точки зрѣнія разныхъ критикъ.

Слѣдующая выдержка, заимствуемая нами изъ „Историко-литературнаго очерка“ профессора Казанскаго университета Н. Булича, характеризуетъ состояніе нашей литературы того времени, въ которое выступилъ на литературное поприще Ѳ. М. Достоевскій.

*) „Въ тѣ годы, когда Достоевскій жилъ безъ дѣла въ Петербургѣ, переходя изъ одной „комнаты отъ жильцовъ“ въ другую и знакомясь такимъ образомъ наглядно съ печальною жизнію бѣдняковъ столицы, вся русская умственная жизнь, весь духовный прогрессъ нашъ сосредоточивался въ литературѣ. Она существовала для большинства образованныхъ людей. Наука въ серьезномъ видѣ не могла интересовать это большинство, да въ ней, за исключеніемъ нѣкоторыхъ потребныхъ для государства практическихъ свѣдѣній, никто не нуждался. Науку ничто не вызывало; ей не было мѣста въ обществѣ, которое посылало свое молодое поколѣніе *въ науку* лишь исключительно для того, чтобъ пріобрѣтеніемъ свѣдѣній, а главное—дипломомъ начать приличнымъ образомъ служебную карьеру. Университеты, гдѣ только и могла существовать наука, стояли, по своему вліянію, особенно въ провинціи, гораздо ниже литературы. Въ ничтожномъ только меньшинствѣ юношей могли они пробудить научное стремленіе и жажду знанія. Идеальнымъ порывамъ большинства тогдашняго молодого поколѣнія всего больше отвѣчала литература съ ея расширившимся въ тѣ годы содержаніемъ. Въ ней разомъ появилось тогда нѣсколько талантливыхъ именъ. Главнѣйшимъ органомъ тогдашняго литературнаго, да, можно сказать,

*) Н. Буличъ. „Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія“. Казань. 1881 г.

и умственнаго движенія, стали „Отечественныя Записки“, съ того времени, какъ отдѣлъ критики поступилъ въ распоряженіе Бѣлинскаго. Съ нетерпѣніемъ ожидалась каждая новая книжка журнала, и тогдашній студентъ, послѣ безцвѣтныхъ, скучныхъ по своей риторикѣ или по очевиднымъ уступкамъ господствующей дѣйствительности лекцій, съ страстнымъ молодымъ трепетомъ, погружался въ чтеніе новой статьи критика, казавшейся откровеніемъ. Горячія слова наполняли душу честными стремленіями, звали къ честной дѣятельности.

Имя, выше всѣхъ стоявшее въ тогдашней литературѣ, было имя Гоголя, и Бѣлинскій былъ великимъ объяснителемъ геніальнаго писателя. Мы убѣждены, что безъ его критики глубокій, жизненный, историческій смыслъ Гоголевскихъ созданій, являвшійся для большинства лишь забавнымъ малороссійскимъ жартомъ, не скоро бы усвоился сознаніемъ общества. Горькій смѣхъ Гоголя нарушилъ продолжительное праздничное ликованье, смутилъ торжество, освѣтилъ настоящимъ, хотя и зловѣщимъ свѣтомъ, огромное историческое пространство, счастливые острова, гдѣ, казалось, жили только доблестные герои. Вмѣсто нихъ, мы разглядѣли Чичиковыхъ и Ноздревыхъ, Коробочекъ и Маниловыхъ и большую компанію другихъ лицъ, съ которыми скоро пришлось переживать тяжелыя историческія испытанія. Что бы ни говорила современная славянофильская школа, объясняя мысль отрицательныхъ типовъ Гоголя какимъ то психическимъ актомъ самоочищенія и искупленія, какъ говорилъ впрочемъ и самъ нравственно больной подъ конецъ жизни писатель,—его типы выросли и окрѣпли въ обществѣ; они—его характеристика и созданіе.

Но Гоголь, какъ и современный намъ великій русскій сатирикъ, не дающій заснуть и одеревенѣть мысли и чувству посреди явленій, способствующихъ тому, звалъ впередъ, указывалъ идеалы. Гоголемъ было воспитываемо въ то время гуманное и мягкое чувство въ обществѣ. Подъ вліяніемъ его произведеній люди измѣнялись; Божья искра западала въ готовую очерствѣть душу, какъ случилось это съ тѣмъ молодымъ человѣкомъ, который позволилъ было себѣ грубую шутку надъ героемъ „Шинели“. „Все перемѣнилось предъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ: какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей.

Въ проникающихъ словахъ: „оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?“ звенѣли другія слова: „я братъ твой“! И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже, даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ“. Гоголь увлекалъ въ широкое человѣческое движеніе: „Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ, юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточенное мужество, говорилъ онъ современному молодому поколѣнію,—забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ по дорогѣ—не подымете потомъ“.

Вполнѣ было естественно, что все молодое и талантливое въ нашей литературѣ того времени, все, что смотрѣло впередъ и сознательно относилось къ своей дѣятельности, должно было примкнуть къ этому направленію. Высокая художественность Гоголевскихъ созданій и глубокій нравственный смыслъ ихъ сдѣлали Гоголя главою школы. Литература стала въ главѣ нравственнаго развитія общества; она сдѣлалась воспитательницей его, совѣстью. Какъ бы почувствовавъ свою силу и внутреннее значеніе, она расширила кругъ своего дѣйствія, стала касаться такихъ слоевъ общества, куда не желали спускаться прежніе писатели, и тамъ искала людей. Это былъ уже значительный успѣхъ съ ея стороны. Конечно, немного сторонъ и вопросовъ дѣйствительной русской жизни, вслѣдствіе безправнаго положенія русскаго общества, было доступно литературѣ. Цензура зорко слѣдила за нею, преслѣдовала всякое ея отклоненіе и загоняла назадъ, въ привычный заколдованный кругъ, заставляла ее вертѣться въ бѣличьемъ колесѣ исключительно сердечныхъ волненій и любовныхъ приключеній. Новое направленіе не нравилось въ высшихъ сферахъ, не нравилось между старыми писателями и въ такъ называемыхъ славянофильскихъ кружкахъ, гдѣ подъ громкими фразами царило старое преданіе. Но литература дѣлала свое дѣло.

Прекрасно характеризуетъ это дѣло новой литературы и ея отношеніе къ тогдашнему обществу Бѣлинскій: „Представьте себѣ человѣка обезпеченнаго, можетъ быть, богатаго: онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него пре-

красный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ,—и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы, и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть *углы*, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ отъ холоду цѣлое семейство, можетъ быть, недавно еще знавшее довольство, — что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, — что послѣдняя копейка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее!.. Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было; управляющій его, Никита Ѳедорычъ, что-то замѣшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываетъ ему подвиги его Никиты Ѳедорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее скверную книгу! Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подъ пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ „малую толику". Всѣ читаютъ—надо и ему читать; но что находитъ онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно разсказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похожденія его жизни—тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю не откуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшенъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: „Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штиль ровный,

гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или о возвышенныхъ, „читать сладко и обидѣться нечѣмъ!“ (*Сочин. Бѣлинск.* XI, 343—345).

Мы привели эти слова Бѣлинскаго для того, чтобъ показать новое отношеніе литературы къ обществу, созданное Гоголемъ и содержаніемъ его произведеній. Новое направленіе получило тогда названіе *натуральной школы*, названіе, какъ это часто случается, не точно опредѣляющее его; оно дано было, какъ кажется, Бѣлинскимъ. Толки о натуральной школѣ, сдерживаемые, разумѣется, цензурой, наполняли тогдашніе журналы, раздѣливъ представителей литературы на два противоположные и враждебные лагеря. Подъ натуральною школою надобно разумѣть болѣе живое пониманіе дѣйствительности, болѣе глубокое отношеніе къ ней, больше простора въ пониманіи окружающей жизни и совершенное отчужденіе отъ риторики, то есть отъ того лганья, которымъ преисполнена была жизнь и литература. Весь успѣхъ этой послѣдней и ея движеніе впередъ, какъ справедливо замѣтилъ Бѣлинскій, „зависятъ больше *отъ объема и количества предметовъ*, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Въ натуральной школѣ было уже это расширеніе границъ.

Надобно замѣтить, что годы 1843—1848 были, говоря относительно, довольно благопріятны для успѣховъ мысли и для развитія литературы у насъ въ теченіе всей однообразной и послѣдовательной тридцатилѣтней системы. Поводья какъ будто ослабли; мысль и сознаніе, бродившія въ обществѣ, несмотря на случайное появленіе свое, стали получать тогда болѣе опредѣленную форму и выраженіе. Цензура сдѣлалась какъ бы благодушнѣе, смотрѣла иногда сквозь пальцы. Это была передышка въ нѣкоторомъ родѣ, и очень скоро, съ 1848 года, эта цензура съ усиленною дѣятельностью принялась за хирургическую операцію вылущиванія мысли. Какъ ни много было заказано вообще путей русской литературѣ, все же, въ эти льготные годы, мы слышимъ въ ней толки о самобытности, о дѣйствительности, о болѣе широкомъ и вѣрномъ изображеніи жизни; мы видимъ появленіе двухъ литературныхъ партій, въ основѣ которыхъ была сознательная

мысль и зародыши политическихъ убѣжденій. Нравственное чувство и умственные интересы пробуждаются и растутъ въ обществѣ. Главное содержаніе этого возбужденія давалось европейскими вліяніями. Высока и крѣпка была та китайская стѣна, которая поднималась на западной нашей границѣ, но для крылатыхъ свойствъ человѣческой мысли она не была безусловнымъ препятствіемъ, а въ Европѣ въ это время, послѣ спокойныхъ годовъ, слѣдовавшихъ за паденіемъ Наполеона и только на короткое время прерванныхъ іюльскими днями, развивалось и крѣпло умственное движеніе. Мысль зрѣла, дѣлалась интенсивнѣе; она стала касаться самыхъ существенныхъ и коренныхъ сторонъ человѣческаго общества и, недовольная ходомъ исторіи, результатами продолжительной и жестокой борьбы, только что пережитой Европою, осуждала эту исторію. Содержаніе этой европейской мысли, недоступное массѣ, необходимо должно было войти въ сознаніе незначительнаго меньшинства русскаго общества, которое шло по историческому пути, проложенному Петромъ В. Это образованное меньшинство, конечно, принадлежало литературѣ. Мы видѣли, что она развивалась. Анализъ окружающихъ ее явленій былъ необходимъ. Неизбѣжнымъ явленіемъ анализирующей мысли было критическое недовольство. Счастлива та страна, гдѣ не засыпаетъ этотъ критическій процессъ мысли и, возбуждая дѣятельность сознанія, раскрывая „несовершенства и бѣдность“, работаетъ безостановочно для лучшаго будущаго. Мысль можно изуродовать, пустить ее по кривымъ путямъ, но она не заглохнетъ, не уснетъ на вѣки.

На Гоголя, какъ основателя школы, на молодыхъ талантливыхъ его продолжателей въ литературѣ, какъ извѣстно, долго падали обвиненія за *отрицательное* или, какъ стали потомъ выражаться—за *обличительное направленіе*, за то, что они постоянно изображаютъ все „бѣдность да бѣдность, да несовершенства человѣческой жизни“, но въ изображеніи отрицательныхъ явленій, если въ нихъ была жизненная правда, и заключался успѣхъ литературы. Она разсталась съ ложью и фразою, если бъ даже въ нихъ и заключался „насъ возвышающій обманъ“; она стала однимъ изъ существенныхъ факторовъ духовнаго развитія страны: она дѣлала гражданскій подвигъ. За отталкивающими явленіями, ею изображаемыми, носились впереди, какъ цѣль, свѣтлые идеалы; она

призывала ихъ, ждала ихъ осуществленія; отрицаніе являлось сознаніемъ того, что должно быть вмѣсто того, что на самомъ дѣлѣ было. Говорить поэтому объ односторонности этого направленія, даже оскорбляться имъ, какъ это часто случалось въ полемикѣ тѣхъ годовъ — было совершенно несправедливо. „Натуральная школа“ имѣла будущее.

Въ эпоху первой литературной дѣятельности Достоевскаго, то есть до 1849 года, это направленіе имѣло уже нѣсколькихъ талантливыхъ представителей. Упомянемъ прежде всего о Григоровичѣ, товарищѣ по Инженерному училищу Достоевскому. Его „Деревня“, его „Антонъ Горемыка“, написанные въ то время съ теплою любовію къ русскому крестьянину въ его безправномъ положеніи, и съ замѣчательнымъ талантомъ, были какъ бы откровеніемъ новой стороны русской жизни, совсѣмъ неизвѣстной прежде или представляемой чрезвычайно фальшиво. Несмотря на нѣкоторую молодую идеализацію свою, совершенно необходимую въ виду той высокой и благородной цѣли, которая присутствовала въ созданіи автора, повѣсти эти вносили въ общество міръ новыхъ и плодотворныхъ идей, затрогивали, хотя и робко, крестьянскій вопросъ, строго запрещенный для литературы. „По прочтеніи трогательной повѣсти „Антонъ Горемыка“, въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя“ — сказалъ о ней Бѣлинскій. Тургеневъ, этотъ величайшій послѣ Гоголя нашъ художникъ, тогда же отъ первоначальныхъ поэтическихъ попытокъ, гдѣ его мысль еще бродила между портретами и сценами русской провинціальной и помѣщичьей жизни и общими человѣческими идеалами, обратился къ тому, что онъ наблюдалъ, что хорошо знаетъ, чему горячо сочувствуетъ его сердце, — къ русской природѣ и той же печальной дѣйствительности, которую затронулъ и Григоровичъ. Рядъ великолѣпныхъ очерковъ „Записки Охотника“, останется навсегда однимъ изъ драгоцѣнныхъ достояній русской литературы, гдѣ образы дѣйствительности схвачены глубокимъ чувствомъ поэта и тонкимъ умомъ наблюдателя. По другой дорогѣ шелъ Гончаровъ, но и его первый романъ „Обыкновенная исторія“, хотя и не касающаяся общественныхъ вопросовъ, принадлежитъ также къ натуральной, или лучше сказать, къ реальной школѣ, основателемъ которой былъ Гоголь. Лица Гончарова, обрисо-

ванныя съ холоднымъ увлеченіемъ настоящаго художника, стоятъ предъ читателемъ, какъ живыя, будятъ его мысль, но не заставляютъ задумываться о той общественной средѣ, къ которой они принадлежатъ. Къ этимъ главнымъ представителямъ „натуральной школы", необходимо присоединить еще одного, произведенія котораго относятся къ тѣмъ же годамъ и часто появлялись тогда въ нашихъ журналахъ. Мы говоримъ объ авторѣ весьма замѣчательной повѣсти „Кто виноватъ?", нѣкоторыхъ другихъ разсказовъ, затрогивающихъ, какъ „Сорока-воровка", напримѣръ, въ высшей степени любопытные вопросы русскаго общественнаго сознанія, и цѣлаго ряда статей научнаго содержанія по исторіи философіи и по философіи исторіи, отличающихся глубиною смѣлой и самостоятельной мысли и изложенныхъ такимъ блестящимъ, оригинальнымъ и остроумнымъ слогомъ, какой изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени принадлежалъ исключительно ему. О значеніи критики Бѣлинскаго, какъ для объясненія Гоголя и его школы, такъ и для указанія цѣлей и стремленій для всей русской литературы, мы уже говорили. Это былъ великій и благородный учитель для всѣхъ писателей.

Въ этихъ главныхъ представителяхъ въ то время нашей литературы заключался успѣхъ общественнаго сознанія. Они были отраженіемъ этого сознанія. Литература измѣнила радикальнымъ образомъ и содержаніе и тонъ свой. Повѣсти великосвѣтскаго содержанія, безъ которыхъ не обходилась ни одна книжка прежнихъ журналовъ, съ ходульными героями и эффектно-невозможными страстями, историческіе романы, гдѣ изображались въ совершенно ложномъ свѣтѣ и съ напыщенною риторикою, придуманныя патріархальныя добродѣтели русскаго человѣка, quasi-патріотическія драмы Кукольника и Полевого и много другихъ того же рода явленій сдѣлались теперь невозможными. Литература оставила блестящій салонъ и пошла въ бѣдную избу, въ мрачный петербургскій „уголъ"; она поднималась на „вершины" многоэтажныхъ петербургскихъ домовъ, спускалась въ сырые и затхлые подвалы, гдѣ гнѣздятся люди, обойденные судьбой, падшіе и несчастные, „униженные и оскорбленные", но все таки люди и братья. Съ участіемъ и любовью, съ глубокимъ уваженіемъ нравственнаго человѣческаго достоинства, подъ

лохмотьями нищеты, литература искала человѣка и, изображая его страданія, старалась показать, на сколько это было возможно для нея въ ея несвободномъ состояніи, на чемъ и на комъ лежитъ вина часто незаслуженнаго страданія, съ кого взыскать обиду. Извѣстно, что тогдашнее общество было значительно проникнуто благотворительнымъ или филантропическимъ направленіемъ; для однихъ это было дѣломъ христіанскаго убѣжденія и чувства, для другихъ—дѣломъ подражанія и моды. „Общество посѣщенія бѣдныхъ въ Петербургѣ“ основано было въ тѣ годы на очень широкихъ и разумныхъ основаніяхъ. Его любопытная исторія закончилась закрытіемъ по распоряженію высшей власти, но оно отвѣчало требованіямъ времени. Бѣлинскій говоритъ, что все это направленіе общества должно было необходимо отразиться въ литературѣ, какъ его выраженіи. Но литература, по словамъ его, сдѣлала едва ли не больше: „она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него“ (*Сочин. Бѣлинск.* XI, 349—350).

Участникомъ этого крайне любопытнаго и плодотворнаго литературнаго движенія сдѣлался и Достоевскій.

Сужденія о литературныхъ заслугахъ Достоевскаго большею частью основываются на прежнихъ приговорахъ нашей критики. Первыя произведенія его были встрѣчены и оцѣнены Бѣлинскимъ; другой періодъ его дѣятельности, когда Достоевскій заговорилъ сознательно объ „униженныхъ и оскорбленныхъ“, старался опредѣлить Добролюбовъ. Но при жизни писателя всякая критика его произведенія не будетъ окончательно вѣрнымъ приговоромъ: въ живой, развивающейся дѣятельности писателя такъ много силъ вообще для того, чтобъ подорвать вѣрность всякаго сужденія о немъ. Оба лучшіе критики наши смотрѣли каждый съ своей точки зрѣнія на сочиненія Достоевскаго, оба были правы въ условіяхъ своего времени. Но ни для того ни для другого критика не существовало большихъ послѣднихъ романовъ Достоевскаго, имъ былъ совершенно неизвѣстенъ писатель, какъ публицистъ, какъ судья современнаго общества и его явленій, какъ мыслитель и пророкъ, указывающій на будущее, призывающій къ опредѣленной дѣятельности, ставящій впереди идеалы и цѣли стремленій. А между тѣмъ, именно эта по-

слѣдняя литературная дѣятельность и нуждается въ положительномъ историческомъ опредѣленіи. Пока она вызываетъ лишь разнообразныя, иногда крайне противоположныя мнѣнія и заключенія. Если въ талантѣ Достоевскаго была дѣйствительная сила, если въ его мысли, въ самомъ дѣлѣ, заключены отвѣты на тѣ мучительные вопросы, которые поднимаются въ груди современнаго общества и страстно волнуютъ насъ, то понятно, что положительное заключеніе о литературной дѣятельности его станетъ возможнымъ только въ будущемъ, когда смолкнетъ современная борьба, когда ходъ нашего общественнаго развитія и сама исторія покажутъ, на сколько были правы современные намъ поклонники и противники Достоевскаго".

П. Булгинъ.

* * *

Въ 1846 году, при появленіи въ печати первыхъ двухъ произведеній Достоевскаго („Бѣдныхъ людей" и „Двойника"), Бѣлинскій въ своей критикѣ на нихъ, помѣщенной въ „Отеч. Зап.", между прочимъ, опредѣляетъ талантъ Достоевскаго въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

*) „Талантъ г. Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и преобладающій характеръ его таланта—юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и при томъ глубоко знаетъ, но à priori, слѣдовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который съ разу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлялся отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ

*) Соч. В. Бѣлинскаго.

частностяхъ обоихъ романовъ г. Достоевскаго („Бѣдныхъ людей“ и „Двойника“) видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ, въ талантѣ г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ никакого даже намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнію и мыслію, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился впослѣдствіи талантъ г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Коломбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться г. Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта г. Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по „Бѣднымъ людямъ“, мы заключили было, что глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но прочтя „Двойника“, мы увидѣли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ „Двойникѣ“ глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, этотъ колоритъ и тонъ въ „Двойникѣ“ спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ „Запискахъ сумасшедшаго“, Гоголя... Вообще, талантъ г. Достоевскаго, при всей его огромности, еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и выказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писателя, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многаго ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ „Герой нашего времени“, но если бы кто подумалъ, что Лермонтовъ впослѣдствіи не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о талантѣ Лермонтова. Мы сказали, что въ обоихъ романахъ г. Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ

оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ, талантъ г. Достоевскаго блеститъ яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣевичу Дѣвушкину, старику Покровскому и г-ну Голядкину старшему г. Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ и Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ г. Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже никому болѣе не оказать) на эти забитыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что г. Достоевскій самъ собою взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности". *)

В. Бѣлинскій.

* * *

Черезъ 15 лѣтъ послѣ приведенныхъ словъ Бѣлинскаго, именно въ 1861 году, другой знаменитый нашъ критикъ, Добролюбовъ, разбирая на страницахъ „Современника" (№ 9) произведенія Достоевскаго до романа „Униженные и Оскорбленные" включительно, между прочимъ, такъ характеризуетъ литературное направленіе его:

**) „Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ, или наконецъ даже не въ правѣ быть человѣкомъ, настоящимъ, полнымъ самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. „Каждый человѣкъ долженъ быть человѣкомъ, и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку",—вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и партіальныхъ воззрѣній, повидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то à priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тѣмъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человѣка сохранить свою лич-

*) Впослѣдствіи Бѣлинскій, какъ читатель увидитъ дальше, нѣсколько разочаровался въ Достоевскомъ. Примѣч. В. Зелинскаго.

**) Соч. Добролюбова. „Забитые люди".

ность, остаться самимъ собою, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходитъ только—или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупѣнія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже человѣка. Есть много такихъ, которые какъ будто родятся съ этимъ послѣднимъ сознаніемъ, которыхъ мысль о своемъ человѣческомъ значеніи какъ будто никогда съ роду не посѣщала. Это—точно существа другого міра, точно въ нихъ ничего нѣтъ общаго съ остальнымъ человѣчествомъ... Что за причина такого перерожденія, такой аномаліи въ человѣческихъ отношеніяхъ? Какъ это происходитъ? Какими существенными чертами отличаются подобныя явленія? Къ какимъ результатамъ ведутъ они? Вотъ вопросы, на которые естественнымъ и необходимымъ образомъ наводятъ читателя произведенія г. Достоевскаго. Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у него нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказамъ нужны дополненія и комментаріи. Но тѣмъ не менѣе вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самый тонъ каждой повѣсти мрачный, унылый, болѣзненный, — такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и подымаетъ въ васъ какую-то нервную боль... Подобное впечатлѣніе очень не нравилось многимъ; одинъ критикъ прямо обвинялъ г. Достоевскаго именно за мрачный колоритъ его повѣстей: критику, неизвѣстно почему, казалось, что русской литературѣ нужны разсказы веселенькіе, граціозные, розовые. Желаніе его исполнилось скоро, послѣ отзыва его

о г. Достоевскомъ (въ началѣ 1849 г.). *) Дѣйствительно—русская литература вдалась въ разсказы великосвѣтской жизни, изъ нравовъ древней Аркадіи, перенесенной въ Костромскую губернію, изъ сферы супружескихъ непріятностей во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, изъ круга образованныхъ молодыхъ людей, очень много и неопредѣленно разсуждавшихъ о возвышенныхъ предметахъ... Много авторитетныхъ именъ (теперь—увы!—теряющихъ свое обаяніе!) создалось въ этотъ недолгій промежутокъ, до тѣхъ поръ, пока опять не завладѣлъ общимъ вниманіемъ новый родъ литературы—обличительный. Прошелъ и этотъ родъ—еще скорѣе, чѣмъ родъ щигровскихъ гамлетовъ, пошехонскихъ пастушекъ и подмосковныхъ графинь,—и прошелъ не потому, чтобы представители его бѣдны были талантами, а потому, что съ самаго начала пошли они по ложной дорогѣ. У однихъ по необходимости, вслѣдствіе внѣшнихъ требованій, а у другихъ и наивно, простосердечно, — міросозерцаніе явилось чрезвычайно узкимъ и одностороннимъ; въ чиновникѣ такъ и видѣли только чиновника, въ бѣдѣ, происшедшей отъ взяточничества городничаго, такъ и видѣли только слѣдствіе его взяточничества, всякаго станового воображали, какъ конечную цѣль и крайнюю исходную точку существующихъ порядковъ: „быть или не быть благоденствію Россіи"—это зависѣло оттого, будетъ или не будетъ служить становымъ честный чиновникъ Фроловъ: на этой мысли была построена у насъ цѣлая комедія, не безъ успѣха игравшаяся на Александринскомъ театрѣ. Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумалъ заглянуть въ душу этихъ чиновниковъ-злодѣевъ и взяточниковъ, да посмотрѣть на тѣ отношенія, въ какихъ проходитъ ихъ жизнь. Никто не приступилъ къ разсказу объ ихъ подвигахъ съ простою мыслью: „Бѣдный человѣкъ! Зачѣмъ же ты крадешь и грабишь? Вѣдь не родился же ты воромъ и грабителемъ, вѣдь не изъ особаго же племени вышло, въ самомъ дѣлѣ, это такъ называемое *крапивное сѣмя?*" Только у г. Щедрина и находимъ мы по мѣстамъ подобные запросы, и за то онъ до сихъ поръ остается не только выше всѣхъ своихъ сверстниковъ по обличительной литературѣ, но и вообще выше многихъ изъ литераторовъ нашихъ, увле-

*) Очевидно, Добролюбовъ намекаетъ на Анненкова. См. „Воспоминанія и критическія замѣтки" Анненкова. Ч. II. Примѣч. В. Зелинскаго.

кавшихъ нашу публику разсказами съ претензіей на широкое пониманіе жизни. Но нельзя не видѣть, что и у г. Щедрина „обличеніе“ перетягиваетъ. Ни въ одномъ изъ „Губернскихъ очерковъ“ его не нашли мы въ такой степени живого, до боли сердечной прочувствованнаго отношенія къ бѣдному человѣчеству, какъ въ его „Запутанномъ дѣлѣ“, напечатанномъ 12 лѣтъ тому назадъ. Видно, что тогда были другіе годы, другія силы, другіе идеалы. То было направленіе живое и дѣйственное, направленіе истинно-гуманическое, не сбитое и не разслабленное разными юридическими и экономическими сентенціями. Тогда къ вопросу о томъ, отчего человѣкъ злится или воруетъ, относились такъ же, какъ и къ вопросу, зачѣмъ онъ страдаетъ и всего боится; съ любовью и болью начинали приниматься за патологическое изслѣдованіе подобныхъ вопросовъ, и если бы продолжалось это направленіе, оно, безъ сомнѣнія, было бы плодотворнѣе всѣхъ за нимъ послѣдовавшихъ. Нынѣ у насъ рѣшенія просты: если люди воруютъ, значитъ—полиція плохо дѣлаетъ свое дѣло; если взятки берутся, значитъ—начальникъ колпакъ... и т. п. А тогда выходило иной разъ: воруетъ человѣкъ оттого, что работы не нашелъ себѣ и съ голоду умиралъ; взятки беретъ, чтобы пятнадцать душъ семейства прокормить... Результаты очень не похожіе въ нравственномъ отношеніи: одинъ будитъ въ васъ человѣческое чувство и мужественную мысль, другой ведетъ васъ въ полицію и заставляетъ замирать на юридической формѣ.

Г. Достоевскій въ первомъ же своемъ произведеніи явился замѣчательнымъ дѣятелемъ того направленія, которое назвалъ я по преимуществу гуманическимъ. Въ „Бѣдныхъ людяхъ“, написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго, г. Достоевскій со всею энергіей и свѣжестью молодого таланта принялся за анализъ поразившихъ его аномалій нашей бѣдной дѣйствительности и въ этомъ анализѣ умѣлъ выразить свой высокогуманный идеалъ. Идеалъ этотъ не принадлежалъ ему исключительно и не имъ внесенъ въ русскую литературу. Въ видѣ сентенцій о томъ, какъ „самый презрѣнный и даже преступный человѣкъ есть тѣмъ не менѣе братъ нашъ“ и т. п., гуманическій идеалъ проявлялся еще въ нашей литературѣ конца прошлаго столѣтія, вслѣдствіе распространенія у насъ

въ то время идей и сочиненій Руссо. Но эти привозныя сентенціи плохо тогда ладили съ русскою жизнію, и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державинъ все воспѣвалъ людей вообще и величіе нѣкоторыхъ сановниковъ въ особенности; о правахъ же человѣческихъ думалъ такъ мало, что умиленно восторгался тѣмъ, какъ ему—

И знать и мыслить позволяютъ.

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видѣть, до какой степени сознаніе общихъ человѣческихъ правъ и интересовъ было ему чуждо, довольно перелистовать его „Письма русскаго путешественника", особенно изъ Франціи. У Пушкина проявляется кое-гдѣ уваженіе къ человѣческой природѣ, къ человѣку, какъ человѣку, но и то большею частію въ эпикурейскомъ смыслѣ. Вообще же онъ былъ слишкомъ мало серьезенъ, или, говоря словами эстетиковъ, слишкомъ гармониченъ въ своей натурѣ, для того чтобы заниматься какими-нибудь аномаліями жизни. Онъ во всемъ видѣлъ только прекрасное и рисовалъ только поэтическія стороны: прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ на битву, грандіозность падающей лавины, „благоуханіе словеснаго елея", пролившагося на него съ какой-то „высоты духовной", и проч. и пр. Только Гоголь, да и то не вдругъ, вноситъ въ нашу литературу гуманическіе элементы: въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ" выразился онъ уже ясно, но, какъ видно, важность его не вполнѣ оцѣнилъ тогда самъ Гоголь. По крайней мѣрѣ, „Ревизоръ" обработанъ въ этомъ отношеніи довольно слабо, что и подало поводъ нѣкоторымъ называть всю комедію фарсомъ и всѣ лица — карикатурами. Но чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей волѣ, въ ожиданіи свѣтлыхъ и чистыхъ идеаловъ, онъ все изображалъ своимъ могучимъ словомъ „бѣдность да бѣдность, да несовершенства нашей жизни". По этому-то пути направился и г. Достоевскій.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ г. Достоевскій недостатокъ уваженія къ человѣку другихъ людей. Кажется бы, дѣло простое—думается, когда читаешь эти повѣсти:—человѣкъ родился, значитъ, имѣетъ право на существованіе; это естественное право должно имѣть и естествен-

ныя условія для своего поддержанія, т. е. средства къ жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетвореніе ея должно быть одинаково общее, для всѣхъ, безъ подраздѣленій, что вотъ, дескать, такіе-то имѣютъ право, а такіе-то нѣтъ. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случаѣ, значитъ отрицать право на жизнь. А если такъ, то въ предѣлахъ естественныхъ условій, рѣшительно всякій человѣкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполнѣ свою личность, и, принимаясь за соотвѣтственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тѣмъ не менѣе—никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямыя человѣческія права и требованія. Кажется, ясно. А между тѣмъ—отчего же этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ „прячется, скрывается, трепещетъ", безпрерывно стыдится за свою жизнь, „да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову", и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ человѣкъ маленькій, человѣкъ ничтожный?" Отчего Горшковъ этотъ — „жалкій, хилой такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой? „Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что „онъ чего-то какъ будто стыдится, что ему какъ будто самого себя совѣстно", и въ разговорахъ съ сыномъ — „приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ"? А отчего г. Голядкинъ въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ „быть въ своемъ правѣ" и „идти своей дорогой" — съеживается до послѣднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головѣ своей идеи, что подъ его право всѣ подкапываются, мѣшается въ разсудкѣ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности, и наконецъ отъ этой мысли захварываетъ и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Шумковъ считаетъ себя извергомъ человѣчества и мѣшается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись нѣжностями съ невѣстою, не успѣлъ переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому-же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка такъ уничтожается передъ Катей? Отчего

Росталевъ отрекается отъ своей воли передъ Ѳомою Ѳомичемъ, и считаетъ себя рѣшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любитъ? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится передъ вертопрахомъ Алешею? Отчего старикъ Ихменевъ, перенося всевозможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобъ не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ собирать милостыню, чтобы на собранныя деньги купить ему разбитую ею чашку? Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между тѣмъ, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тѣмъ, что оказывается на дѣлѣ?

Мы уже сказали, что прямого отвѣта на такіе вопросы не даетъ ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго въ отдѣльности. Чтобы найти отвѣтъ, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.“

Н. Добролюбовъ.

* * *

Послѣ критическихъ отзывовъ Бѣлинскаго и Добролюбова, сравнительно отдаленныхъ отъ насъ по времени, перейдемъ прямо къ тѣмъ, которые явились въ печати послѣ смерти Достоевскаго. Прежде другихъ, приведемъ выдержки изъ двухъ критическихъ обозрѣній, представляющихъ собою отголоски двухъ вліятельныхъ литературныхъ партій; эти партіи характеризуютъ себя направленіемъ двухъ распространенныхъ журналовъ, выражающихъ ихъ тенденціи и міровоззрѣніе: „Вѣстника Европы“ и прекратившихся „Отечественныхъ Записокъ“. Будучи далеки отъ мысли предполагать пристрастіе въ оцѣнкѣ ими литературныхъ заслугъ Достоевскаго, мы тѣмъ не менѣе сознаемъ, что люди этихъ двухъ партій, по своимъ воззрѣніямъ, въ очень многомъ расходились въ сферѣ идей и стремленій съ Достоевскимъ, въ особенности въ послѣдніе годы его жизни, а потому и не могли вполнѣ симпатизировать его литературной дѣятельности. Вотъ взглядъ на литературную дѣятельность Достоевскаго „Вѣстника Европы“:

*) Передъ нами остается вопросъ, требующій опредѣленія,—

*) „Вѣстникъ Европы“ 1881 г., № 3. Литературное обозрѣніе. (А. В.).

вопросъ о значеніи литературной дѣятельности Достоевскаго, въ нѣкоторыхъ его пунктахъ рѣшаемый теперь двумя, прямо противоположными способами. Это—предметъ, довольно сложный и самъ по себѣ, по содержанію произведеній Достоевскаго, и по тому успѣху, какой имѣли въ послѣднее время его сочиненія не только беллетристическія, но и публицистическія. Талантъ Достоевскаго былъ, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ сильныхъ въ нашей новѣйшей литературѣ; но это былъ талантъ, отчасти безсознательный (или, другими словами, превышающій ту теорію, которую подкладывалъ ему авторъ), какъ у Гоголя, отчасти крайне неровный. Когда этотъ талантъ впервые проявился въ „Бѣдныхъ Людяхъ", онъ поразилъ не только читателей обыкновенныхъ, но и такихъ требовательныхъ и умныхъ судей, каковъ былъ Некрасовъ, и еще гораздо болѣе — Бѣлинскій. Повѣсть дѣйствовала на нервы. Когда первое впечатлѣніе улеглось, Бѣлинскій, восторгавшійся повѣстью, открылъ въ ней немалые художественные недостатки. Послѣдующіе разсказы, написанные Достоевскимъ до ареста и еще читанные Бѣлинскимъ, привели послѣдняго въ совершенное недоумѣніе (см. Соч. XI, стр. 53—57, 423—425). Бѣлинскій видѣлъ и здѣсь, въ этихъ вторыхъ повѣстяхъ (именно въ „Двойникѣ") „огромную силу творчества", глубину и смѣлость въ изображеніи характеровъ, „много ума, истины и художественнаго мастерства", — но рядомъ „страшное неумѣнье распоряжаться избыткомъ собственныхъ силъ, опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной идеи". Иначе говоря, писатель уже не повиновался здѣсь простымъ внушеніямъ дарованія и неподдѣльнаго чувства, но уже придумывалъ и искусственно подстраивалъ. Недостатки новыхъ разсказовъ Достоевскаго казались Бѣлинскому „чудовищными"; въ одной изъ повѣстей онъ видѣлъ попытку автора „помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно натеревши все это лакомъ русской народности"; онъ не находилъ въ повѣсти „ни одного живого и простого слова", напротивъ, „все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво". Не выписывая больше, довольно сказать, что разочарованіе Бѣлинскаго было крайнее. Довольно прочесть эти вторыя повѣсти, чтобы провѣрить выводы Бѣлинскаго и увидѣть справедливость его сужденій.

Бѣлинскій вѣрно указывалъ и источникъ этихъ недостатковъ— неумѣнье громаднаго таланта справиться съ силами и найти художественную мѣру; онъ нехотя, осторожно указываетъ и другую причину—„умничанье, претензію“, т.-е. именно вмѣшательство теоретическаго придумыванія. Въ самомъ дѣлѣ, Достоевскій съ одной стороны увлекся обиліемъ фантазіи, не умѣлъ поставить художественныхъ границъ ея разливу; съ другой—онъ уже и не хотѣлъ, не считалъ нужнымъ ставить этихъ границъ. Первый успѣхъ, какой дѣйствительно рѣдко доставался только-что начинавшему писателю, преисполнилъ его крайней самоувѣренностью. Талантъ часто выручалъ его въ трудныхъ задачахъ, которыя онъ себѣ ставилъ, но самоувѣренность часто также самымъ существеннымъ образомъ вредила его произведеніямъ. Отсюда его вычурныя темы, выбираемыя, вѣроятно, не безъ разсчета на эффектъ, къ которому онъ уже въ ту первую пору выказывалъ особенное пристрастіе; отсюда неровность развитія и изложенія этихъ темъ. Бѣлинскій такъ вѣрно понялъ большую силу и крупные недостатки въ дарованіи Достоевскаго, что его сужденія оправдываются на цѣломъ длинномъ рядѣ позднѣйшихъ произведеній Достоевскаго. Въ однихъ меньше, въ другихъ больше, но та же неровность, тѣ же преувеличенія фантастики или смѣшеніе Марлинскаго съ Гофманомъ, та же намѣренная игра на нервахъ читателя (напр., хоть извѣстное „рѣзаніе пальчиковъ“),—фальшивость, которую замѣчали даже самые благорасположенные изъ нынѣшнихъ критиковъ. Для Добролюбова (въ разборѣ романа „Униженные и Оскорбленные“) художественные недостатки Достоевскаго были предметомъ, который онъ даже не бралъ на себя труда подробно доказывать. Мы указываемъ сужденія двухъ художественныхъ критиковъ — замѣчательнѣйшихъ, какихъ имѣла наша литература,—потому что ни того ни другого нельзя укорить въ пристрастіи. Для Бѣлинскаго Достоевскій по первой повѣсти былъ одна изъ лучшихъ надеждъ русской литературы; Добролюбовъ въ романѣ Достоевскаго, какъ въ комедіяхъ Островскаго, нашелъ то общественное содержаніе, котораго онъ такъ страстно искалъ въ нашей литературѣ, какъ матеріала для изслѣдованія русскаго общества и какъ средства—дѣйствовать на его сознаніе. Эти сужденія нужно вспомнить, чтобы избѣжать тѣхъ странныхъ преувеличеній, съ которыми такъ часто го-

ворилось въ послѣдніе годы о значеніи таланта Достоевскаго и его „художественной“ силѣ. Съ ошибкой въ художественной оцѣнкѣ легко соединилась и ошибка въ оцѣнкѣ самого содержанія писателя*)... Въ новомъ періодѣ своей дѣятельности Достоевскій не ограничился романомъ и повѣстью. Его тянуло къ публицистикѣ; онъ имѣлъ въ этомъ отношеніи вліятельную роль въ журналѣ „Время-Эпоха“, потомъ принялъ участіе въ „Гражданинѣ“ кн. Мещерскаго, наконецъ, издавалъ „Дневникъ Писателя“. Публицистическія темы вступали болѣе или менѣе открыто въ его беллетристическія произведенія. Оставляя въ сторонѣ споръ о томъ, имѣетъ или не имѣетъ право такъ-называемая „тенденція“ въ художественномъ произведеніи, довольно замѣтить, что множество высочайшихъ произведеній всемірной художественной литературы бывали окрашены тенденціей, но что не всякая тенденція можетъ остаться безвредной для достоинства произведеній. Писатель можетъ одушевляться и дѣйствительными интересами человѣческаго развитія, совершенствованіемъ личности, стремленіемъ къ общественной свободѣ, но можетъ также подчинить свой талантъ тѣсному взгляду партіи, фанатически-исключительной теоріи. Чтобы остаться на высотѣ нравственной задачи искусства, писатель, который вмѣшивается въ сложныя, спорныя, въ концѣ-концовъ, трагическія отношенія общественнаго быта, обязанъ прежде всего глубокимъ изученіемъ этого быта и его условій, безпристрастнымъ отношеніемъ къ различнымъ сторонамъ его и смѣлостью — быть правдивымъ. Касаясь этого рода сложныхъ отношеній, писатель неизбѣжно вступаетъ въ область публицистики, — не прямо (въ этомъ можетъ не быть надобности), но косвенно, выборомъ картинъ, освѣщеніемъ характеровъ, изображеніемъ условій, въ которыхъ они движутся и развиваются. Онъ можетъ или остаться на той художественной высотѣ, о какой мы говорили, или явиться просто человѣкомъ исключительнаго кружка или партіи. Благо ему,—и обществу, которому онъ служитъ,—если въ его произведеніяхъ господствуетъ это возвышенное настроеніе любви и справедливости, поддерживаемое и талантомъ и знаніемъ жизни. Итакъ, старые и новые критики признали

*) Самъ Достоевскій опровергалъ своихъ поклонниковъ, разсказывая — на чей-то упрекъ, что его произведенія отзываются тяжелой работой,—что, напротивъ, онъ писалъ иногда самымъ спѣшнымъ образомъ, какъ пишутся журнальныя статьи, когда типографія требуетъ „оригинала“.

въ Достоевскомъ великую силу въ изображеніи тѣхъ сторонъ жизни, которыя кончались страданіемъ и оскорбленіемъ человѣческой природы, умѣнье раскрыть достоинство человѣка въ самомъ заброшенномъ людьми существѣ, войти въ его особый и трудно доступный міръ, найти сочувствіе къ забитой человѣческой природѣ. Впослѣдствіи, глубокій психологическій анализъ былъ всѣми признанъ, какъ господствующая у насъ, почти безпримѣрная особенность таланта Достоевскаго,—хотя этотъ анализъ далеко неровенъ... Но личная судьба описываемыхъ героевъ совершается въ общественной обстановкѣ,—какъ понималъ Достоевскій послѣднюю? Бѣлинскій не останавливался на этомъ предметѣ, вѣроятно, полагая, что Достоевскій понималъ предметъ совершенно такъ же, какъ онъ самъ (что, судя по свѣдѣніямъ о дѣлѣ Петрашевскаго, такъ и было). Добролюбовъ поставилъ этотъ вопросъ прямо, и, указавъ (въ приведенныхъ выше словахъ), на какія мысли объ аномаліяхъ человѣческихъ отношеній наводятъ произведенія Достоевскаго, и какіе вопросы естественно и необходимо возникаютъ у читателя, продолжаетъ: „Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у Достоевскаго нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланныхъ художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказамъ нужны дополненія и комментаріи. Но тѣмъ не менѣе, вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самый тонъ каждой повѣсти, мрачный, унылый, болѣзненный,—такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и подымаетъ въ васъ какую-то нервную боль“. Такимъ образомъ, Добролюбовъ и не требовалъ отъ Достоевскаго рѣшенія; для искренняго произведенія, оно и могло оставаться вопросомъ, но у Достоевскаго не доставало, по мнѣнію Добролюбова, той силы творчества, при которой

жизненная правда явленій сама выступала бы изъ фактовъ и отношеній, изображаемыхъ художникомъ. Его произведеніямъ нуженъ былъ комментарій. Это было совершенно справедливо, и для позднѣйшихъ произведеній Достоевскаго комментарій еще нужнѣе. Тамъ въ постановкѣ фактовъ и отношеній былъ уже не одинъ недостатокъ ясности, но и слишкомъ большое вмѣшательство тѣхъ крупныхъ недостатковъ, которые были замѣчены на первыхъ же порахъ Бѣлинскимъ. Въ чемъ же состояла общественная точка зрѣнія писателя, съ какимъ образомъ мыслей приступалъ онъ къ своей работѣ?—Художникъ, даже обладающій той силой творчества, о какой говоритъ Добролюбовъ, не есть отвлеченное существо; онъ самъ живетъ въ средѣ своего общества, подчиняется вліяніямъ его внутреннихъ процессовъ. Въ ходѣ литературы, въ развитіи ея идей и направленій, идетъ логическій процессъ и тянется историческая связь, и въ этомъ смыслѣ Добролюбовъ относилъ Достоевскаго къ писателямъ того направленія, уже ранѣе сказавшагося въ нашей литературѣ, которое онъ назвалъ гуманическимъ. Въ „Бѣдныхъ Людяхъ", по его словамъ, Достоевскій былъ „подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго" (соч. Добр. III, 553),—и, повидимому, также подъ вліяніемъ кружка Петрашевскаго. Но эти первыя вліянія, и особливо „наиболѣе жизненныя идеи Бѣлинскаго", скоро стали терять свою силу. „Униженные и Оскорбленные" были послѣднимъ отголоскомъ этихъ идей. „Записки изъ Мертваго Дома", сильно подѣйствовавшія потрясающимъ характеромъ самой изображенной жизни, внушены были непосредственнымъ чувствомъ, личнымъ опытомъ и наблюденіемъ, которымъ не нужна была бы никакая особая тенденція и теорія, чтобы произведеніе могло оказать свое сильное дѣйствіе. Но позднѣе, въ теоретическихъ понятіяхъ Достоевскаго совершился или ясно обнаружился поворотъ, который можно сравнить съ тѣмъ, какой совершился въ понятіяхъ Гоголя. Будущей литературной біографіи Достоевскаго предстоитъ задача выяснить переходы его мнѣній, отразившіеся и на его поэтической дѣятельности. Мы упоминали, что времени ссылки онъ самъ приписывалъ отрезвляющее и благотворное вліяніе. „Отрезвленіе" могло состоять только въ отверженіи прежнихъ понятій. Какъ далеко оно простиралось? Что изъ старыхъ понятій было бро-

шено; все ли въ нихъ было таково, чтобы надо было бросать ихъ, и не было-ли брошено что-нибудь и такое, что очень слѣдовало сохранить? Старыя понятія Достоевскаго въ литературѣ обозначались идеями Бѣлинскаго и его круга: для нихъ уже настаетъ исторія, и она не считаетъ ихъ лишенными благотворнѣйшаго содержанія, не считаетъ тѣмъ, что обществу нужно было бы отвергать для своего успѣха и благополучія... Какъ бы то ни было, старый складъ мнѣній испарился и смѣнился новымъ: Достоевскій сталъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ „Времени" и „Эпохи", памятныхъ извѣстными гуманными теоріями „почвы", полуславянофильской философіей Аполлона Григорьева, и уже тогда заявленной вражды къ „либерализму". Затѣмъ, послѣ „Преступленія и Наказанія" нѣсколько лѣтъ,—принадлежавшихъ къ самымъ тяжелымъ, какія переживала наша литература,—Достоевскій провелъ за границей, не принимая участія въ публицистикѣ; и когда обратился къ ней вновь, поприщемъ его дѣятельности сталъ слишкомъ извѣстный „Гражданинъ" князя Мещерскаго, гдѣ была выставлена и проводима открыто реакціонная программа,—программа, какъ полагаемъ, самая враждебная драгоцѣннѣйшимъ интересамъ и настоятельнымъ нуждамъ русскаго народа и дѣйствительно въ свое время возбуждавшая отвращеніе даже и не въ особенно „либеральныхъ" кружкахъ печати... Съ 1876 года началось отдѣльное изданіе „Дневника Писателя". Мы не будемъ останавливаться на теоріяхъ Достоевскаго, которыя, съ теченіемъ времени, стали принимать все болѣе самоувѣренное выраженіе и рѣдкій колоритъ, если не большую опредѣленность... Противникамъ точка зрѣнія Достоевскаго казалась мистическою; послѣдователи его очень негодовали на такое опредѣленіе,—но какъ можно иначе назвать теорію, гдѣ главнымъ основаніемъ было чувство, а доказательствомъ—предвѣщаніе? Теорія излагалась лирическими порывами — до конца оставалось неясно, въ чемъ, наконецъ, по идеямъ Достоевскаго, былъ-бы исходъ изъ современнаго общественнаго положенія, которое и ему казалось бѣдственнымъ и по поводу котораго онъ расточалъ столько нападеній на „либерализмъ" — нападеній, давно знакомыхъ нашей жизни и литературѣ и участникомъ въ которыхъ странно было видѣть крупнаго писателя. Повидимому, исходъ онъ находилъ въ томъ, въ чемъ дѣйстви-

тельно либеральная часть общества, ревнивая къ успѣхамъ нашего развитія, видѣла давно знакомые элементы историческаго застоя. На словахъ Достоевскій высказывалъ иногда этотъ исходъ — даже въ болѣе грандіозныхъ формахъ, чѣмъ какія казались возможными для самихъ „либераловъ" (напр., въ церковныхъ неустройствахъ—вселенскій соборъ, въ гражданскихъ — нѣчто подобное); но въ печати не выяснилъ этого предмета, — а предметъ такъ мудренъ и сложенъ, что безъ очень многосторонняго опредѣленія и высказываемый одними мистическими фразами остается кимваломъ бряцающимъ, т. е. суесловіемъ. Дѣятельность Достоевскаго, такимъ образомъ, носила двойственный характеръ, на подобіе того, какъ дѣятельность Гоголя. Онъ не довольствовался быть художникомъ и слѣдовать однимъ внушеніямъ своего дарованія: онъ хотѣлъ быть прямо учителемъ и руководителемъ общества,—на что едва-ли доказалъ свое право".

Изъ „Вѣстника Европы".

* * *

*) Добролюбовъ слишкомъ низко цѣнилъ талантъ Достоевскаго и слишкомъ высоко—„здравость" его направленія. Онъ именно видѣлъ въ немъ „слабое, но здраво направленное художественное чутье". Для своего времени этотъ приговоръ былъ вѣренъ или почти вѣренъ. Но Достоевскій продолжалъ писать и писать. При этомъ общая манера его писанія осталась та же самая: та же безпричинная неровность изложенія; тѣ же нехудожественныя длинноты и урѣзки; та же невѣроподобность дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ, даже самыя глупыя, необыкновенно проницательны, всѣ говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ и притомъ языкомъ автора и проч. Но Достоевскій писалъ въ этомъ родѣ такъ долго и упорно, что наконецъ заставилъ всѣхъ съ нимъ помириться. Всякій, принимаясь за новое произведеніе Достоевскаго, зналъ, что найдетъ тамъ много недодѣланнаго, передѣланнаго и невѣроподобнаго, и заранѣе принималъ это почти какъ должное. Но, оставаясь въ отношеніи, такъ сказать, благоустройства романа самымъ слабымъ изъ нашихъ крупныхъ художниковъ, Достоевскій со временъ Добролюбова значительно выросъ, какъ изобразитель внутренней, душевной драмы. „Преступле-

*) „Отеч. Записки" 1882 г., „Записки Современника". Н. М. (Михайловскій.) Также соч. Михайловскаго, т. 6.

ніе и Наказаніе"—(высшій моментъ развитія творческой силы Достоевскаго), по сложности мотивовъ и тонкости ихъ разработки, неизмѣримо выше всего, что имѣлъ подъ руками Добролюбовъ. Да и въ послѣдующихъ, гораздо уже болѣе слабыхъ вещахъ: въ „Идіотѣ", „Бѣсахъ", „Братьяхъ Карамазовыхъ", есть страницы такого огромнаго достоинства, что о „слабости художественнаго чутья" тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Даже одной „Кроткой" достаточно, чтобы видѣть, что художественное чутье этого человѣка было, напротивъ, очень сильно, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядомъ на десятки, на цѣлыя сотни страницъ, чтобы потомъ вдругъ блеснуть драгоцѣннымъ перломъ и опять исчезнуть. Но Достоевскій никогда не былъ, что называется, „чистымъ" художникомъ; меньше, чѣмъ кого-нибудь, можно его судить судомъ эстетическимъ, это значило бы *оставить его* совсѣмъ безъ оцѣнки. Мыслитель и публицистъ всегда рѣзко высовывались въ немъ изъ-за художника; а въ послѣдніе годы онъ и формально вступилъ на почву публицистики. И здѣсь опять приговоръ Добролюбова, почти вѣрный для своего времени, требуетъ теперь очень существенныхъ поправокъ и дополненій... Съ теченіемъ времени боль объ униженномъ стала осложняться чувствомъ совершенно противоположнымъ, какимъ-то жестокимъ чувствомъ почти радости, что человѣкъ униженъ; а тщательное изысканіе лежащаго на днѣ души чувства собственнаго достоинства и протеста замѣнилось проповѣдью смиренія и вольнаго или невольнаго (каторжнаго) страданія. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на перемѣну, какъ на поворотъ къ лучшему или худшему, но самый фактъ несомнѣненъ. Прежде Достоевскій съ особенною чуткостью ловилъ въ душѣ униженнаго и оскорбленнаго тотъ мотивъ, что и я, дескать, не хуже другихъ! И если этотъ мотивъ, благодаря запуганности и загнанности униженнаго, прорывался нескладно, комически безобразно, то авторъ съ очевидною болью въ сердцѣ отмѣчалъ этотъ желанный, но неумѣлый взрывъ. Впослѣдствіи, напротивъ, онъ сталъ даже съ гораздо большею жадностію искать въ человѣческой душѣ сознанія грѣховности, сознанія своего ничтожества и мерзости и соотвѣтственной жажды искупленія грѣха страданіемъ. Сообразно этому, измѣнилось въ Достоевскомъ и многое другое. Позвольте, для наглядности, такое сравненіе:

Въ первую половину своей дѣятельности Достоевскій производилъ, такъ сказать, душевныя раскопки, какъ ученые производятъ раскопки археологическія. Во второй половинѣ онъ сталъ настоящимъ кладоискателемъ. Онъ именно искалъ душевнаго клада, со всею мистически затѣйливою, не нужною и даже вредною для дѣла, но традиціонно обязательною обстановкою этого занятія: онъ пробирался къ намѣченному мѣсту въ глубокую полночь, напряженно ждалъ, когда зацвѣтетъ на одно мгновеніе чудесный папоротникъ, и съ трепетомъ бормоталъ таинственныя „слова", снимающія положенное на кладъ „заклятіе" и отгоняющія демоновъ, которые охраняютъ кладъ. Онъ уже не просто искалъ, какъ всѣ люди ищутъ, а почти священнодѣйствовалъ, подзадоривая, „взвинчивая" себя самымъ процессомъ священнодѣйствія и его фантастической обстановки. Разумѣется, эта перемѣна не вдругъ совершилась. Задатки ея, повторяю, можно найти и въ первой половинѣ дѣятельности Достоевскаго. Поворотъ происходилъ съ извѣстною постепенностью, выдвигая впередъ то, что было первоначально едва замѣтно, и отодвигая назадъ то, что прежде ярче всего било въ глаза. И вотъ какъ, мнѣ кажется, этотъ поворотъ въ общихъ чертахъ происходилъ. Если есть униженные и оскорбленные, то, значитъ, есть унижающіе и оскорбляющіе. А если есть боль за униженныхъ и оскорбленныхъ, то какъ слѣдуетъ относиться къ унижающимъ и оскорбляющимъ? На этотъ вопросъ разные люди отвѣчаютъ разно, т. е. или прямо словами отвѣчаютъ, или своею дѣятельностью, даже, можетъ быть, не задавая себѣ точно формулированнаго вопроса. Можно, во имя возмездія, потребовать для унижающихъ кары, такого же униженія и оскорбленія, какое, они сами раздаютъ направо и налѣво. Можно обратиться къ нимъ съ проповѣдью добра и правды, развернувъ передъ ними яркую картину причиняемаго ими страданія, пригрозивъ имъ муками ада или укорами совѣсти. Можно, наконецъ, подняться на очень, повидимому, высокую точку любви и всепрощенія и сказать: эти люди творятъ неправду, но они не вѣдаютъ, что творятъ, отпусти имъ, Боже! Какъ ни разнородны эти три рѣшенія, но всѣ они имѣютъ одну общую черту: всѣ они рѣшаютъ вопросъ въ предѣлахъ одинокой (хотя и многократно повторяющейся) личности. Возможность новыхъ и

новыхъ униженій и оскорбленій, униженій и оскорбленій безъ конца—ни мало ими не колеблется даже въ идеѣ, потому что вся операція подобна рубкѣ лѣса, а не уничтоженію корней, вся она состоитъ въ индивидуально-психологическомъ рѣшеніи задачи. Но можно перенести вопросъ и на общественную почву, которая нисколько не препятствуетъ удовлетворенію личныхъ позывовъ къ возмездію и совершенствованію другихъ и себя. Широкая общественная реформа можетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеѣ) вырвать самые корни униженія и оскорбленія, а затѣмъ съ выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, какъ хотите: если въ васъ непреоборимо говоритъ чувство возмездія — карайте; если вы разсчитываете разбудить въ нихъ совѣсть — будите; если вы склонны къ всепрощающей любви—прощайте. Поступая такъ или иначе, вы удовлетворяете законнымъ требованіямъ своего темперамента и своихъ взглядовъ на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ, коль скоро рядомъ съ ней идетъ движеніе общественной реформы. Но этого-то послѣдняго Достоевскій никогда не признавалъ и, кажется, даже просто органически не могъ понимать. Чтобы видѣть, до какого предѣла онъ въ этомъ отрицаніи или непониманіи, наконецъ, дошелъ, достаточно вспомнить августовскій номеръ „Дневника Писателя“ (единственный номеръ за 1880 годъ), въ которомъ онъ прямо говорилъ, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы устроить свои отношенія въ наивысшемъ нравственномъ видѣ, оставаясь помѣщицей и крѣпостными, если бы только проникались идеями христіанской морали. Точно также онъ въ послѣднее время чрезвычайно горячо и язвительно возставалъ противъ новыхъ „учрежденій“, доказывая ихъ тщету и, напротивъ, единоспасающее значеніе личнаго совершенствованія... Ему даже такое соображеніе не приходило въ голову, что если всякія учрежденія безсильны, такъ зачѣмъ же выходить изъ себя, ратуя противъ того или другого изъ нихъ: ну пусть оно явится, это безсильное учрежденіе; если оно въ самомъ дѣлѣ безсильно, такъ тутъ и хлопотать не о чемъ И все-таки Достоевскій хлопоталъ и выходилъ изъ себя, до такой степени ему была ненавистна идея общественной реформы. Онъ до такой степени вѣрилъ въ силу личной нравственной пропо-

вѣди (проще говоря, въ свою собственную силу вѣрилъ), что всякіе иные пути устраненія униженій и оскорбленій казались ему самымъ дерзкимъ возстаніемъ и противъ исторіи, и противъ народныхъ идеаловъ, и противъ Бога. Онъ это не разъ прямо говорилъ. Все это развилось до высшей степени уже подъ конецъ, но, оглядываясь теперь на начало дѣятельности Достоевскаго, можно замѣтить, что и въ этомъ началѣ, при всемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, онъ точно не находитъ унижающихъ и оскорбляющихъ. Это, можетъ быть, свидѣтельствуетъ объ очень тонкомъ пониманіи „проникновенія", какъ любилъ говорить покойникъ, въ самую суть жизни. Дѣйствительно, если общій порядокъ вещей родитъ и заставляетъ трепетать униженныхъ и оскорбленныхъ, такъ что же ужъ тутъ обрушиваться на какого-то глупаго большого чиновника, который даже совсѣмъ нечаянно оскорбилъ глупаго малаго чиновника? Можетъ быть, Достоевскій такъ и понималъ дѣло, рисуя намъ цѣлую портретную галлерею обиженнаго мелкаго люда. Но общій порядокъ вещей былъ для него неприкосновененъ по глубочайшимъ, можетъ быть, интимнѣйшимъ требованіямъ его ума и сердца, и потому онъ съ своей жаждой личной нравственной проповѣди остался, какъ ракъ на мели, если позволена будетъ въ настоящемъ случаѣ столь вульгарная поговорка. Куда ее было дѣвать, эту жажду морализировать, карать, поучать, будить совѣсть, прощать? Пока Достоевскій выбиралъ для своихъ повѣстей и романовъ темы изъ жизни мелкаго чиновника, лишь изрѣдка захватывая другія, болѣе или менѣе родственныя сферы, не могло особенно рѣзко обнаружиться противорѣчіе между уваженіемъ къ общему порядку вещей и признаніемъ его же главнымъ виновникомъ униженій и оскорбленій. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ талантъ Достоевскаго росъ и опредѣлялся, по мѣрѣ того, какъ его творческая сила охватывала и такъ называемые интеллигентные слои общества и народъ — противорѣчіе должно было такъ или иначе разрѣшиться. Надо было, наконецъ, либо рѣшительно обвинить общій порядокъ, либо найти иныхъ виновныхъ, личныхъ, съ которыми и поступить сообразно одному изъ трехъ вышеприведенныхъ рѣшеній. Достоевскій нашелъ виновныхъ... Однако, не вдругъ на нихъ обрушился съ внѣшнею карою, муками ада и ущемленной совѣсти и всепрощающей любовью...

Въ исключительномъ талантѣ Достоевскаго была одна черта, придававшая ему особенную силу, черта, которую я не умѣю иначе назвать, какъ жестокостью таланта. Припомните въ „Идіотѣ“ Настасью Филипповну, эксцентрическій женскій типъ, за который покойникъ не одинъ разъ принимался (онъ и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ повторяется—Грушенька) и который, однако и не дался ему. Эта странная женщина съ лихорадочною горячностью хватается за мысль нѣкоего Фердыщенки, а мысль въ томъ состоитъ, что каждый изъ присутствующихъ (собралось довольно многочисленное общество) долженъ разсказать вслухъ о самомъ себѣ что-нибудь такое, что онъ считаетъ самымъ подлымъ изъ своихъ поступковъ. Почти все общество возстаетъ противъ этой дикой мысли, но Настасья Филипповна настаиваетъ. „Можетъ быть, ей именно нравилась цинничность и жестокость идеи“, замѣчаетъ авторъ, очень склонный идеализировать Настасью Филипповну. Это самое надо и о самомъ Достоевскомъ сказать. Въ его талантѣ была какая-то жестокая, мучительная складка, которая, разумѣется, ему самому дорого стоила, но которая тѣмъ не менѣе побуждала его съ наслажденіемъ растягивать утонченнѣйшія описанія мученій и страданій, растягивать до нехудожественной длинноты и часто совсѣмъ безъ нужды. Мнѣ незачѣмъ напоминать читателю отдѣльныя сцены, потому что, что онъ самъ припомнитъ, будетъ навѣрное въ этомъ родѣ. Только ради ненужности многихъ подобныхъ мучительныхъ и мучительскихъ сценъ, я укажу на моментъ появленія Красоткина у постели умирающаго Илюшечки (въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“). Красоткинъ лицо вводное, притомъ введенное подъ самый конецъ романа и не играющее въ немъ никакой существенной роли. Выкиньте Красоткина совсѣмъ, и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ рѣшительно ничто не измѣнится, хотя можно, пожалуй, механически приставить къ фабулѣ романа даже двухъ Красоткиныхъ. И вотъ авторъ съ любовью и величайшимъ тщаніемъ вырисовываетъ (именно вырисовываетъ, а не просто рисуетъ) поразительную сцену, какъ Красоткинъ мучитъ умирающаго мальчика напоминаніями о его жестокомъ поступкѣ съ собакой Жучкой. Положимъ, что Красоткинъ продѣлываетъ это отчасти даже съ доброю цѣлью, ради болѣе эффектнаго сообщенія Илюшечкѣ, что собака Жучка жива ; онъ и не подозрѣваетъ, что добиваетъ

умирающаго. Но Достоевскій-то это понимаетъ, сцена совершенно невѣроподобна, но все-таки производитъ сильное впечатлѣніе, именно благодаря жестокой тщательности, съ которою ее отдѣлалъ авторъ. За что же онъ мучитъ Илюшечку, когда тотъ и безъ этого эпизода съ собакой все равно скоро умретъ?.. Все влекло Достоевскаго къ апоѳеозу страданія: и уваженіе къ общему порядку, и жажда личной проповѣди, и спеціальная жестокость таланта. Понятно поэтому, съ какою ненавистью долженъ былъ онъ относиться къ тѣмъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. Особенно важно послѣднее, т. е., что другихъ-то хочетъ избавить. Человѣкъ — животное, просто животное, ищущее наслажденій во что бы то ни стало, безъ мысли объ ихъ источникѣ, значеніи и послѣдствіяхъ—не занималъ Достоевскаго. Интересный въ общественномъ смыслѣ, этотъ типъ слишкомъ скуденъ личной психологіей, а въ ней только покойникъ и чувствовалъ себя, какъ въ родной стихіи, въ ней только онъ и былъ охочъ и смѣлъ. За то тѣмъ сильнѣе приглядывался онъ къ такимъ людямъ, которые, нѐ желая сами страдать, не желаютъ, чтобы и другіе страдали или согласны принять крестъ, даже сами идутъ на него, но не ради самодовлѣющаго страданія, а ради именно того, чтобы другіе перестали страдать. Тѣмъ самымъ они переносятъ вопросъ объ униженіяхъ и оскорбленіяхъ на общественную почву, дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ, и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. Онъ съ ними и поступалъ, какъ врагъ, неумолимый, жестокій, мстительный. Онъ ихъ билъ, унижалъ, мучилъ всѣми возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналѣ его богатой своей болѣзненностью и раздражительностью фантазіи. Впрочемъ, всѣ эти разнообразныя казни и пытки можно подвести подъ три главные типа. Въ „Идіотѣ“ нѣкто Евгеній Павловичъ доказываетъ, что кто у насъ нападаетъ „на существующіе порядки вещей“, тотъ нападаетъ „на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, и не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію“. Эпилептическій же князь (въ томъ же „Идіотѣ“), вообще представляющій личные взгляды автора, высказываетъ его излюбленную мысль, что „кто отъ родной земли отказался, тотъ и отъ Бога своего отказался“. Сообразно этому, обык-

новеннѣйшій пріемъ наказанія дерзостныхъ враговъ общаго порядка и лично Достоевскаго состоитъ въ слѣдующемъ. Намѣтивъ подходящую жертву, Достоевскій отнимаетъ у нея Бога, и дѣлаетъ это такъ просто и механически, что точно крышку съ миски снимаетъ. Отыметъ Бога и смотритъ: какъ себя ведетъ въ этомъ положеніи жертва? Само собой разумѣется, что испытуемый немедленно начинаетъ совершать рядъ болѣе или менѣе гнустныхъ преступленій. Но это не бѣда: для преступленій есть искупающее страданіе и затѣмъ всепрощающая любовь. Не для всѣхъ однако, и въ этомъ все дѣло. Если испытуемый, оставшись безъ Бога, начинаетъ корчиться въ судорогахъ ущемленной совѣсти, то Достоевскій поступаетъ съ нимъ сравнительно милостиво: проволочивъ жертву по цѣлому ряду гнусностей, онъ ее отправляетъ на каторгу или къ „монаху-совѣтодателю“ и тамъ ее, самоуниженную и смиренную, осѣняетъ крыломъ всепрощающей любви (Раскольниковъ, Дмитрій Карамазовъ, дерзостный мужикъ Власъ). Если жертва упорствуетъ и до конца чинитъ „бунтъ“, какъ называется одна характерная глава въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, бунтъ противъ Бога, порядка вещей и обязательности страданія (изъ той же главы „Бунтъ“ особенно ясно видно, что бунтъ надо понимать именно въ этихъ трехъ направленіяхъ заразъ), то Достоевскій заставляетъ ее повѣситься, застрѣлиться, утопиться, опять-таки прогнавъ предварительно сквозь строй подлости и преступленій (Свидригайловъ, Ставрогинъ, Кириловъ, Иванъ Карамазовъ, *) Смердяковъ). Наконецъ, если испытуемый, оставшись безъ Бога, даже и не упорствуетъ, а чувствуетъ себя совершенно спокойно, то Достоевскій даруетъ ему жизнь и свободу, но казнитъ его при этомъ самою въ своемъ родѣ лютою казнью: онъ его дѣлаетъ мѣднымъ лбомъ и мерзавцемъ ниже самаго низкаго, какою-то гадиной. Таковы многія дѣйствующія лица „Бѣсовъ“ и таковъ Ракитинъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Въ изображеніи этихъ людей и ихъ судьбы, злонамѣренность Достоевскаго чувствуется особенно сильно, и соотвѣтственныхъ страницъ истинно нельзя читать безъ брезгливости...

*) Какъ извѣстно, съ Иваномъ Карамазовымъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ ничего подобнаго не случилось. Помнится, почтенный критикъ гдѣ-то въ своихъ сочиненіяхъ самъ оговаривается въ невольномъ допущеніи этой незначительной неточности.

Прим. В. Зелинскаго.

О Достоевскомъ часто говорятъ, какъ о народномъ писателѣ или, по крайней мѣрѣ, какъ о такомъ, который глубоко постигалъ самую суть русскаго народа, его душу. Это одна изъ самыхъ странныхъ, по своей неосновательности, репутацій. Изъ всѣхъ блестящихъ представителей сороковыхъ годовъ она наименѣе приличествуетъ именно Достоевскому. Народомъ, какъ матеріаломъ для художественной обработки, онъ никогда не интересовался. Заинтересовался онъ имъ только подъ конецъ, но въ качествѣ публициста и мыслителя, а не художника. „Записки изъ мертваго дома" не въ счетъ. Это крупнѣйшее произведеніе покойника и одно изъ крупнѣйшихъ во всей русской литературѣ стоитъ совсѣмъ особнякомъ... Въ „Запискахъ изъ мертваго дома" нельзя искать настоящихъ народныхъ типовъ уже по самой исключительности сферы наблюденій автора. Очень бы ужъ это странно рекомендовало наши „общіе порядки", если бы въ самомъ дѣлѣ оказалось, что народъ, настоящій народъ, надо у насъ только на каторгѣ изучать. Затѣмъ, что касается глубокаго пониманія народной души, то оно исчерпывается въ Достоевскомъ двумя идеями: 1) народъ вѣритъ въ царя; эта идея не есть спеціальное открытіе Достоевскаго, она давно уже стала даже общимъ мѣстомъ; 2) народъ любитъ и хочетъ страдать; эта идея, дѣйствительно, оригинальная, лично Достоевскому принадлежащая, но понятно, что она получена не путемъ наблюденія и изученія, а непосредственно вытекаетъ изъ духа самого Достоевскаго. Чувство грѣха и соотвѣтственная жажда искупленія, какъ типа, не есть исключительная собственность Достоевскаго, но въ постановкѣ вопроса и его разработкѣ она дѣйствительно оригинальна. Едва ли, однако, къ выгодѣ для дѣла. Однажды Достоевскій въ „Дневникѣ Писателя" указалъ на некрасовскаго „Власа", какъ на вещь сильную и глубоко проникающую въ народную душу. При этомъ онъ попытался и самъ создать своего собственнаго Власа. Сравните эти два образа. Грѣхи некрасовскаго Власа извѣстны: онъ „побоями въ гробъ жену свою вогналъ; промышляющихъ разбоями, конокрадовъ укрывалъ, у всего сосѣдства бѣднаго скупитъ хлѣбъ, а въ черный годъ не повѣритъ гроша мѣднаго, втрое съ нищаго сдеретъ; бралъ съ родного, бралъ съ убогаго." Заболѣлъ Власъ, страшно стало, муки адскія видятся. И разбуженная совѣсть нало-

жила, наконецъ, на него крестъ. Все такое житейское, простое, прямо изъ народной жизни взятое. Къ такой простотѣ и жизненности Достоевскій былъ рѣшительно не способенъ. Разыскивая кладъ грѣховности темною ночью, единственно при свѣтѣ мистическаго расцвѣта папоротника, онъ заставляетъ своего Власа совершить вычурнѣйшее, фантастически затѣйливое преступленіе: Власъ, причащаясь, не проглотилъ причастія, а выплюнулъ въ руку, потомъ положилъ его въ огородѣ на землю и выстрѣлилъ въ него изъ ружья! Мнѣ кажется, что достаточно сопоставить этихъ двухъ Власовъ, чтобы убѣдиться, до какой степени скудно и односторонне было въ Достоевскомъ пониманіе народной души. *Вся* эта душа резюмировалась для него въ чувствѣ грѣха и жажды страданія, чего, конечно, на дѣлѣ нѣтъ; *только* русской душѣ усвоивалъ онъ эту жажду, что, конечно, тоже невѣрно. Затѣмъ грѣхъ онъ отрывалъ отъ его житейской, общественной почвы, отъ всѣхъ этихъ скупокъ хлѣба, дранья съ „родного и убогаго" и проч., и переносилъ въ сферу фантастическую. И никогда не понималъ онъ той глубокой черты не только русскаго, а и всякаго народнаго духа, въ силу которой присутствіе грѣха обязываетъ не только къ пассивному подвигу личнаго страданія, а и къ активному подвигу борьбы со зломъ за то, что оно другихъ заставляетъ страдать. Пусть другіе страдаютъ, пусть всѣ страдаютъ! не мѣшай! самъ смирись и страдай—вотъ все, что ты можешь сдѣлать; такъ говорилъ Достоевскій, повинуясь требованію своего собственнаго духа. Но такъ какъ опираться на свой собственный духъ въ подобномъ дѣлѣ немножко стыдно, то Достоевскій искалъ внѣшнихъ санкцій и, разумѣется, нашелъ: Богъ и русскій народъ—вотъ кто требуетъ страданія! Но, конечно, это не правда: просто Достоевскій требуетъ, и потому объ изученіи, наблюденіи, пониманіи тутъ даже и рѣчи быть не можетъ... Пусть Достоевскій скудно и односторонне понималъ народную душу, но онъ горячо любилъ народъ, желалъ ему добра и видѣлъ въ немъ надежду Россіи. Это правда. И великая честь за это покойнику. Подобно многимъ людямъ сороковыхъ годовъ, Достоевскій понималъ, что идетъ какая то еще неясная, но навѣрное грозная и грязная сила, одинаково враждебная и общимъ идеаламъ сороковыхъ годовъ и мужику. Понималъ это и Писемскій, и

выражалъ (въ „Ваалѣ“, „Просвѣщенномъ времени“, „Мѣщанахъ“), съ свойственною ему грубою, сухою и узкою опредѣлительностью. Понималъ и Достоевскій, но до конца дней своихъ не могъ установиться на рѣшеніи, откуда собственно гроза надвигается“?

Н. Михайловскій.

* * *

Слѣдующія двѣ критическія статьи (одна взята изъ журнала „Русское Богатство“, а другая изъ „Мысли“), разбирающія творчество и общественные идеалы Достоевскаго съ иной точки зрѣнія, представляютъ противовѣсъ взглядамъ на Достоевскаго, выраженнымъ предыдущими критиками, особенно г. Михайловскимъ. Первая изъ этихъ статей разбираетъ Достоевскаго съ тѣхъ-же самыхъ сторонъ, что и г. Михайловскій въ своей критикѣ до того пункта, откуда онъ начинаетъ оцѣнку литературной дѣятельности Достоевскаго, какъ народнаго писателя; вторая же критическая статья Л. О. (если не ошибаемся, г. Оболенскаго) по преимуществу опредѣляетъ намъ міровоззрѣніе Достоевскаго, какъ народника.

Разсуждая о формахъ художественнаго вліянія на прогрессъ, въ какихъ проявляли себя музы Тургенева и Достоевскаго, критикъ „Русскаго Богатства“ говоритъ:

*) „Нечего и говорить, что ни тотъ ни другой никогда не пытались, какъ и всѣ большіе художники,—рисовать намъ въ формѣ беллетристики своихъ идеаловъ общественныхъ формъ, т. е. не пытались написать чего-либо въ родѣ „Утопіи“ Томаса Мора, или „Солнечнаго Государства“ Кампанеллы, или „Икаріи“ Кабе, или даже „Что дѣлать“. Но это было бы, впрочемъ, для Тургенева даже довольно трудно, въ виду того, что его идеалы въ политикѣ не шли далѣе англійскаго строя,—что же касается области экономической, то онъ былъ строгимъ консерваторомъ. Что касается Достоевскаго, то, какъ очевидно изъ его „Дневника Писателя“, а также изъ рѣчей въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, у него былъ довольно опредѣленный соціально-религіозный идеалъ, основанный органически на томъ душевномъ свойствѣ людей, которое онъ, какъ художникъ, стремился открыть въ нихъ

*) Созерцатель (Л. Е. Оболенскій). „Муза Достоевскаго и муза Тургенева“. „Русское Богатство“ 1884 г., №, 9.

и о которомъ мы будемъ говорить далѣе. Онъ вѣрилъ, что благодаря этому свойству, если не всѣ люди, то по крайней мѣрѣ, русскіе люди, съ своими особыми общинными инстинктами и съ высоко развитой *способностью чувствовать чужія чувствованія* (любить ближняго), могутъ и должны образовать современемъ общества съ принципами діаметрально-противоположными западнымъ, т. е. общества, основанныя не на внѣшнемъ договорномъ или иномъ принужденіи, а на свободной любви, иными словами осуществить идеалъ Евангелія, который онъ назвалъ въ одномъ изъ послѣднихъ №№ „Дневника Писателя" православнымъ соціализмомъ. Особенности и различія отъ другихъ соціальныхъ ученій этого православнаго соціализма мы подробно объясняли въ нашихъ статьяхъ о Достоевскомъ („Мысль" 1881 г.) **).

Теперь же скажемъ въ двухъ словахъ, что Достоевскій вѣрилъ въ идеалъ такого общества, гдѣ религіозная экстатическая любовь людей другъ къ другу могла бы замѣнить всѣ стимулы внѣшняго принужденія и *формальныя* обязанности, т. е. гдѣ человѣкъ былъ бы абсолютно свободенъ, потому что его воля сковывалась бы только собственнымъ внутреннимъ стимуломъ любви и альтрюизма, стоящимъ въ связи съ идеей Бога-любви, или Христа, воплощающагося въ этой любви, а черезъ нея и въ цѣломъ обществѣ. Попытки изобразить въ миніатюрѣ психологическій строй такого общества мы видимъ на отношеніяхъ старца Зосимы къ Алешѣ и другимъ его свободнымъ убѣжденнымъ послѣдователямъ. Трудно себѣ и вообразить идеалъ болѣе высокій *теоретически*, но практическое вліяніе его на прогрессъ русскій едва ли можетъ быть признано: во-первыхъ, онъ былъ изложенъ черезчуръ не ясно, черезчуръ мимоходомъ и отрывочно, и притомъ

**) Достоевскій самъ прекрасно объясняетъ эту разницу въ письмѣ къ г. Ковнеру, совершившему какое-то преступленіе и писавшему Ѳеодору Михайловичу, что онъ не чувствуетъ отъ этого раскаянія. Ѳеодоръ Михайловичъ ему отвѣчаетъ: „Есть нѣчто высшее доводовъ разсудка и всевозможныхъ подошедшихъ обстоятельствъ, чему всякій обязанъ подчиниться. Если я васъ оправдаю по своему *въ сердцѣ своемъ* (какъ приглашу и васъ оправдать меня), то все же лучше, если „я" васъ оправдаю, чѣмъ *вы сами себя оправдаете*. Кажется, это не ясно. N. B. Приведу маленькую параллель: христіанинъ, т. е. *полный, высшій, идеальный*, говоритъ: „Я долженъ раздѣлить съ меньшимъ братомъ мое имущество и служить имъ всѣмъ". А коммунаръ говоритъ: „Да, *ты долженъ* раздѣлить *со мною*, меньшимъ нищимъ, твое имущество и долженъ мнѣ служить". Христіанинъ будетъ правъ, а коммунаръ не правъ.

(„Біографія, письма" и. т. д.).

экзотерически; во 2-хъ, такіе отдаленные идеалы могутъ лишь не многимъ освѣщать путь; для массы всегда требуется что-нибудь болѣе близкое, конкретное. Кромѣ того, особыя условія нашей жизни породили въ обществѣ весьма несимпатичное отношеніе ко всему, что имѣло какую-либо связь съ проповѣдью любви, а тѣмъ болѣе христіанской любви; большинство подъ вліяніемъ раздражительнаго настроенія, обусловленнаго временными и исключительными причинами, видѣло источникъ прогресса въ эгоистической, утилитарной морали, въ борьбѣ и враждѣ. Это возбуждало и предубѣждало противъ Достоевскаго. По тѣмъ же причинамъ не важную службу прогрессу могли оказать и положительные или quasi—положительные типы, которые пытался дать Достоевскій въ лицѣ Алеши и Зосимы, какъ представителей той-же идеальной любви къ людямъ. Достоевскій говорилъ, что въ будущемъ готовится помѣстить своего Алешу въ условія дѣйствительной жизни. Что бы вышло изъ этого, мы не знаемъ, но, однако, можно полагать, что ему, какъ и всякому большому *художнику*, болѣе удались бы типы живые, практически работающіе для жизни, съ нѣкоторой идеализаціей въ духѣ его идей, и они могли бы принести большую пользу, чѣмъ черезчуръ трудный практически типъ Алеши или Зосимы"...

Далѣе критикъ обрисовавъ, на основаніи біографическихъ данныхъ, портретъ Тургенева, сопоставляетъ ему портретъ Достоевскаго. „Передъ нами", говоритъ онъ, „другая фигура—нервная, раздражительная, кажущаяся маленькой, сутуловатой, болѣзненной передъ этимъ свѣжимъ и могучимъ на видъ гигантомъ, который сохранилъ тотъ же мощный видъ и тогда, когда его борода и голова были бѣлѣе снѣговъ его родины. Первый всю жизнь какъ будто и не зналъ, что такое насильственный трудъ, а тѣмъ болѣе физическое страданіе, исключая послѣднихъ дней своей жизни; второй былъ воплощенное страданіе, измученный непосильнымъ трудомъ, истерзанный припадками эпилепсіи и годами каторги; съ впалыми щеками и выдающимся лбомъ, съ глазами то безпокойно и подозрительно бѣгающими, то уходящими внутрь себя, быть можетъ, въ свои ужасныя воспоминанія, отъ которыхъ даже вчужѣ кровь леденѣетъ въ жилахъ, — этотъ больной человѣкъ, въ которомъ вы, конечно, узнали Достоевскаго, представлялъ діаметральную противоположность Тур-

геневу, не только по внѣшнимъ условіямъ жизни, но и по характеру своей музы, своего внутренняго настроенія; не даромъ же они были врагами.

Поищемъ же теперь отличительныхъ чертъ этой другой страдальческой музы. Прежде всего здѣсь бросается въ глаза, въ противоположность тургеневскому изяществу образовъ, языка и картинъ,—тяжелая, почти отвратительная внѣшняя непривлекательность образовъ Достоевскаго и ихъ обстановки, душной, смрадной, одичалой, угарной. Но это только внѣшняя сторона. Что касается внутренней или субъективной, то мы сразу наталкиваемся на черту, которая на первый взглядъ кажется сходной съ тургеневской: у Достоевскаго, какъ и у Тургенева, основной мотивъ его музы—это мгновенія экстаза и энтузіазма, т. е. высокое настроеніе восторга, выходящаго изъ обыденныхъ рамокъ и заражающее читателя. Но при ближайшемъ анализѣ этотъ экстазъ героевъ Достоевскаго не имѣетъ ничего общаго съ тургеневскимъ: онъ, во-первыхъ, не говоритъ ни о какомъ „dahin“, не зоветъ никуда отъ этой сѣрой будничной жизни и отъ будничныхъ типовъ въ невѣдомую даль, онъ, наоборотъ, говоритъ о чудной способности этихъ самыхъ сѣренькихъ типовъ, даже наиболѣе несчастныхъ, забитыхъ и падшихъ, испытывать высочайшія настроенія любви (но не тургеневской, а совсѣмъ особой), чувства человѣческаго достоинства, чести, самопожертвованія и высокаго мужества. У Достоевскаго эти моменты экстаза возбуждаются не музыкой, не половою любовью, и выражаются не въ звукахъ или гармоническихъ словахъ, и не ограничиваются внутреннимъ созерцаніемъ, далѣе котораго не идетъ экстазъ тургеневскихъ героевъ. Экстазъ Достоевскаго есть пробужденіе въ душахъ, наиболѣе забитыхъ и погибшихъ, уцѣлѣвшей въ нихъ искры человѣчности, подавленной, поруганной, затоптанной въ грязь, и это пробужденіе совершается при извѣстномъ стеченіи внѣшнихъ или внутреннихъ условій сразу, вдругъ, являясь міру въ видѣ душевнаго порыва и поразительнаго подвига, точно бы душевная энергія, достигшая, какъ паръ въ замкнутомъ пространствѣ, наибольшаго своего сжатія, — вдругъ взорвала съ потрясающей мощью всѣ сдерживающія ее препоны и явилась во всемъ своемъ величіи, во всей красотѣ. Послѣ этого взрыва и у Достоевскаго, какъ и Тургенева, наступаетъ житейская будничная проза, но, однако остается

не *тоска* о какомъ то dahin, лежащемъ *невѣдомо гдѣ*, за предѣлами дѣйствительности, остается не пессимизмъ, не невѣріе въ возможность чего-либо идеально-лучшаго, иначе какъ на мгновеніе. Нѣтъ, послѣ душевнаго взрыва у жалкихъ, уродливыхъ героевъ Достоевскаго остается на долго восторженно-радостное воспоминаніе, какъ, напримѣръ, у Дмитрія Карамазова, полное удивленія и какого-то благоговѣнія къ своему собственному бывшему настроенію и къ душевнымъ скрытымъ силамъ человѣка, даже самаго ничтожнаго и преступнаго. То же впечатлѣніе остается и въ читателяхъ и въ зрителяхъ. Благодаря этимъ мгновеннымъ проявленіямъ внутренней силы и даже въ самыхъ отребьяхъ человѣчества, у читателя является вѣра въ возможность великаго грядущаго счастья среди человѣчества, зарождается страстное желаніе жить и работать для этой самой будничной, сѣренькой среды, для этихъ самыхъ отребій человѣчества, въ которыхъ подъ гноемъ, струпьями и ранами, причиненными невыносимыми условіями жизни, тлѣетъ искра Божія, великое зерно высшей душевной и сердечной красоты, которая ждетъ только своего освобожденія, ждетъ лишь благопріятныхъ условій, живого слова, живого тепла и свѣта, чтобы вспыхнуть зарей человѣческаго высшаго блаженства, блаженства любви, альтрюизма, братства.

Но какъ-же такъ? спросятъ насъ: вѣдь тургеневская муза уже показала, что счастье на землѣ мимолетно, что любовь, молодость, красота суть лишь мгновенные цвѣтки, также быстро увядающіе, какъ быстро они расцвѣли, и даже сама жизнь есть только птичка, влетѣвшая на мгновеніе въ освѣщенный покой? Въ томъ-то и дѣло, что любовь, красота, вдохновеніе и молодость у героевъ Достоевскаго совсѣмъ не тѣ, что у героевъ Тургенева; эта любовь, эта красота не мимолетны, а такъ же вѣчны, какъ вѣчно человѣчество; они никогда не умираютъ, ибо оставляютъ свой слѣдъ и отпечатокъ въ жизни, который растетъ и развивается въ человѣчествѣ, пока оно живо. Возьмемъ два-три примѣра, чтобы не потеряться въ деталяхъ.

Вы помните, когда въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Екатерина Ивановна, чтобы спасти отъ позора старика-отца, у котораго при сдачѣ кассы не оказалось нѣсколькихъ тысячъ, является по приглашенію Дмитрія Карамазова на его холостую квартиру, чтобы получить эти деньги цѣною собственнаго позора.

Вы помните, какъ этотъ развратный, наслѣдственно-испорченный человѣкъ, вдругъ, потрясенный чѣмъ-то въ ея лицѣ и фигурѣ, быть можетъ, величиной ея страданія и презрѣнія къ нему, быть можетъ, необъятностью ея жертвы, чувствуетъ въ себѣ неожиданно что-то небывалое, почти невѣроятное для самого себя: въ немъ куда-то исчезаетъ развратникъ и всплываетъ жажда подвига, жажда добраго дѣла. Послѣднія свои деньги, крайне необходимыя на другое, онъ молча отдаетъ ей съ низкимъ поклономъ. Дѣвушка также молча, вся блѣдная и дрожащая, едва вѣря себѣ и ему, поклонилась ему въ ноги и вышла, а онъ, когда она вышла, едва устоялъ на ногахъ, прислонился лбомъ къ холодному стеклу, затѣмъ вынулъ шпагу и хотѣлъ убить себя, чтобы умереть съ этимъ чувствомъ, съ этимъ восторгомъ, который носилъ въ себѣ,— но не убилъ, а только поцѣловалъ эту шпагу.

Что такое произошло? Человѣкъ проснулся въ оскотинившемся подобіи человѣка. Проснулась человѣческая способность понимать и чувствовать чужое горе, чужое страданіе, какъ свое. Отчего проснулась эта способность? Быть можетъ, оттого, что ему впервые пришлось увидать горе такой величины, такой интенсивности, что оно дошло, наконецъ, до сердца, тронуло тамъ давно заснувшую струну, и одно колебаніе этой струны освободило цѣлую массу альтрюистической энергіи, долгое время сдавленной гнетомъ безпощадной, растлѣвающей жизни, съ ея дикимъ воспитаніемъ, предразсудками среды, наслѣдственнымъ растлѣніемъ и искусственнымъ развитіемъ волчьей животности. Повидимому, чѣмъ больше была сдавлена эта врожденная человѣчность, тѣмъ могучѣе ея порывы. Но это не значитъ, что такіе взрывы бываютъ только тамъ, гдѣ жизнь обставлена такъ безобразно и ужасно, какъ она была обставлена у Дмитрія Карамазова. Нѣтъ, Достоевскій только предпочитаетъ рисовать ихъ у наиболѣе забитыхъ и порочныхъ, чтобы этимъ дать большую вѣру въ человѣчество, въ возможность его совершенства и воскрешенія къ лучшей жизни. Но у него-же мы видимъ Алексѣя Карамазова, мы видимъ Колю Красоткина, которыхъ жизнь не давила, не ломала, да и не могла еще ломать, ибо они юноши и почти еще не жили личною жизнію: у нихъ та же любовь къ человѣку-брату, тотъ же альтрюизмъ живутъ, какъ постоянная дѣятельная сила, работающая безостановочно и безъ взры-

вовъ, какъ работаетъ она у насъ на глазахъ ежедневно въ сотняхъ и тысячахъ юношей и дѣвушекъ, идущихъ на суровый трудъ для родной страны и для ближнихъ въ убогихъ, промерзлыхъ сельскихъ школахъ, въ баракахъ и госпиталяхъ, на поляхъ сраженій, въ глухихъ деревушкахъ, въ качествѣ врачей, фельдшерицъ, учительницъ и учителей, труженицъ и тружениковъ великаго дѣла облегченія страданій и прояснения тьмы, среди родного народа. Подвиги эти не видные, не громкіе, безъ треска и декорацій, стало быть, что-же въ нихъ является стимуломъ, какая постоянная живая сила поддерживаетъ этихъ людей въ борьбѣ съ холодомъ, голодомъ, тьмою и невѣжествомъ окружающихъ, съ оскорбленіями и насмѣшками тупоумія и рутины, съ враждой и похвалами обскурантовъ и ловкихъ людей? Эта сила есть та же самая, которая производитъ и мгновенный взрывъ, видѣнный нами у Дмитрія Карамазова; но эта сила дѣйствуетъ не порывами тамъ, гдѣ ей данъ просторъ дѣйствовать, т. е. постоянное полезное примѣненіе. Неполезнаго примѣненія эта сила не терпитъ, ибо она—сознательно разумная, нравственная сила. Тамъ, гдѣ она сознаетъ пользу для людей своего примѣненія, она растетъ постоянно на благо людей, какъ паръ въ локомотивѣ, какъ вода на мирной деревенской мельницѣ, какъ любовь матери у постели больного ребенка.

Но мы впали бы въ ошибку, если бы предположили, что одна лишь братская любовь является элементомъ энтузіазма у музы Достоевскаго, что она вдохновляется лишь односторонним чувствомъ человѣчности, состоящимъ въ пониманіи чужого страданія, какъ своего. Нѣтъ, это только одинъ элементъ энтузіазма. Другой, излюбленный также Достоевскимъ, состоитъ въ проснувшемся, долго задавленномъ великомъ чувствѣ *человѣческаго достоинства*. Вспомните сцену съ Макаромъ Алексѣевичемъ Дѣвушкинымъ у генерала и его послѣдующія разсужденія, „что не стоило уже очень-то принижать себя передъ всѣмъ этимъ блескомъ“; вспомните еще болѣе яркую сцену, когда Алеша Карамазовъ приноситъ нѣсколько сторублевыхъ бумажекъ несчастному, полунищему капитану, котораго Дмитрій Карамазовъ вывелъ за бороду изъ трактира и, такимъ образомъ, провелъ по городу. — Вспомните, что у этого несчастнаго, забитаго, приниженнаго капитана, на рукахъ цѣлая громадная голодная семья, съ

сумасшедшей матерью, съ больнымъ нервнымъ, крайне чуткимъ сыномъ Илюшечкой, даже заболѣвшимъ отъ того, что онъ видѣлъ оскорбленіе отца, — съ дочерью-курсисткой, которая не могла уѣхать на курсы, потому что отдала семьѣ деньги, заработанныя на дорогу; вспомните, когда этотъ несчастный вдругъ съ гордостью, ему несвойственной, хотя съ лицомъ искаженнымъ и жалостью и какимъ-то испугомъ передъ своимъ собственнымъ подвигомъ, бросаетъ эти сотни рублей къ ногамъ Алеши Карамазова, потому что онъ—братъ оскорбителя, потому что капитанъ не можетъ продать своей обиды за деньги. Откуда такой порывъ? Какъ онъ могъ явиться въ этой давно забитой, давно приниженной душѣ? Много психическихъ причинъ тонко намѣчено тутъ Достоевскимъ: одна изъ главныхъ причинъ, этотъ самый сынишка Илюшечка, безумно любящій своего несчастнаго отца и страстно имъ любимый, этотъ Илюшечка, который видѣлъ позоръ своего отца и возмутился имъ больше самого обиженнаго. Съ этой поры ребенокъ сталъ мстителемъ за отца, подвергаясь страшнымъ побоямъ товарищей по школѣ; онъ нервный, больной, слабый мститъ имъ и зубами, и когтями, и ударами перочиннаго ножа за каждое шутливое напоминаніе о сценѣ съ отцомъ, котораго школьники за его вырванную бороду прозвали „мочалкой“. Этого-то Илюшу должны не пускать въ школу, чтобы его не убили товарищи, такъ онъ озлобился на нихъ и озлобилъ ихъ противъ себя. И вотъ, онъ уходитъ гулять съ своимъ отцомъ далеко въ поле, чтобы никто ихъ не видѣлъ, никто изъ знающихъ объ ихъ позорѣ. Здѣсь-то ребенокъ и его отецъ изливаютъ другъ передъ другомъ свою накопившуюся муку; несчастный ребенокъ цѣлуетъ отца, плачетъ надъ нимъ, думая, что оскорбленіе такъ же чувствительно отцу, какъ и ему и его дѣтскому свѣжему сердцу. Онъ говоритъ ему о томъ, какъ бы хорошо было купить лошадь и телѣжку, уложить на нее всѣ пожитки, усадить мать и сестеръ и уѣхать далеко-далеко, гдѣ люди не такіе злые, и гдѣ бы никто не зналъ объ ихъ позорѣ и никто бы надъ ними не смѣялся, и зажили бы они новой, хорошей честной жизнію, и всѣ бы ихъ уважали, всѣ бы любили Этотъ ребенокъ, можно сказать, заразилъ и своего забитаго отца этимъ чувствомъ человѣческаго достоинства; страстное возбужденіе въ немъ этого чувства за оскорбленнаго отца,

вызванное дѣтскою любовью, пробудило и въ несчастномъ капитанѣ нѣчто давно уснувшее и забитое. Но не одинъ Илюша былъ такимъ невольнымъ возбудителемъ: дочь-курсистка, раздраженная и озлобленная нуждою, невозможностью уѣхать на курсы, потому что отдала свои деньги семьѣ, эта дочь на каждомъ шагу колетъ отца его приниженностью, его кривляньями, его жалкимъ, униженнымъ рабскимъ языкомъ. Она горда и раздражена, и потому можетъ только колоть и язвить, хотя въ глубинѣ и подъ этой озлобленностью кроется подавленная любовь къ несчастному отцу. И вотъ эти дѣти, это новое поколѣніе, они-то и явились стимуломъ, пробудившимъ въ забитомъ *отцѣ* чувство достоинства *человѣка*. Вліяніе ихъ ясно выражено Достоевскимъ. Когда, напримѣръ, капитанъ бросилъ деньги и побѣжалъ, точно боясь, что не совладаетъ съ собою и вернется, и возьметъ деньги, хотя бы для того, чтобы осуществить мечту Илюшечки — уѣхать изъ упомянутаго для нихъ городка,—или для того, чтобы отдать дочери-курсисткѣ ея деньги, собранныя тяжкимъ трудомъ на дорогу, — когда онъ бѣжитъ и уже отбѣжавъ далеко, онъ вдругъ обернулся и съ лицомъ блѣднымъ, искаженнымъ, точно извиняясь передъ Алешей Карамазовымъ, прокричалъ:—„А что скажетъ Илюшечка?"—Тутъ ясно, что въ капитанѣ его крайнее возбужденіе поддерживается, главнымъ образомъ, мыслью: „Не подумалъ бы, де, Илюшечка, что я взялъ деньги за мое оскорбленіе, что я продалъ мою честь!"

Но есть и еще мотивы, пробуждающіе у героевъ Достоевскаго высокое настроеніе человѣчности. Припомните, напримѣръ, въ тѣхъ же „Братьяхъ Карамазовыхъ", побочнаго сына Карамазова, Смердякова, который убилъ своего отца, думая что этимъ онъ пріобрѣтетъ великую дружбу и уваженіе своего брата Ивана, передъ которымъ онъ благоговѣетъ за его идеи, умъ, образованіе. Этотъ несчастный Смердяковъ набрелъ на мысль объ убійствѣ отца, какъ о подвигѣ для того же Ивана, основываясь на общихъ отрицательныхъ и философскихъ рѣчахъ Ивана, который, очевидно, не придавалъ своимъ словамъ никакого практическаго значенія и не думалъ, что они, падая въ узкую фанатически-преданную душу его побочнаго брата, перейдутъ прямо въ дѣйствіе, въ практическое осуществленіе. И вотъ, когда несчастный убійца воображаетъ, что тутъ-то ему и раскроются объятія этого, но

его мнѣнію, генія, но когда видитъ только презрѣніе, угрозы,—онъ страшно потрясенъ и разочарованъ этой непослѣдовательностью, этой неожиданной, какъ ему кажется, слабостью своего кумира. Когда Иванъ, достаточно изливъ свое негодованіе, наконецъ уходитъ,—несчастный фанатикъ, полу-идіотъ вѣшается на первомъ гвоздѣ, и вы начинаете понимать, какія могутъ быть высокія минуты самоотверженія, даже въ этой изуродованной, искалѣченной душѣ! Вамъ вдругъ становится понятнымъ цѣлый типъ, цѣлая полоса такой же искалѣченной, уродливой преданности и способности жертвовать собой и, къ прежнему негодованію, въ васъ зарождается еще чувство безконечной жалости къ несчастному типу, обязанному своимъ уродствомъ своей умственной придавленности и мраку, своей обстановкѣ, не давшей никакихъ моральныхъ основъ, привычекъ, идей,—и вамъ страстно хочется не только карать, но и внести лучъ свѣта въ души этихъ нравственныхъ и умственныхъ калѣкъ, ибо вы видите, что и подъ ихъ искалѣченностью кроются глубоко искры человѣческихъ стремленій, но только взрываютъ они нелѣпо, пагубно, братоубійственно, потому что помѣщены въ лабиринты изуродованнаго сознанія.

Можно пересмотрѣть всѣ произведенія Достоевскаго, начиная съ „Бѣдныхъ Людей“ или даже „Ползункова“, переходя черезъ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, „Бѣсовъ“, „Записки изъ Подполья“, „Записки изъ Мертваго Дома“ и кончая „Дневникомъ Писателя“, гдѣ вы, вѣроятно, помните того крестьянина, къ которому въ полѣ бросается его крѣпостной барчукъ, испугавшійся волка, — крестьянина, который какъ мать, нѣжно, любовно успокоиваетъ ребенка, ни на минуту не вспомнивъ, что это—дитя его мучителей,—вездѣ и всюду вы найдете тотъ же основной мотивъ музы Достоевскаго, состоящій въ пробужденіи человѣчности.

Но Достоевскій не только *рисовалъ* эти моменты пробужденія, т. е. онъ не только пробуждалъ въ читателѣ *вѣру* въ способность человѣка къ человѣчности: это было бы только половиною его музы. Нѣтъ, онъ заставлялъ читателя самого переживать это пробужденіе человѣка, т. е. заставлялъ его самого страдать за другихъ, любить ихъ, плакать за человѣка и томиться за чужое человѣческое достоинство. Читатель являлся, такимъ образомъ, не простымъ *созерцателемъ*

чужого пробужденія, но пробуждался и самъ, томясь и страдая вмѣстѣ съ униженными и оскорбленными, т. е. открывая непосредственно и въ *себѣ самомъ* ту способность къ человѣческому порыву, которую рисовалъ ему Достоевскій въ другихъ. Говоря еще яснѣе, Достоевскій не только рисовалъ пробужденную человѣчность, но и поселялъ вѣру въ нее; что же было бы въ этой вѣрѣ, если бы мы вѣрили ему только на слово: „что вотъ, молъ, это бываетъ!“ нѣтъ, онъ тутъ же и *убѣждалъ* насъ безповоротно, нашимъ же собственнымъ внутреннимъ самоопытомъ, что такое пробужденіе есть дѣйствительный *фактъ,* чувствуемый нами въ *насъ самихъ,* а вовсе не фантазія или капризъ его музы. Мы дѣйствительно плакали и изнывали отъ сострадания и жалости надъ страданіями его героевъ, надъ ихъ пробужденіемъ, и это уже не вѣра только, это *факты.* Такимъ образомъ, онъ намъ самимъ открывалъ невѣдомыя намъ сокровища нашего собственнаго внутренняго міра, заставлялъ осязать ихъ съ тѣмъ, чтобы уже никогда не забыть. И вотъ это-то было еще на дняхъ, въ одной изъ газетъ, со словъ другого критика, — названо „жестокостью“ его таланта! Жестокостью въ газетѣ, очевидно, названо то, что онъ зналъ,—на *собственномъ каторжномъ тѣлѣ* зналъ, какъ способенъ мучить человѣкъ человѣка, — какъ трудно расплавить жестокую кору его сердца, чтобы проснулась эта великая, присущая ему искра человѣчности, что онъ считалъ немыслимымъ расплавить эту кору легкими пріемами сострадания и жалости. И вотъ этотъ человѣкъ, который тѣмъ болѣе сострадалъ людямъ, чѣмъ болѣе онъ перестрадалъ самъ, — обвиняется въ жестокости, за то, что вкладывая въ свой трудъ всю свою измученную душу, переживая самъ вновь чужія муки, чтобы дать ихъ глубже и сильнѣе прочувствовать другимъ, забывая себя, свой надорванный болѣзнью организмъ, который почти послѣ всякихъ такихъ строкъ падалъ пораженный ужаснымъ припадкомъ,— этотъ человѣкъ, писавшій сокомъ своихъ нервовъ и кровью сердца, дѣйствительно и буквально приносившій въ этихъ строкахъ въ жертву людямъ свою жизнь, свою кровь, свое послѣднее дыханіе, лишь бы убѣдить людей, что они люди, что они способны къ человѣчности, и что въ этой человѣчности дѣйствительно лежитъ счастье, высшее самой жизни,— этотъ-то человѣкъ былъ „жестокій талантъ!“

Нужно ли прибавлять что-либо къ тому, что сказано нами объ этой чертѣ Достоевскаго? Неужели нужно? Неужели приходится и намъ думать, какъ думалъ Достоевскій, что не легко расплавить ледяную кору, наросшую на людскихъ сердцахъ, не легко открыть ихъ собственные попорченные глаза, на ихъ же собственныя душевныя сокровища. Нѣтъ, не легко; тяжелый личный опытъ и насъ убѣдилъ въ этомъ, и потому, какъ мы не боимся растянутости, разовьемъ нашу мысль еще болѣе подробно и наглядно. Повторяемъ еще разъ, что Достоевскій любилъ людей и сострадалъ имъ не *идейно* только, а дѣйствительно всей плотью и кровью своей, ибо самъ зналъ, что такое страданія. Припомните только, что въ Сибири онъ перенесъ даже тѣлесное наказаніе. Состраданіе такого человѣка уже не идейное состраданіе только, а страшная ужасающая ассоціація собственныхъ прошлыхъ чувствъ, собственнаго прошлаго ужаса, съ чужимъ созерцаемымъ страданіемъ. Такому человѣку должно казаться, что у него нѣтъ достаточныхъ словъ, достаточныхъ красокъ, чтобы передать людямъ тѣ страданія, какія ими причиняются своимъ братьямъ людямъ. И если при этомъ человѣкъ вѣритъ въ существованіе у каждаго искры Божіей, если при этомъ онъ знаетъ, какъ трудно разбудить эту искру, и какимъ чуднымъ пламенемъ загорается она, если сумѣешь ее раздуть, то ясно, что такой человѣкъ не будетъ ограничиваться легкими картинками чужихъ страданій. Посмотрите, какое ужасное страданіе долженъ былъ увидѣть Дмитрій Карамазовъ, чтобы проснулся въ немъ человѣкъ. Ну, а Достоевскій зналъ, что и страданія въ тысячу разъ болѣе ужасныя, могли не пробуждать въ человѣкѣ человѣка, а между тѣмъ онъ зналъ не менѣе того, что каждый человѣкъ все же человѣкъ, что тотъже самый его истязатель, придя домой, могъ ласкать своихъ дѣтей, горевать ихъ горемъ, что даже разбойникъ-звѣрь, заключенный съ нимъ въ каторгѣ, унывалъ и плакалъ при воспоминаніи о далекой деревнѣ, о родныхъ въ великій праздникъ и проч. и проч. Что даже отцеубійца Смердяковъ и тотъ въ глубинѣ сердца человѣкъ. Стало быть, что-же ему оставалось дѣлать? Что? Оставалось одно: глаголомъ жечь сердца людей, чтобы испепелить въ нихъ все наносное, звѣрское, безчеловѣчное и пробудить великую искру Божію. И это не все. Развѣ можно назвать жестокимъ, если чело-

вѣкъ заставляетъ насъ пережить то страданіе, которое называется *состраданіемъ?* Да кто-же не знаетъ, что состраданіе есть величайшее блаженство. Что-же гонитъ эти толпы людей въ театръ смотрѣть великаго трагика? Что какъ не желаніе пережить нѣсколько мгновеній потрясающихъ слезъ и рыданій за другого? Что заставляетъ покупать и перечитывать сочиненія самого Достоевскаго? Развѣ кто-нибудь добровольно пойдетъ на пытку или позволитъ себя высѣчь? Вотъ въ томъ-то и дѣло, что мука состраданія есть величайшее блаженство, какъ и любовь къ человѣку, это родная сестра состраданія. Научить людей любить и сострадать, научить ихъ вѣрить въ себя самихъ и человѣчество, заставить ихъ пережить минуты душевной боли за другого, это не значитъ мучить ихъ, это значитъ открыть и дать имъ величайшее блаженство въ жизни, надѣлить ихъ безмѣрнымъ сокровищемъ, и этого мало: это значитъ дать не только личное блаженство, но и источникъ общественнаго блага, т. е. новый, могучій стимулъ для дѣятельности на благо другихъ, а стало быть, и для общественнаго развитія: такова жестокость Достоевскаго! Въ ней то и значеніе его для русскаго развитія. Но съ другой стороны, значеніе и великое значеніе Тургенева въ томъ, что его пессимизмъ переводилъ въ сознательную форму безсознательный пессимизмъ самой жизни нашихъ баръ: онъ заставлялъ томиться имъ, искать изъ него выхода. Тургеневъ указывалъ этотъ выходъ только въ художественномъ, любовномъ и умозрительномъ энтузіазмѣ. Но и это было великой заслугой для того времени. Показать прелесть художественныхъ чувствованій и интеллектуальныхъ ощущеній, научить поэзіи любви, которая была извѣстна лишь съ своей чувственной стороны, это значило подготовить мозгъ и нервы къ высшей стадіи эволюціи, развить въ немъ потребности значительно болѣе идеальныя и духовныя, чѣмъ были у нашей барской среды, и, такимъ путемъ, подготовить почву для *положительныхъ* сѣмянъ музы Достоевскаго. Тургеневъ можетъ въ воспитательномъ отношеніи считаться его предтечей, какъ и вообще идеи западной мысли, съ ихъ критикой, съ ихъ пессимизмомъ и презрѣніемъ къ русской жизни, съ ихъ идеализмомъ, позитивизмомъ и матеріализмомъ, служили лишь плугомъ, вспахивавшимъ русскую новь для иного самостоятельнаго народнаго міросозерцанія, которое и

должно теперь смѣнить періодъ западническаго отрицанія и пессимизма.

Л. Оболенскій.

* * *

*) Разсмотримъ систему идей Достоевскаго сперва съ объективной точки зрѣнія, безъ всякаго ея разбора съ точки зрѣнія нашихъ личныхъ убѣжденій. Затѣмъ разберемъ ее съ этой второй точки зрѣнія. Мы прежде всего опредѣлимъ соціальное мѣсто системы идей Достоевскаго среди другихъ нашихъ литературныхъ и философскихъ направленій. Это мѣсто опредѣляется только отчасти самой задачей этой системы идей, задачей сознательно принятой и поставленной себѣ ея авторомъ. Задача эта состояла въ томъ, чтобы выразить, обрисовать, логически развить и защищать то, что понималъ Достоевскій подъ словами „русская народность". Но такія задачи ставились у насъ многими людьми въ ихъ литературной дѣятельности. Въ чемъ же особенность задачи Достоевскаго? Достоевскій смотрѣлъ на печать, какъ на общественную дѣятельность. Скажемъ больше,—только имѣя то своеобразное воззрѣніе на печать, какое онъ имѣлъ, онъ и могъ держаться того направленія, какого онъ держался. На печать онъ смотрѣлъ, какъ на „представительство", какъ на извѣстнаго рода „печатный соборъ", съ правомъ совѣщательнаго голоса въ дѣлахъ общихъ. Отъ этого съ своей рѣчью онъ обращался, по преимуществу, если не прямо къ власти, то къ господствующимъ классамъ, и старался стать „передъ ними", буквально представителемъ опредѣленной части или группы, цѣлой массы, цѣлой, такъ сказать, партіи русскаго народа, точно очерченной имъ для себя и про себя. При этомъ его особенность состояла въ томъ, что онъ поступалъ такъ, какъ поступалъ-бы настоящій уполномоченный извѣстной части общества, т. е. онъ постарался всецѣло представлять всѣ наличные интересы этой части не только матеріальные, но и нравственные и религіозные. И этого мало: онъ постарался, чтобы не быть никоимъ образомъ лицемѣромъ,—возвести понятія, чувства и идеи тѣхъ, кого онъ представлялъ въ основаніе и источникъ своего собственнаго міровоззрѣнія. А для этого онъ очистилъ воззрѣнія своихъ

*) „Мысль„ 1881 г., кн. 4. „Оцѣнка идей Достоевскаго". Статья Л. О. (Л. Е. Оболенскаго).

„представляемыхъ“ отъ всего внѣшняго и случайнаго, опредѣливъ для себя ихъ сущность и возведя геніальнымъ творчествомъ въ „перлъ созданія“, явился не простымъ, но убѣжденнымъ представителемъ данной группы во всей ея *цѣлости*, безъ урѣзокъ ея основного міросозерцанія, безъ ампутированія этого міросозерцанія по своему произволу. Какую же группу русскаго народа онъ избралъ въ качествѣ излюбленной, представлять которую онъ сдѣлалъ задачей своей жизни, отдавъ ей свой геніальный талантъ, свой высокій умъ? Эта группа или „партія“ (какъ выразился бы европеецъ), которую онъ взялся представлять и защищать, была масса сѣраго *православнаго* крестьянства—*ни больше ни меньше*. Замѣтьте: сѣраго православнаго крестьянства; онъ не представительствовалъ за интеллигенцію, или за другія партіи нашего народа, напр., за раскольниковъ. Онъ точно очертилъ группу существъ, делегатомъ которыхъ назначилъ самъ себя, и чѣмъ дальше работалъ, тѣмъ яснѣе очерчивался для него этотъ кругъ, тѣмъ точнѣе выяснилъ онъ себѣ частные элементы того цѣлаго міровоззрѣнія, которое онъ призванъ проповѣдывать, именно міровоззрѣнія своихъ избранныхъ, излюбленныхъ. Одинъ критикъ замѣтилъ, что Достоевскій меньше всего описывалъ народъ, а потому, молъ, странно его называть народникомъ. Если къ народничеству прилагать такой глубокомысленный критеріумъ, то наибольшимъ народникомъ, пожалуй, окажется актеръ Горбуновъ, ибо онъ описывалъ *только* народъ. Но читатели поймутъ, что можно проводить народный идеалъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, ограничившись по отношенію къ изображенію народа двумя-тремя основными типами; это Достоевскій и сдѣлалъ, какъ въ своемъ „Мертвомъ домѣ“, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ произведеніяхъ... Достоевскій, взявшись быть выразителемъ простого православнаго люда, не умѣющаго даже читать, не могъ, конечно, утверждать такъ самоувѣренно, какъ это дѣлаютъ другіе, что онъ вполнѣ знаетъ народъ и можетъ во всѣхъ отношеніяхъ говорить за него. Пока дѣло шло о вопросахъ общихъ, нравственныхъ, философскихъ, религіозныхъ,—онъ смѣло говорилъ, вѣруя и исповѣдуя, что эту сторону народной жизни онъ знаетъ и понимаетъ, проживъ и прострадавъ съ народомъ много лѣтъ. Но когда касалось вопросовъ практическихъ, онъ, какъ мы видѣли, предлагалъ

только одну мѣру: *„спросите“*... Милль въ этомъ отношеніи поступалъ совершенно такъ-же, какъ поступалъ Достоевскій, то есть онъ полагалъ также спасеніе въ одномъ: въ свободномъ заявленіи своихъ нуждъ рабочими классами, благодаря расширенію избирательнаго права. Онъ также полагалъ, что, когда эти классы выскажутъ свои нужды и взгляды, наука должна ихъ оформить, принять въ себя, какъ взгляды и потребности одного изъ обширнѣйшихъ и важнѣйшихъ классовъ общества. Здѣсь Достоевскій совершенно послѣдовательно думалъ относительно своего народа совершенно то-же, что думалъ Милль относительно англійскихъ массъ. При такой осторожности и крайней добросовѣстности, онъ въ своей совѣсти рѣшилъ, что такое этотъ народъ—какъ *характеръ*, какъ извѣстная идея, какъ коллективное „я“,—каковъ онъ, чего онъ хочетъ и ждетъ, во что вѣритъ и любитъ и сообразно этому велъ свое дѣло, исполнялъ свою задачу въ тѣхъ тѣсно-очерченныхъ предѣлахъ, гдѣ признавалъ свою силу и право быть представителемъ народа. Но мы уже сказали, что у насъ въ послѣднее время развилась такая масса выразителей и делегатовъ народа, что и счетъ потеряли, а потому-то и надо прежде всего показать, на сколько Достоевскій отличался отъ другихъ нашихъ, такъ-называемыхъ, народниковъ. Отъ имени народа говоритъ и „Голосъ“, и Катковъ, и Суворинъ, и Аксаковъ, — народниками называютъ себя и нѣкоторые наши петербургскіе ежемѣсячные органы печати. Въ чемъ же ихъ отличіе отъ Достоевскаго? Прежде всего въ томъ, что Достоевскій бралъ народъ всецѣло безъ ампутацій, т. е. разница—въ болѣе широкомъ пониманіи самаго понятія „народъ“, не какъ совокупность лишь какихъ-нибудь однихъ, напр., экономическихъ потребностей, но какъ цѣльную живую душу со всѣми ея элементами; отсюда являлась и особенность въ пониманіи имъ народныхъ идеаловъ, — въ томъ представленіи о народѣ, его потребностяхъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ, которыя имѣлъ Достоевскій и которыя онъ облекъ въ стройную, цѣльную систему, какъ мы видѣли раньше. Конечно, каждое изъ другихъ „народничествъ“ должно было думать о себѣ то-же самое, должно было считать свое представленіе о народѣ, свое міровоззрѣніе, основанное на этомъ представленіи, наиболѣе правильнымъ. Весь вопросъ значитъ въ томъ, кто изъ нихъ дѣй-

ствительно могъ считаться наиболѣе близкимъ и точнымъ, наиболѣе талантливымъ и глубокимъ выразителемъ народной физіономіи съ ея внутренней стороны. Намъ нечего говорить, что г. Катковъ, говорящій иногда отъ имени народа, во всѣхъ чисто-практическихъ вопросахъ былъ представителемъ только одной группы общества, той незначительной доли барства, которое еще плачетъ о крѣпостномъ правѣ, и хотя подъ маской патріотизма, но достаточно явно, чтобы это было нужно доказывать, — стремится и стремилось подорвать и теоретически и практически великія реформы прошлаго царствованія. Вся его дѣятельность, которой, конечно, не мѣсто касаться здѣсь подробно, есть ловкое подкапываніе подъ тотъ общественный строй, который возведенъ творчествомъ покойнаго Государя,—есть проведеніе мѣропріятій и принциповъ діаметрально противоположныхъ и стремленіе разочаровать общество какъ въ основной идеѣ этихъ реформъ, такъ и въ ея деталяхъ; насколько эта партія достигла своей цѣли — опредѣлитъ исторія и въ частности исторія нашихъ недавнихъ, ужасныхъ событій. Конечно, такое народничество есть только злая иронія злого шутника, страшная насмѣшка Мефистофеля надъ чистой, любящей и вѣрующей душой народа,—насмѣшка, которая не мало ввела, да еще введетъ въ заблужденіе своей патріотической маской, не имѣющей ничего общаго съ цѣлями, скрывающимися подъ этой маской. Искренній, отдавшійся весь народу, глубоко вѣрующій по народному и въ Христа и въ народный идеалъ Царя, Достоевскій, конечно, былъ діаметральною противоположностью этого олигархическаго или попросту крѣпостническаго направленія. Гдѣ оно ставило крѣпостническую олигархію и терроръ, тамъ Достоевскій ставилъ любовный, сердечный идеалъ власти, идеалъ простого, православнаго крестьянина. Вотъ въ двухъ словахъ ихъ діаметральная противоположность. Иными словами, идеалъ Достоевскаго—въ идеалѣ православнаго крестьянина, тогда какъ для нашихъ олигарховъ онъ олицетворился въ идеалѣ немногихъ поклонниковъ крѣпостного права, т. е. полновластномъ, суровомъ, свирѣпомъ крѣпостничествѣ во всѣхъ формахъ и видахъ, во всѣхъ вопросахъ, въ частной и государственной жизни, въ мѣропріятіяхъ общихъ столько же, какъ и въ рѣшеніяхъ вопросовъ частныхъ. Крѣпостное право всюду и притомъ наиболѣе свирѣпое, съ *полнымъ по-*

пріемъ христіанства въ человѣческихъ отношеніяхъ—вотъ идеалъ Каткова всюду и вездѣ. Любовь между народомъ и монархомъ (или, какъ выразился недавно Катковъ, „власть при посредствѣ *мнѣнія*") ему ненавистны, тогда какъ, по Достоевскому, эта самая взаимная любовь, не насилуемая ничѣмъ, кромѣ любви-же и высочайшей нравственной правды власти—вотъ идеалъ и средство и въ общемъ, а въ частности мы уже видѣли: это — спросъ народа, это — любовь людей другъ къ другу, это—дѣйствіе всѣхъ и каждаго со всѣми и каждымъ по закону Христа: „люби ближняго своего, какъ самого себя". Катковъ и Достоевскій — два полюса. Посмотримъ теперь на славянофиловъ. Я говорю о современныхъ славянофилахъ, совершенно оставляя въ сторонѣ прежнихъ, представлявшихъ, среди многихъ увлеченій, благороднѣйшія мысли и высокіе типы, теперь, къ сожалѣнію, обрызганные грязью, рядомъ безтактностей и крайней неразборчивостью въ средствахъ ихъ новаго представителя г. Аксакова. Идеи этого послѣдняго, на сколько онѣ связаны съ идеями его благородныхъ предшественниковъ, почерпнуты отчасти изъ нѣмецкой философіи Шелинга и Гегеля, смѣшанной съ клочками русской археологіи и отголосками мирнаго французскаго соціализма 20-хъ и 40-хъ годовъ. Все это теперь такъ противоестественно перепутано, приправлено такими инсинуаціями на всякаго мыслящаго иначе, что изслѣдованіе этой каши требуетъ особаго спеціальнаго трактата... Достоевскій рѣзко отличается, конечно, и отъ этого народничества, хотя не имѣть съ нимъ ничего общаго онъ не могъ, ибо какъ ни мало выражаетъ наша археологія духъ современнаго русскаго народа, однако, все же выражаетъ отчасти, хотя бы въ нѣкоторыхъ его элементахъ, а потому въ аксаковской амальгамѣ не могутъ не мелькать русскія лохмотья и растерзанные куски. Но вотъ и единственныя точки соприкосновенія. Далѣе все идетъ въ противоположныя стороны. Система Достоевскаго выражаетъ самую суть народной души и завѣтной религіи этой души—любовь, милосердіе, всепрощеніе. Аксаковщина выражаетъ, наоборотъ, душу и религію одной незначительной доли русскаго народа—незначительной группы изъ среды московскаго замоскворѣцкаго купечества, описаннаго Островскимъ: съ чисто-обрядовой религіозностью этой группы, съ противорѣчіемъ дѣла и жизни основнымъ заповѣ-

дямъ Христовымъ,—съ проповѣдью кулака, вмѣсто христіанской любви, съ проповѣдью поста, вмѣсто добрыхъ дѣлъ, — съ проповѣдью насилія, вмѣсто того ученія, которое говорило: „люби ближняго своего, какъ самого себя"—съ постоянными ярыми нападками, полными инсинуацій, на людей мало-мальски расходящихся во мнѣніяхъ, при чемъ, конечно, забывается основная истина того ученія, которое постоянно на языкѣ, а не въ сердцѣ: „подымающій мечъ отъ меча погибнетъ". Понятно, что это славянофильство настолько же діаметрально-противоположно ученію Достоевскаго, насколько діаметрально-противоположно и враждебно истинному православію и христіанству, — скажемъ болѣе, — даже истинному народному монархизму, по крайней мѣрѣ, какъ этотъ народный монархизмъ понимался Достоевскимъ. Обойдя совершенно народничество г. Суворина, котораго мы, каемся, опредѣлить не въ состояніи, мы перейдемъ къ тѣмъ различіямъ, которыя имѣются между народничествомъ Достоевскаго и нашихъ остальныхъ народниковъ, которыхъ соединимъ всѣхъ въ одну группу подъ однимъ общимъ именемъ—„народниковъ-экономистовъ". Ихъ отличіе отъ Достоевскаго весьма глубоко: они изъ всей жизни, изъ всѣхъ потребностей народа выбрали однѣ экономическія потребности, поставили ихъ впередъ всѣхъ остальныхъ и являются исключительно и преимущественно представителями только этой стороны народнаго существованія, оторванной отъ всѣхъ остальныхъ его духовныхъ и нравственныхъ сторонъ. Ихъ публицистическія статьи, ихъ научныя изслѣдованія, ихъ беллетристика—все сосредочивается или группируется прямо или косвенно около этихъ вопросовъ. Даже въ своихъ изслѣдованіяхъ объ обычномъ правѣ народа, о его религіозныхъ и политическихъ воззрѣніяхъ, ближайшая цѣль, которую они преслѣдуютъ — народно-экономическая. Лишь въ послѣднее время начала выдѣляться группа, такъ-сказать, народно-политическая, но и она теоретически ставитъ выше всего защиту экономическихъ интересовъ, и только для достиженія этихъ интересовъ мирится съ необходимостью ввести въ свои задачи и изслѣдованія элементъ народно-политическій; идеалы народа эта послѣдняя фракція черпаетъ, подобно славянофиламъ, отчасти изъ русской археологіи, — только отъ другихъ моментовъ этой археологіи, чѣмъ славянофильство, — а религіозные идеалы народа воспроизводитъ

изъ воззрѣній нѣкоторыхъ религіозныхъ сектъ, составляющихъ въ народѣ меньшинство. Такимъ-то образомъ и оказывается, что какъ бы кто ни смотрѣлъ на идеалы Достоевскаго, признавая ихъ вѣрными или не вѣрными народному духу, но всякій долженъ признать, что онъ все же былъ единственнымъ человѣкомъ, стремившимся выражать и „представлять" народъ все цѣло, а не въ одной какой-либо его части, и не археологическій народъ, а народъ живой, именно православный. Этимъ мы вовсе бы не хотѣли обидѣть нашихъ народниковъ-экономистовъ: они очень много сдѣлали для изученія экономической стороны народнаго быта, его нуждъ и потребностей. На этомъ поприщѣ это были единственные работники, принесшіе не мало пользы странѣ своимъ изслѣдованіемъ и изученіемъ. Мы здѣсь только хотимъ указать, что Достоевскій или, вѣрнѣе, его народничество было совсѣмъ иное. Въ вопросахъ чисто-практическихъ, каковые вопросы экономическіе, онъ передавалъ свой голосъ самому народу; съ его точки зрѣнія, представительство народа въ экономическомъ отношеніи, только въ этомъ и должно было заключаться, т. е. въ стремленіи добыть народу право личнаго голоса въ такихъ вопросахъ, именно въ вопросахъ, гдѣ онъ долженъ знать больше любого ученаго, т. е. въ вопросахъ собственнаго быта. А за тѣмъ свое „делегатство", въ соборѣ нашей прессы онъ считалъ болѣе широкимъ по задачамъ: будь онъ выборный делегатъ, и онъ долженъ бы былъ выражать существо своихъ избирателей, по вопросамъ нравственнымъ, религіознымъ и другимъ, какіе только подымались бы въ томъ учрежденіи, въ которое онъ избранъ. Депутатъ долженъ воспринять въ свою душу всецѣло всю душу своихъ избирателей, или отказаться отъ своей роли депутата, если онъ съ ними не согласенъ. Иначе онъ не въ силахъ будетъ защищать ихъ идей, ихъ взглядовъ въ борьбѣ съ другими партіями. Достоевскій, избравшій самъ себя депутатомъ православнаго сѣряка въ нашъ печальный соборъ, именно такъ понималъ свою задачу, такъ онъ ее и проводилъ до конца: напр.: масса, отъ которой онъ говорилъ, была православна, и онъ проникся православіемъ; но, какъ человѣкъ съ высокимъ образованіемъ и умомъ, онъ очистилъ „народное православіе" и облекъ его сущность въ высоко-философскія формы, въ симпатичнѣйшіе типы, въ высочайшія и гуманнѣйшія идеи. Онъ, такъ ска-

зать, переработалъ народную религію въ горнилѣ собственнаго творчества и своего геніальнаго ума, и эта народная религія вышла изъ этого горнила, не только сохранивъ свой основной типъ, свои существенныя великія черты, но она стала, благодаря художественному творчеству Достоевскаго, такъ сказать, типомъ, идеаломъ религіи, совершенно такъ же, какъ всякій геніальный художникъ возводитъ въ типъ и идеалъ разбросанныя черты человѣческихъ личныхъ типовъ и характеровъ; какъ въ этомъ процессѣ великій художникъ отыскиваетъ разбросанныя черты типа и даетъ намъ Фаустовъ, Манфредовъ, Гамлетовъ, такъ Достоевскій далъ намъ изъ разбросанныхъ чертъ того религіознаго типа, который живетъ въ душѣ нашего народа, — живой и поразительно чудный типъ народной религіи, развивавшійся и въ прежнихъ его произведеніяхъ по частямъ, но окончательно олицетворенный въ старцѣ Зосимѣ. Къ этому старцу народъ стекается со всѣхъ концовъ земли русской, видя въ немъ представителя на землѣ Божьей правды, какъ онъ, народъ, его понимаетъ. Тѣмъ же процессомъ художественнаго и философскаго творчества, возсоединенныхъ въ общей работѣ, Достоевскій далъ намъ типъ народныхъ представленій о царѣ, власти, государствѣ, хотя въ менѣе законченныхъ образахъ. Особенно ярко очерченъ этотъ типъ въ его послѣднемъ „Дневникѣ", но мы не разъ встрѣчаемъ отдѣльныя черты этого типа и въ другихъ произведеніяхъ. Поживи онъ дольше и мы, конечно, имѣли бы выраженіе этого типа или идеала народнаго, столь-же законченные, какъ мы имѣемъ относительно религіознаго типа. Типъ или идеалъ власти нашего православнаго народа олицетворяется народомъ въ царѣ, абсолютно любящемъ, абсолютно справедливомъ, безпредѣльно трудящемся для Россіи и защищающемъ народные интересы отъ всѣхъ другихъ общественныхъ партій,—въ царѣ абсолютно нравственномъ, милостивомъ, хотя и строгомъ, простомъ и въ то же время великомъ. Однимъ словомъ, это идеалъ того же Бога, который мы видѣли ранѣе, но только олицетворенный въ лицѣ царя. Собственно, въ народномъ представленіи, по мнѣнію Достоевскаго, на сколько это можно уловить въ рѣчахъ старца Зосимы, политическое и религіозное начало сливаются въ лицѣ царя. Замѣчательно, что многіе раскольники точно также не допускаютъ раздѣленія гражданской власти отъ ре-

лигіозной. Это чисто народная черта, вполнѣ вѣрно подмѣченная Достоевскимъ. Если народъ идетъ къ старцу Зосимѣ, т. е. раздѣляетъ начало религіозное отъ политическаго, то лишь потому, какъ замѣчалъ и Достоевскій, что на это существуютъ чисто внѣшнія причины... Зосимы суть единственные представители религіознаго начала, стоящіе ближе къ народу и вполнѣ доступные, къ которымъ народъ всегда можетъ обратиться со своими чисто личными духовными скорбями и нуждами. Зосимы, это—непосредственные избранники народнаго сердца, ибо народъ признаетъ ихъ своей духовной властью не въ силу чего иного, кромѣ ихъ религіозныхъ подвиговъ, и добровольно идетъ къ нимъ, ибо они офиціально даже могутъ и не быть вовсе признаны...

Сдѣлаемъ теперь тѣ замѣчанія, которыя вызываются нашимъ личнымъ несогласіемъ съ нимъ. Эта часть нашей задачи можетъ быть исполнена скоро, ибо въ большинствѣ случаевъ мы съ Достоевскимъ или согласны, или не находимъ нужнымъ ему возражать въ виду незначительнаго разногласія. Главное же наше возраженіе касается одного важнаго пункта. Это — недостаточнаго значенія, которое придавалъ Достоевскій интеллигенціи. Съ его точки зрѣнія онъ, конечно, былъ правъ: разъ опредѣливъ себѣ задачу представителя нашего простого православнаго люда, онъ и долженъ былъ стоять на почвѣ его понятій, чувствъ и вѣрованій. Среди другихъ голосовъ, выражающихъ другія общественныя партіи и направленія мысли, его голосъ долженъ былъ заслуживать полнаго и особаго уваженія, какъ голосъ представителя не только наиболѣе обширной массы, безъ участія которой въ общихъ сужденіяхъ, никакой вопросъ не былъ бы обсужденъ цѣльно, органически-всесторонне, но и потому еще, что это — былъ голосъ отъ имени того класса нашего общества, который самъ за себя въ прессѣ говорить не могъ и другихъ „цѣльныхъ“ выразителей не имѣлъ. Не сходя съ этой объективной почвы, нельзя не сказать, что мнѣніе и голосъ одной партіи, какъ бы она велика и почетна ни была, не можемъ быть никогда полной и цѣльной истиной. Истина только въ согласіи голосовъ всѣхъ здоровыхъ и здравыхъ общественныхъ партій, ибо каждая партія есть, такъ сказать, кусокъ, неотъемлемый органъ цѣлаго, живого общественнаго тѣла. Какъ въ отдѣльномъ человѣческомъ тѣлѣ не можетъ и

не долженъ пользоваться преимущественнымъ вниманіемъ голосъ одного органа, преимущественно передъ другими, а наоборотъ, всѣ они: и мозгъ, и ноги, и руки, и легкія, и сердце—одинаково заслуживаютъ вниманія, одинаково выслушиваются мозгомъ, и всякое преобладаніе одного органа или одной части тѣла влечетъ непремѣнную болѣзнь организма,—такъ и въ обществѣ: интересы, потребности чувства и идеи цѣлаго класса не могутъ быть игнорированы вовсе, они должны быть только примирены съ другими. Вотъ почему мы, стоя всегда за развитіе цѣлаго въ чисто народномъ, органическомъ направленіи, въ то же время ни коимъ образомъ не можетъ сойтись съ славянофилами, а также многими другими нашими народниками и даже Достоевскимъ въ томъ, что они хотѣли, желали бы подавить совершенно интеллигенцію и ея живыя насущныя потребности. Въ самомъ дѣлѣ, интеллигенція, съ ея идеями, потребностями, идеалами, есть *фактъ*, фактъ историческій, фактъ если не столь обширный, какъ предыдущая партія, т. е. народъ, то во всякомъ случаѣ, фактъ по меньшей мѣрѣ представляющій собой до милліона людей, наиболѣе просвѣщенныхъ, наиболѣе знакомыхъ съ наукой, искусствомъ и пр., и пр. Куда же вы дѣваете этотъ фактъ? Повторимъ здѣсь то, что говорится въ другой нашей статьѣ о новой брошюрѣ г. Неплюева: „нигдѣ въ природѣ разъ потребленная энергія не пропадаетъ даромъ. Наша интеллигенція поглотила такую сумму энергіи, вложенной въ народный трудъ, что проповѣдывать, будто эта энергія должна погибнуть безплодно (для народа, а не возвратиться къ нему въ видѣ новой формы—труда умственнаго, нравственнаго и пр.), это значитъ—идти противъ основного закона природы". Въ другомъ мѣстѣ той же статьи мы говоримъ, что интеллигенція, ея развитіе, ея идеи, ея научныя знанія суть кристализовавшійся трудъ народа. Какимъ же образомъ дѣлать такую ампутацію, какъ устраненіе органа, на который употреблена самая большая масса народной жизни, труда,—употреблена почти цѣлая исторія! Это, значитъ, сдѣлать все прошедшее этого народа совершенно безплоднымъ. Но, не только объ совершенномъ устраненіи интеллигенціи нельзя говорить, нельзя даже говорить о необходимости полнаго *преобладанія* надъ нею въ политическомъ смыслѣ какого бы то ни было класса, даже народа: необходимо то, что въ физіо-

логіи называется consensus, необходимо, чтобы ни интеллигенція не преобладала, ни народъ, а чтобы они уравновѣшивали другъ друга: вотъ идеалъ чисто органическій. Подавить цѣлый органъ въ обществѣ такъ же нельзя, какъ и въ тѣлѣ. Нельзя подавить функціи мозга, сердца и легкихъ, не поразивъ весь организмъ величайшими и опаснѣйшими болѣзнями. Всякое насильственное преобладаніе или неравновѣсіе, т. е. перевѣсъ, не можетъ не сопровождаться насильственнымъ пригнетеніемъ многихъ потребностей, среди которыхъ могутъ и должны быть совершенно здравыя и совершенно естественныя. А такое подавленіе здоровыхъ и естественныхъ потребностей въ десяткахъ и сотняхъ тысячъ людей, сильныхъ своимъ образованіемъ и знаніями, не можетъ не имѣть печальныхъ болѣзненныхъ послѣдствій. По нашему мнѣнію, это можетъ произвести такое же зло, какъ и обратный фактъ, когда интеллигенція ломаетъ жизнь народа, только по своимъ интересамъ и тенденціямъ, не соображаясь съ народными чувствами и потребностями въ ихъ *цѣломъ*. Это слово мы потому подчеркиваемъ, что до сихъ поръ большинство нашей интеллигенціи, какъ мы видѣли, участвуя,—преимущественно словомъ, въ государственной жизни, воображала, будто бы она вполнѣ народна, если беретъ какую-нибудь одну народную потребность, напримѣръ, экономическую и валитъ съ ней, что называется, напроломъ. Нечего и говорить, что здѣсь представляется такая же ошибка, такое же неуваженіе къ народности, какъ и въ тенденціи славянофиловъ—ломить напроломъ съ нѣкоторыми другими народными потребностями, также оторванными отъ цѣлаго. Эти господа, т. е. первые и вторые, поступаютъ совершенно такъ же, какъ тотъ ребенокъ, который, желая услужить бѣдной матери, и зная, что та любитъ апельсины, укралъ бы у нея же деньги и купилъ бы апельсины. Стремясь напроломъ къ удовлетворенію одной изъ народныхъ потребностей, игнорируя другія, или даже только дѣйствуя средствами, противными чувствамъ народа, интеллигенція всегда будетъ только увеличивать его неудовольствіе на себя и непроходимую рознь. Но невозможно, повторяю, заставить и интеллигенцію отказаться отъ того, что составляетъ ея здоровую, насущную потребность, нисколько не вредящую народу и не идущую въ разрѣзъ съ его основными чувствами и понятіями. А вотъ

такое-то приниженіе, совершенно ни къ чему не ведущее, кромѣ зла, иногда проповѣдывалъ Достоевскій, отчасти съ голоса славянофиловъ, и тутъ онъ былъ абсолютно неправъ. Тутъ крылась просто или ошибка, или недостаточное знаніе, или черезчуръ большое увлеченіе своей задачей, а больше всего, повторяемъ, это было результатомъ вліянія славянофильства, которое несомнѣнно имѣло свое дѣйствіе на Достоевскаго при образованіи имъ,—теоретическимъ и творческихудожественнымъ путемъ, — его народнаго образа, которому онъ служилъ. Иными словами, Достоевскій думалъ, со словъ славянофиловъ, что нѣкоторыя изъ потребностей интеллигенціи (вполнѣ безвредныя и совершенно непротиворѣчащія народнымъ чувствамъ) будто бы почему-то имъ должны противорѣчить. Впрочемъ, это—явственное свойство сильно увлекающагося чувства, начавъ разъ отрицать что-либо вредное (а таковы, дѣйствительно, нѣкоторыя анти-народныя стремленія интеллигенціи и вообще ея непривычка или неумѣніе соображаться съ духомъ народа) — задѣвать и такія стороны жизни, которыя только находятся въ ассоціаціи, въ какой-нибудь случайной связи съ вредными началами, будучи сами по себѣ полезными и даже необходимыми. Такъ рубя сухой лѣсъ, невольно топчутъ и сосѣдній живой кустарникъ. Такъ славянофилы, преслѣдуя совершенно справедливо недостатокъ внимательности интеллигенціи къ складу народнаго духа, часто инсинуируютъ совершенно напрасно и крайне вредно на то, что не имѣетъ съ такимъ игнорированіемъ ничего общаго... И такъ, этотъ вопросъ можетъ быть исчерпанъ, если мы предложимъ формулу, на которой слѣдовало бы сойтись и всей нашей интеллигенціи, и поклонникамъ Достоевскаго, и поклонникамъ славянофильства. Эта формула такова: интеллигенція и народъ суть лишь различные органы одного и того же тѣла, одинаково достойные вниманія въ своихъ здоровыхъ, естественныхъ потребностяхъ, конечно, тѣхъ, которыя не вредятъ цѣлому, и притомъ, которыя не вредятъ каждому изъ этихъ естественныхъ, исторически-сложившихся органовъ. Полагаю, если бы славянофилы держались этой формулы, если бы они хладнокровно и строго разбирали, какія потребности и нужды интеллигенціи не противны ни чувствамъ ни понятіямъ народа,—отъ тѣхъ, которыя прямо и рѣзко идутъ въ разрѣзъ съ ними,—то интеллигенція наша

давно примирилась бы съ славянофильствомъ. И, наоборотъ, если бы интеллигенція признала, что въ славянофильствѣ есть доля правды, а именно идея „органичнаго развитія“ (тутъ дѣло вовсе не въ органической теоріи обществъ),—признанная лучшими европейскими мыслителями и особенно прямо установленная Контомъ, — если бы интеллигенція признала, что нельзя служить одной какой-нибудь сторонѣ жизни народа и въ то же время прать противу основныхъ началъ народной психики въ ихъ *цѣломъ*, которыя суть фактъ, его-жъ не перескочишь, фактъ заявляемый ежедневно народомъ, но передъ которымъ интеллигенція привыкла только вопіять да ужасаться (это ужъ совсѣмъ нелѣпо: надо этотъ фактъ знать и помнить, что онъ фактъ, его же не перескочишь),—и тогда у насъ не было бы многой и многой путаницы и ерунды, совершающейся нынѣ“.

Л. О. Оболенскій.

* * *

Теперь обратимся къ тѣмъ русскимъ литературнымъ партіямъ, личные и общественные идеалы которыхъ рѣзко отличаютъ ихъ отъ прочихъ партій и къ которымъ въ томъ или другомъ отношеніи не безъ основанія причисляли и Ѳ. М. Достоевскаго. Выразителями мнѣній, убѣжденій, идеаловъ и вообще міросозерцанія сказанныхъ партій служатъ преимущественно два извѣстные, выдающіеся органа печати, съ значительнымъ однако оттѣнкомъ разногласія между собою въ нѣкоторыхъ вопросахъ—это „Московскія Вѣдомости“ съ „Русскимъ Вѣстникомъ“ М. Н. Каткова и „Русь“ И. С. Аксакова.

Помѣщаемъ прежде отзывы о Достоевскомъ самихъ редакцій органовъ Каткова и Аксакова, а за ними послѣдуютъ критики Влад. Соловьева, Н. Страхова и друг.

*) „Достоевскому воздается честь не просто какъ писателю, не просто какъ литературному таланту. Въ немъ особенно цѣнно, особенно дорого то духовное направленіе, которое въ немъ выработалось его жизнью. Онъ принадлежалъ къ числу избранныхъ душъ, которыя неутомимо ищутъ правды, ищутъ Бога. Вотъ въ чемъ, въ этомъ исканіи Бога, истинный прогрессъ и человѣка и человѣчества! Какъ бы въ этомъ исканіи ни заблуждался человѣкъ, оно спасетъ его,

*) „Московскія Вѣдомости“ 1881 г., № 33 и „Русскій Вѣстникъ“ 1881 г., № 2.

оно выведетъ его на путь, если только исканіе правды само правдиво и идетъ изъ глубины души. Въ комъ живетъ это животворящее духовное начало, тотъ выдержитъ всякое испытаніе, тотъ не изнеможетъ ни въ какой борьбѣ. Много тяжкаго перенесъ Достоевскій въ своей жизни. Буря застигла его на самомъ расцвѣтѣ его жизни. Въ своихъ молодыхъ великодушныхъ, но еще неопредѣленныхъ порывахъ къ добру и правдѣ, онъ оступился, подпалъ подъ ударъ суроваго закона—и очутился на каторгѣ. Не будь въ немъ Бога, онъ бы озлобился, ожесточился бы и упалъ бы безповоротно съ высоты своихъ мечтаній. Но для него страшное бѣдствіе стало путемъ истиннаго, глубокаго совершенствованія; оно зародило въ немъ духовнаго человѣка. Быть можетъ, онъ не вышелъ бы тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ въ своей дѣятельности, если бы Богъ не судилъ ему этого испытанія. Талантъ его не получилъ бы такого развитія, и не выработался бы въ немъ тотъ духовный строй, который характеризуетъ его по преимуществу, въ которомъ заключается его главное достоинство, какъ писателя. Изъ неопредѣленныхъ и смутныхъ исканій, онъ мало-по-малу вышелъ на тотъ узкій и единственный путь, который ведетъ къ истинѣ. Онъ обратился на самого себя, онъ вступилъ въ борьбу съ самимъ собой, въ борьбу упорную, неутомимую; въ себѣ самомъ, а не въ другихъ, казнилъ онъ безпощадно все дурное и порочное человѣческой природы, и чѣмъ болѣе онъ очищался и овладѣвалъ собой, тѣмъ глубже становился онъ сыномъ своего народа и христіаниномъ вѣрующимъ въ простотѣ сердца. Въ русскомъ народномъ чувствѣ обрѣлъ онъ Христа, и все что было въ немъ идеальнаго, стремящагося, всѣ его исканія сосредоточились здѣсь. Въ своихъ сужденіяхъ и оцѣнкахъ онъ могъ ошибаться, и не столько отдѣльными мыслями производилъ онъ доброе дѣйствіе на умы, сколько общимъ строемъ своей души, общимъ направленіемъ своихъ помысловъ. Въ немъ мы видимъ русскій умъ, который свои идеалы ищетъ и находитъ не въ пустотѣ, не въ отвлеченностяхъ, не на чужбинѣ, а въ живой душѣ своего народа. Заслуга Достоевскаго какъ писателя именно въ томъ состоитъ, что онъ со всею искренностію и со всею силой своего дара почувствовалъ и обрѣлъ высшую правду въ своемъ народномъ чувствѣ, и прежде всего духъ милосердія, самое христіанское въ христіанствѣ

начало, которое, мы чувствуемъ, живетъ въ глубинѣ нашей народности и въ которомъ таится ея истинная сила. Въ своихъ произведеніяхъ Достоевскій часто изображаетъ нравственно больныхъ, прокаженныхъ людей. Никакого безобразія онъ не отвращался, никакого ужаса не пугался, никакой наготой не смущался. Его анализъ простирался до мельчайшихъ подробностей нравственныхъ недуговъ, и надо удивляться тому спокойствію, той, казалось бы, безпощадной тонкости, съ какою работалъ его анатомическій ножъ. Не то ли это, что называется обличеніемъ? Нѣтъ. Не то ли, что называется реализмомъ въ искусствѣ? Нѣтъ. Былъ ли это безстрастный наблюдатель въ интересѣ какой-нибудь науки или искусства? Или, наконецъ, не походилъ ли онъ на врача, который добросовѣстно относится къ своимъ больнымъ, но видитъ въ нихъ не болѣе, какъ патологическіе случаи? Нѣтъ, если онъ походилъ на кого, то развѣ на беззавѣтно преданную, Богу обрекшую себя, безконечно проникнутую чувствомъ своего служенія сестру милосердія, которая не гнушается никакою язвой, не брезгаетъ никакимъ гноемъ, и вся озабочена только тѣмъ, чтобъ облегчить страданія болящаго. Онъ въ своихъ анализахъ ищетъ правды, и идетъ все глубже и глубже, идетъ до конца, ничѣмъ не смущаясь, пока подъ этою гадостію, подъ этою мерзостію, не почуется, не послышится сама эта больная, трепещущая, забывшая себя, заглохшая душа человѣческая. И намъ становится понятна эта кропотливость анализа, и въ этихъ подробностяхъ, возбуждавшихъ въ насъ гадливое чувство, мы усматриваемъ дѣло любви, которая ищетъ Бога въ человѣкѣ и не отчаивается найти человѣка въ одичаломъ и погибшемъ существѣ. Умъ обнаруживается въ высотѣ и широтѣ соображеній; любовь же испытывается и дастъ чувствовать свою благодать въ тѣснотѣ подробностей“.

Изъ „Русскаго Вѣстника“.

* * *

*) Истинно событіемъ стала для нашего общества смерть Достоевскаго, событіемъ внутреннимъ, нравственнаго и духовнаго міра. Бываютъ минуты въ жизни частныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ, когда внезапно озарится свѣтомъ все невѣдомое, сокровенное души, когда нежданно-негаданно во-

*) „Русь“ 1881 г., № 13.

спрянетъ со дна ея несознанная, забытая или презрѣнная правда и властительнымъ порывомъ высвободитъ ее, хоть на мигъ, изъ сѣтей лжи и лукаваго мудрованія. Задержать эту минуту, утвердить ее въ сознаніи, поставить ее себѣ ступенью—это уже значитъ двинуться впередъ... Но не всегда такъ бываетъ, и приходится ждать новыхъ событій—новыхъ потрясающихъ ударовъ...

Глубоко знаменателенъ этотъ единодушный всеобщій взрывъ скорби и сочувствія къ умершему. Отъ царя (къ Его вящей славѣ) до послѣдняго студента—всѣ почтили писателя. Еще никогда никого *такъ* не хоронили; ничего подобнаго не видывалъ Петербургъ. Всѣ эти внезапныя, не предуготовленныя, а потому несомнѣнно искреннія изъявленія участія, признательности, уваженія, какъ со стороны представителей власти и церкви, такъ со стороны общества, безъ различія партій и направленій, и особенно со стороны учащейся молодежи,—все это чествованіе, такъ нечаянно, само собою, вдохновенно сложившееся, исполнено важнаго смысла. Въ самомъ дѣлѣ, кого же и за что чествовали въ Петербургѣ съ такимъ непритворнымъ, безотчетнымъ увлеченіемъ и общество и молодежь? Да и въ одномъ ли Петербургѣ, и теперь ли только? Кто и чѣмъ, мѣсяцевъ восемь тому назадъ, вызвалъ цѣлую бурю восторговъ, въ приснопамятные дни Пушкинскаго празднества, на Московскомъ литературномъ соборѣ, среди общества? Мы тогда же назвали рѣчь Достоевскаго и впечатлѣніе имъ произведенное „событіемъ", но оно было лишь предтечею того великаго смятенія любви и горя, которымъ объятъ былъ весь мыслящій городъ при вѣсти о кончинѣ, когда не то, или другое, случайное слово, а весь нравственный образъ, весь жизненный подвигъ писателя мгновенно предсталъ предъ обществомъ во всей своей *цѣлокупности* (по его собственному, любимому выраженію).

Кого чествовали и за что? Проповѣдника ли иностранныхъ политическихъ доктринъ? Сторонника ли извѣстныхъ западныхъ государственныхъ и гражданскихъ учрежденій? „Либерала" ли въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляетъ это слово наша печать, такъ-таки и величающая себя „либеральной",—такого „либерала"-писателя, который если не прямо, открыто, то въ художественныхъ образахъ, между строкъ или намеками, давалъ подразумѣвать о своихъ симпатіяхъ? Но никто

рѣшительнѣе, энергичнѣе Достоевскаго не возставалъ на европейскій либерализмъ русской интеллигенціи: бороться съ нимъ считалъ онъ необходимымъ, „доколѣ перо будетъ въ его рукахъ“, какъ выразился онъ самъ въ „Дневникѣ“ 1880 года.

Но, возразятъ намъ, такихъ закоренѣлыхъ чистокровныхъ западниковъ, какіе бывали прежде, теперь уже мало. Либералы новѣйшаго закала мечтаютъ о политическихъ формахъ свободы—въ русскомъ вкусѣ и образѣ, и Достоевскій, можетъ статься, былъ не чуждъ этого направленія? Кому же однако не вѣдомо, что для Достоевскаго все дѣло было не во внѣшней формѣ, а *въ духѣ*; что онъ въ душѣ своей былъ искреннимъ врагомъ всякой политической формальной свободы, которая бы могла лишь усилить власть и значеніе нашей европействующей интеллигенціи и исказить органическій самородъ русскаго народа, своеобразность и свободу его духовнаго развитія. Да и вообще политическія государственныя формы мало его занимали: не въ нихъ видѣлъ онъ главное зло, не въ нихъ и спасеніе. Однимъ словомъ: политическія убѣжденія русскаго народа были и его убѣжденіями.

Кого чествовали, спросимъ снова: соціалиста ли, соціалъ-демократа? Да, пожалуй, онъ былъ соціалистомъ, во сколько само Евангеліе можетъ почитаться соціалистической доктриной! и не въ смыслѣ даже германской соціально-христіанской школы, а въ смыслѣ его собственныхъ словъ въ первомъ и послѣднемъ выпускѣ его „Дневника“ на 1881 годъ: „не въ коммунизмѣ—говоритъ онъ—не въ механическихъ формахъ заключается соціализмъ русскаго народа: онъ вѣритъ, что спасется лишь въ концѣ концовъ *всесвѣтнымъ единеніемъ во имя Христово*... Вотъ нашъ русскій соціализмъ! вотъ надъ присутствіемъ въ народѣ русскомъ этой высшей единительной „Церковной“ идеи вы и смѣетесь, господа европейцы наши“... Послѣ этой выписки кажется уже совершенно излишнимъ ставить вопросъ: чествуется ли Достоевскій какъ поборникъ *позитивизма*, *матеріализма* и тому подобныхъ ученій?!...

Что же могло нравиться въ немъ, въ особенности молодымъ людямъ? Смѣлыя ли выходки противъ предержащихъ властей, язвительный-ли протестъ противъ офиціальныхъ „существующихъ порядковъ“, мѣткая-ли злая са-

тира гражданскаго строя, художественная ли проповѣдь остроумія? Ни даже тѣни ничего подобнаго не встрѣчается въ его сочиненіяхъ,—потому что и въ самомъ сердцѣ этого бывшаго каторжника не было и слѣда озлобленія или ропота; потому что не процессомъ мертвящаго отрицанія, но преизбыткомъ любви, жизненною силою вѣрующаго духа, торжествомъ нравственной правды въ сердцахъ человѣческихъ училъ онъ превозмогать неправду внѣшнихъ явленій. Не онъ ли, напротивъ, превозносилъ долготерпѣніе и смиреніе русскаго народа? не онъ ли, въ лицѣ „страждущихъ" и „гонимыхъ", въ своихъ художественныхъ созданіяхъ благословляетъ самое страданіе и наказаніе, какъ путь къ очищенію, къ возрожденію въ себѣ новаго человѣка?.. Пусть и такъ скажутъ намъ, но именно его сочувствіе къ „униженнымъ и оскорбленнымъ", къ презрѣнному мелкому, бѣдному люду, его „гуманитарное" направленіе, оно-то и влекло къ нему сердца... Несомнѣнно влекло,—но приводило къ иному нравственному выводу, нежели такое же, повидимому, сочувствіе прочихъ нашихъ „гуманитарныхъ" романистовъ и поэтовъ. Относительно разницы, вѣрнѣе сказать, противоположности этихъ выводовъ нельзя ошибаться. Такъ, кто смѣшиваетъ ихъ, для кого Достоевскій представляется только наставникомъ гуманности *за одно* съ другими нашими писателями отрицательнаго направленія, тотъ или поступаетъ недобросовѣстно или ничего не смыслитъ. У послѣднихъ сочувствіе относилось не столько къ человѣку, сколько къ представителю извѣстнаго общественнаго класса или сословія, страждущаго отъ внѣшней неравноправности, отъ неправильности соціальнаго положенія, а потому всегда болѣе или менѣе окрашено тенденціозностью условной, политической или соціальной доктрины. Задача писателей этого разряда—вызвать, вмѣстѣ съ участіемъ къ соціальной обстановкѣ воспроизведенныхъ лицъ, негодованіе и бунтъ въ душѣ читателя противъ неравномѣрности въ распредѣленіи матеріальныхъ благъ и несправедливости общественныхъ условій. Негодованіе на несправедливость, конечно, благое и честное дѣло; это вопль самой правды, уязвленной въ душѣ человѣка,—но только то негодованіе, которое само не переступаетъ предѣловъ истины, не переходитъ въ вожделѣніе мести, не сдвигаетъ человѣка съ строго нравственной почвы на путь внѣшняго насилія.

Совсѣмъ иную задачу имѣетъ Достоевскій. Идея внѣшней, соціальной равноправности блѣднѣла и исчезала для него въ *высшей* идеѣ—въ христіанской идеѣ *братства*. Эти униженные, эти оскорбленные, эти презираемые міромъ—это наши братья о Христѣ, это тѣ евангельскіе мытари и блудницы, къ которымъ, какъ во дни оны, такъ и теперь не рѣдко входитъ и пребываетъ въ ихъ смрадныхъ жилищахъ Христосъ, минуя богатыхъ и гордыхъ. Не презирай,—твердитъ намъ Достоевскій съ первой до послѣдней написанной имъ строки,—не презирай ни уничиженнаго, ни злодѣя, ни преступника, потому что вся вселенная не стоитъ единой души человѣческой, потому что каждая куплена дорогою цѣною—крестомъ и кровью Христа,—потому что нѣтъ души, въ которой бы божественная искра не могла вспыхнуть очищающимъ пламенемъ, предъ нимъ же померкнетъ вся твоя заурядная добродѣтель: вотъ любимая тема писателя, столько лѣтъ прожившаго бокъ о бокъ съ клейменными злодѣями и умѣвшаго въ каждомъ признать человѣка, опознать брата и Бога... Такъ вотъ какого писателя почтило такъ единодушно наше общество, вотъ кому несла наша русская учащаяся молодежь, движимая благороднѣйшими, чистѣйшими, лучшими инстинктами юности, дань горячей любви и благодарности. Не матеріалисту несла она эту дань, не позитивисту, не соціалисту, не европейцу-либералу, и не наставнику гуманитаризма, а писателю-*мистику*: безстрашному (ибо въ наши дни нужно для сего мужество), непостыдному исповѣднику имени Господня...

Изъ „Руси“.

* * *

*) Чему служилъ Достоевскій, какая идея вдохновляла всю его дѣятельность? Остановиться на этомъ вопросѣ тѣмъ естественнѣе, что ни подробности частной жизни ни художественныя достоинства или недостатки его произведеній не объясняютъ сами по себѣ того особеннаго вліянія, которое онъ имѣлъ въ послѣдніе годы своей жизни, и того чрезвычайнаго впечатлѣнія, которое произвела его смерть. Съ другой стороны и тѣ ожесточенныя нападки, которымъ все еще

*) Влад. Соловьевъ. „Три рѣчи въ память Достоевскаго“. Москва. 1884 г.

подвергается память Достоевскаго, направлены никакъ не на эстетическую сторону его произведеній, ибо всѣ одинаково признаютъ въ немъ первостепенный художественный талантъ, возвышающійся иногда до геніальности, хотя и не свободный отъ крупныхъ недостатковъ. Но та идея, которой служилъ этотъ талантъ, для однихъ является истинной и благотворной, а другимъ представляется фальшивою и вредною. Окончательная оцѣнка всей дѣятельности Достоевскаго зависитъ отъ того, какъ мы сами смотримъ на одушевлявшую его идею, на то, во что онъ вѣрилъ и что любилъ. „А любилъ онъ прежде всего живую человѣческую душу во всемъ и вездѣ, и вѣрилъ онъ, что мы всѣ *родъ Божій*, вѣрилъ въ безконечную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ внѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ. Принявъ въ свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолѣвъ все это безконечною силою любви, Достоевскій во всѣхъ своихъ твореніяхъ возвѣщалъ эту побѣду. Извѣдавъ *божественную* силу въ душѣ, пробивающуюся черезъ всякую человѣческую немощь, Достоевскій пришелъ къ познанію Бога и Богочеловѣка. *Дѣйствительность* Бога и Христа открылась ему во *внутренней* силѣ любви и всепрощенія, и эту же всепрощающую благодатную силу проповѣдывалъ онъ какъ основаніе и для внѣшняго осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь“ *). Мнѣ кажется, что на Достоевскаго нельзя смотрѣть какъ на обыкновеннаго романиста, какъ на талантливаго и умнаго литератора. Въ немъ было нѣчто большее, и это большее составляетъ его отличительную особенность и объясняетъ его дѣйствіе на другихъ. Въ подтвержденіе этого можно было бы привести очень много свидѣтельствъ. Ограничусь однимъ, достойнымъ особаго вниманія. Вотъ что говоритъ гр. Л. Н. Толстой въ письмѣ къ Н. Н. Страхову: „Какъ бы я желалъ умѣть сказать все, что я чувствую о Достоевскомъ. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видалъ этого человѣка и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я понялъ, что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ.

*) Изъ словъ, сказанныхъ на могилѣ Достоевскаго 1-го февраля 1881 г.

И никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ нимъ, никогда. Все что онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что онъ дѣлалъ), было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ тоже, но дѣло сердца—только радость. Я его такъ и считалъ своимъ другомъ и иначе не думалъ, какъ то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдругъ читаю—умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся, а потомъ стало ясно, какъ онъ мнѣ былъ дорогъ, и я плакалъ и теперь плачу. На дняхъ, до его смерти, я прочелъ „Униженные и Оскорбленные" и умилялся." А въ другомъ прежнемъ письмѣ: „На дняхъ я читалъ „Мертвый домъ". Я много забылъ, перечиталъ, и не знаю лучшей книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна: искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю" *). Тѣ сердечныя качества и та точка зрѣнія, на которыя указываетъ гр. Толстой, тѣсно связаны съ той господствующей идеей, которую Достоевскій носилъ въ себѣ цѣлую жизнь, хотя лишь подъ конецъ сталъ вполнѣ овладѣвать ею... По роду своей дѣятельности, принадлежа къ художникамъ романистамъ и уступая нѣкоторымъ изъ нихъ въ томъ или другомъ отношеніи, Достоевскій имѣетъ передъ ними всѣми то главное преимущество, что видитъ не только вокругъ себя, но и далеко впереди себя... Кромѣ Достоевскаго всѣ наши лучшіе романисты берутъ окружающую ихъ жизнь такъ, какъ они ее застали, какъ она сложилась и выразилась,—въ ея готовыхъ, твердыхъ и ясныхъ формахъ. Таковы въ особенности романы Гончарова и гр. Льва Толстого. Оба они воспроизводятъ русское общество, выработанное вѣками (помѣщиковъ, чиновниковъ и иногда крестьянъ) въ его бытовыхъ, давно существующихъ, а частію отжившихъ или отживающихъ формахъ. Романы этихъ двухъ писателей рѣшительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенности ихъ талантовъ. Отличительная особенность Гончарова—это сила художественнаго обобщенія, благодаря ко-

*) Въ I томѣ Собр. соч. Достоевскаго, приложенія, стр. 69 и 67.

торой онъ могъ создать такой всероссійскій типъ, какъ Обломова, равнаго которому *по широтѣ* мы не находимъ ни у одного изъ русскихъ писателей *).– Что же касается до Л. Толстого, то всѣ его произведенія отличаются не столько широтой типовъ (ни одинъ изъ его героевъ не сталъ нарицательнымъ именемъ), сколько мастерствомъ въ детальной живописи, яркимъ изображеніемъ всякихъ подробностей въ жизни человѣка и природы, главная же его сила въ тончайшемъ воспроизведеніи *механизма душевныхъ явленій*. Но и эта живопись внѣшнихъ подробностей, и этотъ психологическій анализъ являются на неизмѣнномъ фонѣ готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской дворянской семьи, оттѣняемой еще болѣе неподвижными образами изъ простого люда. Солдатъ Каратаевъ слишкомъ смиренъ, чтобы заслонять собою господъ, и даже всемірно-историческая фигура Наполеона не можетъ раздвинуть этого тѣснаго горизонта: владыка Европы показывается лишь на столько, на сколько соприкасается съ жизнью русскаго барина; а это соприкосновеніе можетъ ограничиваться очень немногимъ, напримѣръ, знаменитымъ умываньемъ, въ которомъ Наполеонъ графа Толстого достойно соперничаетъ съ гоголевскимъ генераломъ Бетрищевымъ.—Въ этомъ неподвижномъ мірѣ все ясно и опредѣленно, все установилось; если есть желаніе чего-то другого, стремленіе выйти изъ этихъ рамокъ, то это стремленіе обращено не впередъ, а назадъ, къ еще болѣе простой и неизмѣнной жизни,—къ жизни природы („Казаки", „Три смерти").

Совершенно противоположный характеръ представляетъ художественный міръ Достоевскаго. Здѣсь все въ броженіи, ничего не установилось, все еще только становится. Предметъ романа здѣсь не *бытъ* общества, а общественное *движеніе*. Изо всѣхъ нашихъ замѣчательныхъ романистовъ одинъ Достоевскій взялъ общественное движеніе за главный предметъ своего творчества. Обыкновенно съ нимъ сопоставляютъ въ этомъ отношеніи Тургенева, но безъ достаточнаго основанія. Чтобы характеризовать общее значеніе писателя, надо брать его лучшія, а не худшія произведенія. Лучшія же

*) Въ сравненіи съ Обломовымъ Фамусовы, Молчалины, Онѣгины и Пѣчорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островскаго, все имѣютъ лишь *спеціальное* значеніе.

произведенія Тургенева въ особенности „Записки Охотника“ и „Дворянское Гнѣздо“ представляютъ чудесныя картины не какъ общественнаго движенія, а лишь общественнаго *состоянія*,—того же стараго дворянскаго міра, который мы находимъ у Гончарова и у Л. Толстого Хотя за тѣмъ Тургеневъ постоянно слѣдилъ за нашимъ общественнымъ движеніемъ и отчасти подчинялся его вліянію, но смыслъ этого движенія не былъ имъ угаданъ, и романъ, спеціально посвященный этому предмету („Новь“), оказался совершенно неудачнымъ *). Достоевскій не подчинялся вліянію господствующихъ кругомъ него настроеній, не слѣдовалъ покорно за фазисами общественнаго движенія, — онъ предугадывалъ повороты этого движенія и заранѣе *судилъ* ихъ. А судить онъ могъ по праву, ибо имѣлъ у себя мѣрило сужденія въ своей вѣрѣ, которая ставила его выше господствующихъ теченій, позволяла ему видѣть гораздо дальше этихъ теченій и не увлекаться ими. Въ силу своей вѣры Достоевскій вѣрно предугадывалъ высшую, далекую цѣль всего движенія, ясно видѣлъ его уклоненія отъ этой цѣли, по праву судилъ и справедливо осуждалъ ихъ. Это справедливое осужденіе относилось только къ невѣрнымъ путямъ и дурнымъ пріемамъ общественнаго движенія, а не къ самому движенію, необходимому и желанному: это осужденіе относилось къ низменному пониманію общественной правды, къ ложному общественному идеалу, а не къ исканію общественной правды, не къ стремленію осуществить общественный идеалъ. Этотъ послѣдній и для Достоевскаго былъ впереди: онъ вѣрилъ не въ прошедшее только, но и въ грядущее Царство Божіе, и понималъ необходимость труда и подвига для его осуществленія. Кто знаетъ истинную цѣль движенія, тотъ можетъ и долженъ судить уклоненія отъ нея. А Достоевскій тѣмъ болѣе имѣлъ на это право, что онъ самъ первоначально испыталъ тѣ уклоненія, самъ стоялъ на той невѣрной дорогѣ. Положительный религіозный идеалъ, такъ высоко поднявшій Достоевскаго надъ господствующими теченіями общественной мысли, этотъ положительный идеалъ не дался ему сразу, а былъ

*) Хотя Тургеневу принадлежитъ слово „нигилизмъ“, въ общеупотребительномъ его значеніи, но практическій смыслъ нигилистическаго движенія не былъ имъ угаданъ, и позднѣйшія его проявленія, далеко ушедшія отъ разговоровъ Базарова, были для автора „Отцовъ и Дѣтей“ тяжкою неожиданностью.

выстраданъ имъ въ тяжелой и долгой борьбѣ. Онъ судилъ о томъ, что зналъ, и судъ его былъ праведенъ. И чѣмъ яснѣе становилась для него высшая истина, тѣмъ рѣшительнѣе долженъ былъ онъ осуждать ложные пути общественнаго дѣйствія. Общій смыслъ всей дѣятельности Достоевскаго, или значеніе Достоевскаго, какъ общественнаго дѣятеля, состоитъ въ разрѣшеніи этого двойнаго вопроса: о высшемъ идеалѣ общества и о настоящемъ пути къ его достиженію... Законная причина соціальнаго движенія заключается въ противорѣчіи между нравственными требованіями личности и сложившимся строемъ общества. Отсюда началъ и Достоевскій, какъ описатель, толкователь и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельный участникъ новаго общественнаго движенія. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и въ самой безобидной формѣ, высказалось въ его первой повѣсти „Бѣдные Люди". Соціальный смыслъ этой повѣсти (къ которой примыкаетъ и позднѣйшій романъ „Униженные и Оскорбленные") сводится къ той старой и вѣчно новой истинѣ, что при существующемъ порядкѣ вещей *лучшіе* (нравственно) люди суть вмѣстѣ съ тѣмъ *худшіе* для общества, что имъ суждено быть блѣдными людьми, униженными и оскорбленными. *)

Еслибы соціальная неправда осталась для Достоевскаго только темой повѣсти или романа, то и онъ самъ остался бы только литераторомъ и не достигъ бы своего особаго значенія въ жизни русскаго общества. Но для Достоевскаго содержаніе его повѣсти было вмѣстѣ съ тѣмъ жизненной задачей... Онъ сразу поставилъ вопросъ на нравственную и практическую почву. Увидавъ и осудивъ то, что дѣлается на свѣтѣ, онъ спросилъ: что же должно сдѣлать? Прежде всего представилось простое и ясное рѣшеніе: лучшіе люди, видящіе на другихъ и на себѣ чувствующіе общественную неправду, должны, соединившись, возстать противъ нея и пересоздать общество по своему. Когда первая наивная попытка исполнить это рѣшеніе привела Достоевскаго къ эшафоту и на каторгу, онъ, какъ и его товарищи, сна-

*) Это та же самая тема, какъ въ „Les Miserables" Виктора Гюго: контрастъ между внутреннимъ нравственнымъ достоинствомъ человѣка и его соціальнымъ положеніемъ. Достоевскій очень высоко цѣнилъ этотъ романъ, и самъ подвергся нѣкоторому, хотя довольно поверхностному вліянію Виктора Гюго (склонность къ антитезамъ), Болѣе глубокое вліяніе, помимо Пушкина и Гоголя, оказали на него Диккенсъ и Жоржъ-Зандъ.

чала могъ видѣть въ такомъ исходѣ своихъ замысловъ только свою неудачу и чужое насиліе. Приговоръ, его постигшій, былъ суровъ. Но чувство обиды не помѣшало Достоевскому понять, что онъ былъ не правъ съ своимъ замысломъ соціальнаго переворота, который былъ нуженъ только ему съ товарищами... Вмѣсто злобы неудачнаго революціонера, Достоевскій вынесъ изъ каторги свѣтлый взглядъ нравственно-возрожденнаго человѣка. „Больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано", писалъ онъ. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновеніемъ съ народомъ, дала Достоевскому право на высокое мѣсто впереди нашего общественнаго движенія, не какъ служителю злобы дня, а какъ истинному двигателю общественной мысли. Положительный общественный идеалъ еще не былъ вполнѣ ясенъ уму Достоевскаго по возвращеніи изъ Сибири. Но три истины въ этомъ дѣлѣ были для него совершенно ясны: онъ понялъ прежде всего, что отдѣльныя лица, хотя бы и лучшіе люди, не имѣютъ права насиловать общество во имя своего личнаго превосходства; онъ понялъ также, что общественная правда не выдумывается отдѣльными умами, а коренится во всенародномъ чувствѣ, и, наконецъ, онъ понялъ, что эта правда имѣетъ значеніе религіозное и необходимо связана съ вѣрой Христовой, съ идеаломъ Христа. Въ сознаніи этихъ истинъ Достоевскій далеко опередилъ господствовавшее тогда направленіе общественной мысли, и благодаря этому могъ *предугадать* и указать, куда ведетъ это направленіе. Извѣстно, что романъ „Преступленіе и Наказаніе" написанъ какъ разъ передъ преступленіемъ Данилова *) и Каракозова, а романъ „Бѣсы"—передъ процессомъ Нечаевцевъ... Если мы хотимъ однимъ словомъ обозначить тотъ общественный идеалъ, къ которому пришелъ Достоевскій, то это слово будетъ не народъ, а *Церковь*. Мы вѣримъ въ Церковь, какъ въ мистическое тѣло Христово; мы знаемъ церковь такъ-же, какъ собраніе вѣрующихъ того или другого исповѣданія. Но что такое церковь, какъ общественный идеалъ? Достоевскій не имѣлъ никакихъ богословскихъ притязаній, а потому и мы не имѣемъ права искать у него какихъ-нибудь логическихъ опредѣленій церкви по суще-

*) Даниловъ—студентъ Московскаго университета, убившій и ограбившій ростовщика, имѣя при этомъ какіе-то особые планы.

столь же ясное и опредѣленное (хотя прямо противоположное), какъ и то требованіе, которое заявляется европейскимъ соціализмомъ. (Поэтому въ своемъ послѣднемъ дневникѣ Достоевскій и назвалъ народную вѣру въ церковь нашимъ русскимъ соціализмомъ). Европейскіе соціалисты требуютъ насильственнаго низведенія всѣхъ къ одному чисто-матеріальному уровню сытыхъ и самодовольныхъ рабочихъ, требуютъ низведенія государства и общества на степень простой экономической ассоціаціи. „Русскій соціализмъ", о которомъ говорилъ Достоевскій, напротивъ, *возвышаетъ* всѣхъ до нравственнаго уровня церкви, какъ духовнаго братства, хотя и съ сохраненіемъ внѣшняго неравенства соціальныхъ положеній, требуетъ одухотворенія всего государственнаго и общественнаго строя, чрезъ воплощеніе въ немъ истины и жизни Христовой. Церковь, какъ положительный общественный идеалъ, должна была явиться центральною идеей новаго романа или новаго ряда романовъ, изъ которыхъ написанъ только первый „Братья Карамазовы"*). Если этотъ общественный идеалъ Достоевскаго прямо противуположенъ идеалу тѣхъ современныхъ дѣятелей, которые изображены въ „Бѣсахъ", то точно также противуположны для нихъ и пути достиженія. Тамъ путь есть насиліе и убійство, здѣсь путь есть *нравственный подвигъ*, и притомъ двойной подвигъ, двойной актъ нравственнаго самоотреченія. Прежде всего требуется отъ личности, чтобы она отреклась отъ своего произвольнаго мнѣнія, отъ своей самодѣльной правды во имя общей всенародной вѣры и правды. Личность должна преклониться передъ народною вѣрой, но не потому что она народная, а потому что она истинная. А если такъ, то значитъ и народъ во имя этой истины, въ которую онъ вѣритъ, долженъ отречься и отрѣшиться отъ всего въ немъ самомъ, что не согласуется съ религіозною истиной. Обладаніе истиной не можетъ составлять привиллегіи народа, такъ-же какъ оно не можетъ быть привиллегіей отдѣльной личности. ству. Но проповѣдуя церковь, какъ общественный идеалъ, онъ выражалъ вполнѣ ясное и опредѣленное требованіе,

*) Главную мысль, а отчасти и планъ своего новаго произведенія Достоевскій передавалъ мнѣ въ краткихъ чертахъ лѣтомъ 1878 г. Тогда же (а не въ 1879 г., какъ сказано по ошибкѣ въ воспоминаніяхъ Н. Н. Страхова) мы ѣздили въ Оптину Пустынь.

Истина можетъ быть только *вселенскою*, и отъ народа требуется подвигъ служенія этой вселенской истинѣ, хотя бы, и даже *непремѣнно*, съ пожертвованіемъ своего національнаго эгоизма. И народъ долженъ оправдать себя передъ вселенской правдой, и народъ долженъ положить душу свою, если захочетъ спасти ее. Вселенская правда воплощается въ церкви. Окончательный идеалъ и цѣль не въ народности, которая сама по себѣ есть только служебная сила, а въ церкви, которая есть высшій предметъ служенія, требующій нравственнаго подвига не только отъ личности, но и отъ цѣлаго народа. И такъ—церковь, какъ положительный общественный идеалъ, какъ основа и цѣль всѣхъ нашихъ мыслей и дѣлъ, и всенародный подвигъ, какъ прямой путь для осуществленія этого идеала—вотъ послѣднее слово, до котораго дошелъ Достоевскій, и которое озарило всю его дѣятельность пророческимъ свѣтомъ.

Вл. Соловьевъ.

* * *

*) При концѣ своей жизни Достоевскій прямо высказывался за формулу *искусства для искусства*, т. е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно также уже давно всѣ общественные идеалы онъ подчинилъ одному вѣковѣчному идеалу *Христа*. Съ Достоевскимъ случилось то же, что совершается вотъ уже болѣе столѣтія со всѣми нашими крупными писателями; всѣ они начали съ того, что увлекались *чужимъ*, и всѣ потомъ возвратились *къ своему*. Такъ было отчасти съ фонъ-Визинымъ и очень ясно съ Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ. Достоевскій въ этомъ отношеніи—новый соблазнъ нашимъ западникамъ, новый и огромный поводъ къ раздраженію противъ русской литературы. Эти внутренніе перевороты, совершающіеся у насъ съ лучшими душами, часто называютъ измѣной, отступничествомъ; но едва-ли на комъ такъ ясно можно видѣть, какъ на Достоевскомъ, что часто все дѣло тутъ только въ развитіи, въ раскрытіи задатковъ, лежавшихъ въ натурѣ человѣка, а не въ перемѣнѣ однѣхъ чужихъ мыслей на другія—

*) Н. Страховъ. „Біографія, письма“ и т. д. „Русь“ 1881 г., № 16.

чужія-же. Съ первой своей повѣсти и до конца Достоевскій остался однимъ и тѣмъ же; ему нельзя было измѣниться, потому что уже въ этомъ первомъ произведеніи вылилась его душа, сказался весь складъ его пониманія жизни. Отъ природы этой души зависѣло то, какія именно вліянія на нее дѣйствовали. И онъ нашелъ вокругъ себя вліянія, поставившія его на его прекрасный путь, на тотъ русскій и христіанскій путь, который возбудилъ такое широкое и глубокое сочувствіе. Двѣ главныя силы спасли его отъ всякихъ односторонностей и дали высокое и чистое направленіе его таланту: одна сила была русская литература, другая—русскій народъ, т. е. простой народъ... Пушкинъ и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замѣчательнымъ образомъ отразились уже въ первой повѣсти Достоевскаго, въ „Бѣдныхъ Людяхъ". Именно тутъ прямо и ясно выражено, что авторъ не вполнѣ доволенъ Гоголемъ и что прямымъ своимъ руководителемъ онъ признаетъ только Пушкина. Тутъ выведенъ на сцену чиновникъ, очень похожій на героя „Шинели" и „Записокъ Сумасшедшаго". Знакомая этого чиновника даетъ ему прочесть „Станціоннаго Смотрителя", тотъ очень хвалитъ повѣсть и очень жалѣетъ о бѣдномъ смотрителѣ. Потомъ та же знакомая посылаетъ Макару Дѣвушкину (такъ зовутъ героя „Бѣдныхъ Людей") „Шинель" Гоголя: Дѣвушкинъ обижается, узнавъ себя въ такомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою добрѣйшую знакомую, горюетъ, напивается пьянъ и подвергается всякимъ бѣдамъ и оскорбленіямъ. Такимъ образомъ безпощадная иронія Гоголя осуждена, какъ слишкомъ жестокое, сухое отношеніе къ людямъ. Еще болѣе она осуждается тѣмъ, какъ изображенъ самъ Дѣвушкинъ. Между тѣмъ, какъ у Гоголя выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макаръ Дѣвушкинъ, этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ и не догадывается. Между тѣмъ какъ никто въ мірѣ не пожелалъ бы быть Акакіемъ Акакіевичемъ или Поприщинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Дѣвушкина, всякій долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты. Таковъ былъ первый шагъ Достоевскаго. Это была смѣлая и рѣшительная поправка Гоголя, существенный, глу-

бокій переворотъ въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что поправка Гоголя была необходима*), что ее неминуемо должна была сдѣлать наша литература и дѣлаетъ ее до сихъ поръ, что въ извѣстномъ смыслѣ и всѣхъ другихъ нашихъ крупныхъ писателей, Островскаго, Л. Н. Толстого, можно считать поправкою Гоголя, можно въ этомъ видѣть главную ихъ оригинальность. Достоевскій началъ первый... Въ своей литературной дѣятельности Достоевскій проявилъ живучесть и энергію, какъ никто другой. У него были періоды ослабленія дѣятельности, какъ будто упадка; но потомъ онъ вдругъ подымался выше прежняго и показывался съ новой стороны. Такихъ подъемовъ можно насчитать четыре: первый—„Бѣдные Люди", второй— „Мертвый Домъ", третій—„Преступленіе и Наказаніе" и четвертый—„Дневникъ Писателя". Подъемы эти были поразительны для самыхъ близкихъ къ нему людей: въ немъ былъ настоящій запасъ силъ, что-то загадочное, не подчинявшееся обыкновенной постепенности развитія. Новые образы, новые планы романовъ, новыя задачи являлись у него безпрестанно, осаждали его. Это даже мѣшало ему работать, и иные изъ его романовъ составляютъ цѣлые клубки переплетшихся между собою темъ. Конечно, онъ написалъ только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ иногда въ себѣ многіе годы; нѣкоторые онъ разсказывалъ подробно и съ большимъ увлеченіемъ; а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ разработать, у него конца не было. И вотъ онъ неутомимо изображаетъ тѣ лица и картины, которыя составили его славу. Онъ рисуетъ чудесныя идилліи среди величайшей грязи; благородство, нѣжность, великодушіе въ пошлѣйшей обстановкѣ; онъ не дѣлаетъ своихъ лицъ, какъ Викторъ Гюго, театральными героями, не заставляетъ ихъ совершать чудесъ и подвиговъ; онъ твердо держится строгаго реализма, завѣщаннаго Гоголемъ, но въ величайшемъ безобразіи умѣетъ видѣть человѣческія черты. Онъ идетъ далѣе: онъ выводитъ передъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идіотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, и изображаетъ ихъ душевную жизнь съ удивительною точностію и объективностію,

*) Примѣчаніе, прибавленное въ „Руси": *„не поправка, а дополненіе"*, движеніе впередъ по открытому, намѣченному Гоголемъ пути. Мы предоставляемъ себѣ высказать когда нибудь свое слово о Гоголѣ. Ред.

но онъ, какъ Диккенсъ, признаетъ за всѣми ими человѣческія права; онъ не ставитъ ихъ въ положеніе не людей, такихъ существъ, которыя должны быть чужды нормальному человѣческому обществу: у него „Идіотъ“ выходитъ лучше самыхъ здравомыслящихъ людей. На этомъ пути Достоевскій шелъ очень далеко; страшно было видѣть, какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія (это его собственное слово). Но онъ выходитъ изъ нихъ невредимо, то есть не утрачивая мѣрила добра и зла, красоты и безобразія. О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Несмотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ (не въ цѣломъ, которое весьма было стройно и ясно, а въ частяхъ), несмотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія. Бредъ идіота и сумасшедшаго, муки преступника и самоубійцы, лихорадочные сны, галлюцинаціи—все было понятно и ясно. Читатель съ жадностію слѣдилъ за мыслями и чувствами лицъ, о которыхъ никогда не имѣлъ понятія, и съ изумленіемъ видѣлъ, какъ эти мысли и чувства отражаются въ его собственной душѣ. И такъ, страданія, отчаянія, преступленія, болѣзнь—вотъ постоянныя темы Достоевскаго. А въ чемъ же главное поученіе, какой выводъ? Неужели опять—уныніе и злоба? О нѣтъ, это ясно всѣмъ до очевидности. Надъ гробомъ покойнаго, на этомъ великомъ торжествѣ его похоронъ, великомъ по всей искренности, безпрерывно раздавались слова, сами собою приходившія на умъ, при воспоминаніи о его дѣятельности. Эти слова: *прощеніе*, *любовь*. Думаю, что это высшая честь изъ всѣхъ возданныхъ покойнику.

Идеалъ христіанина—вотъ та господствующая мысль, которую онъ такъ смѣло и горячо проповѣдывалъ въ своемъ „Дневникѣ“, которую прямо выразилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ и которая особенно ясно установилась въ его душѣ... Въ идеалѣ Христа онъ нашелъ такимъ образомъ оправданіе своей всегдашней любви къ простому русскому народу и нашелъ высшій смыслъ своего горячаго патріотизма. Любовь къ простому народу, къ *почвѣ*, какъ говоритъ Достоевскій,

есть знаменательное явленіе въ нашей литературѣ вообще; сознаніе духовной красоты и духовнаго здоровья, которыя народъ сохранилъ, а мы утратили, давно у насъ зародилось и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Достоевскій по всему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красотѣ, былъ всегда, какъ Пушкинъ, поклонникомъ простого народа. „Записки изъ Мертваго Дома", въ которомъ выведены съ такимъ сочувствіемъ народные типы, написаны раньше, чѣмъ онъ могъ назвать себя славянофиломъ, какъ называлъ въ послѣдніе годы. А еще раньше, до ссылки, написана повѣсть „Хозяйка", такъ разсердившая нашихъ западниковъ. Такому человѣку, конечно, долженъ былъ открыться и главный нервъ народной жизни, высокій идеалъ святости, подчиняющій себѣ весь нравственный складъ народа, дающій этому народу такую несокрушимую жизненность и крѣпость. Вотъ тотъ послѣдній и высшій авторитетъ, которому подчинился Достоевскій, вотъ самое важное изъ вліяній, имѣвшихъ на него дѣйствіе, вотъ окончательная дорога, къ которой пришло это развитіе... Это тотъ путь, по которому идутъ простыя души и къ которому, какъ мы видимъ, приходятъ и самыя одаренныя души, иногда долго блуждавшія по другимъ путямъ. Всѣ знаютъ уже, что идеалъ Христа сталъ высшимъ идеаломъ и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были тѣ же, какъ у Достоевскаго. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатіею своего великаго художественнаго чувства былъ направленъ и устремленъ къ народу, и долгое и любовное созерцаніе народа открыло ему идеалъ, которымъ живетъ народъ. Это совпаденіе съ Достоевскимъ было поразительно. Они не были знакомы другъ съ другомъ, но въ послѣднее время оба все собирались познакомиться... И такъ, въ любви къ народу, переходящей въ преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается дѣятельность двухъ нашихъ лучшихъ художниковъ слова. Отсюда намъ всего яснѣе открывается и смыслъ произведеній Достоевскаго. Кромѣ общей симпатіи ко всѣмъ „униженнымъ и оскорбленнымъ", у него, особенно во второй половинѣ дѣятельности, является опредѣленная задача—изобразить больныя стороны нашего общества, оторваннаго отъ народа. Онъ выводитъ намъ два ряда типовъ: „нигилистовъ", явившихся въ послѣдніе десятки лѣтъ, и предшествовавшихъ

имъ „людей сороковыхъ годовъ". Такъ и въ послѣднемъ романѣ драма идетъ между отцомъ Карамазовымъ, принадлежащимъ къ сороковымъ годамъ, и между его дѣтьми-нигилистами, Иваномъ и Смердяковымъ. И вотъ съ безподобною глубиною и тонкостью Достоевскій рисуетъ намъ извращеніе этихъ душъ, искаженіе ихъ нашимъ такъ называемымъ просвѣщеніемъ. И здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, наибольшая доля сочувствія принадлежитъ молодому поколѣнію, именно Ивану, въ которомъ изображена серьезная, искренняя преданность своимъ убѣжденіямъ, хотя и превратнымъ, увлеченіе, доходящее до поэзіи и граціозности. Нельзя не замѣтить, что меньше всего Достоевскій щадилъ людей сороковыхъ годовъ; ихъ онъ какъ будто уже не прощалъ и выставлялъ или рѣзко-комическими, какъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій въ „Бѣсахъ", или рѣзко-отвратительными, какъ живьемъ схваченная фигура Ѳедора Павловича Карамазова. Къ нигилистамъ же онъ отнесся, можно сказать, съ отеческою скорбью, съ отеческимъ состраданіемъ. Молодое поколѣніе мало-по-малу поняло, съ какимъ сердцемъ онъ къ нему обращался, и отвѣчало заявленіями своей любви. Но тутъ яснѣе, чѣмъ въ другихъ романахъ, Достоевскій поставилъ и положительную сторону дѣла. Не вся же Россія состоитъ изъ прогнившихъ западниковъ, какъ Ѳедоръ Павловичъ, и изъ безмѣрно-дерзкихъ умомъ нигилистовъ, какъ его сынъ Иванъ. Отцеубійство совершено несчастнымъ Смердяковымъ, грѣхъ котораго долженъ пасть и на его отца и на брата Ивана, сбившаго съ пути жалкое созданіе. Но кромѣ нихъ, есть еще Дмитрій Карамазовъ, ординарный русскій человѣкъ, грубый богатырь, въ которомъ много зла, но много и добра, и который отвѣчаетъ собою за чужія вины. Есть еще и задатки будущаго—благочестивый и чистый сердцемъ Алеша. Да и Иванъ, любимецъ автора, Иванъ, который въ душѣ, въ мысли, убилъ отца, какъ нигилисты въ мысли совершаютъ покушеніе на убійство нашего царства. Иванъ пораженъ своею совѣстью, какъ громомъ, и, если онъ выздоровѣетъ, онъ опомнится и станетъ другимъ человѣкомъ. Вотъ гдѣ намъ слѣдуетъ искать поученія...

Н. Страховъ.

* * *

Слѣдующая выдержка изъ критическаго очерка К. Леонтьева приводится нами въ виду той оригинальной точки зрѣнія, съ которой К. Леонтьевъ смотритъ на сущность христіанскихъ идей Достоевскаго. Критика К. Леонтьева, устанавливающая взглядъ на Достоевскаго, какъ на отступника (почти еретика) отъ господствующаго въ Россіи православно-христіанскаго ученія, сама по себѣ представляетъ фактъ, свидѣтельствующій о разнообразныхъ діаметрально противуположныхъ критическихъ взглядахъ на такое, повидимому, цѣльное, въ сферѣ своей дѣятельности и религіозныхъ идей, лицо, какъ Достоевскій.

*) „Мнѣнія Ѳ. М. Достоевскаго очень важны, не только потому, что онъ писатель даровитый, но еще болѣе потому, что онъ писатель весьма вліятельный и даже весьма *полезный*. Его искренность, его порывистый паосъ, полный доброты, цѣломудрія и честности, его частыя напоминанія о христіанствѣ—все это можетъ въ высшей степени благотворно дѣйствовать (*и дѣйствуетъ*) на читателей, особенно на молодыхъ *русскихъ* читателей. Мы не можемъ, конечно, счесть, сколькихъ юношей и сколько молодыхъ женщинъ онъ отклонилъ отъ сухой *политической злобы нигилизма*, и настроилъ ихъ умъ и сердце совсѣмъ иначе; но вѣрно, что такихъ очень много! Онъ какъ будто говоритъ имъ безпрестанно между строками, говоритъ отчасти и прямо самъ, повторяетъ устами своихъ дѣйствующихъ лицъ, изображаетъ драмой своей; онъ внушаетъ имъ: „не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственнаго сердца вашего; не раздражайтесь: *вы хороши и такъ, какъ есть*; старайтесь быть еще добрѣе; любите, прощайте, жалѣйте, вѣрьте въ Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будутъ хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станетъ несравненно сноснѣе, и самыя несправедливости и тягости этой гражданской жизни смягчатся подъ цѣлительнымъ вліяніемъ личной теплоты.“ Такое высокое настроеніе мысли, къ тому-же выражаемое почти всегда съ лиризмомъ глубокаго убѣжденія,—не можетъ не дѣйствовать на сердца. Въ этомъ отношеніи къ г. Достоевскому можно приложить одно названіе, вышедшее нынче

*) К. Леонтьевъ, „Наши новые христіане“ и проч...

почти изъ употребленія, — онъ замѣчательный *моралистъ*. Слово моралистъ идетъ къ роду его дѣятельности и къ характеру вліянія гораздо болѣе, чѣмъ названіе публицистъ, даже и тогда, когда онъ по способу изложенія является не повѣствователемъ, а мыслителемъ и наставникомъ, какъ, напр., въ своемъ восхитительномъ „Дневникѣ Писателя". Онъ занятъ гораздо болѣе *психическимъ строемъ лицъ*, чѣмъ *строемъ соціальнымъ*, которымъ всѣ нынче, къ сожалѣнію, такъ озабочены. Человѣчество XIX вѣка какъ будто-бы отчаялось совершенно въ личной проповѣди, въ морализаціи прямосердечной, возложило всѣ свои надежды на передѣлку обществъ, т. е. на нѣкоторую степень *принудительности* исправленія. *Обстоятельства*, давленіе закона, судовъ новыхъ, экономическихъ условій—принудятъ и пріучатъ людей стать лучше... „Христіанство доказало тщетными усиліями вѣковъ, что одна проповѣдь личнаго добра не можетъ исправить человѣчества и сдѣлать на землѣ жизнь покойной, и для всѣхъ равно справедливой и пріятной. Надо измѣнить условія самой жизни: — сердца *поневолѣ* привыкнутъ къ добру, когда зла *невозможно* будетъ сдѣлать". Вотъ та преобладающая мысль нашего вѣка, которая вездѣ слышится въ воздухѣ. Вѣрятъ въ *человѣчество*—въ *человѣка* не вѣрятъ больше. Г. Достоевскій, повидимому, одинъ изъ немногихъ мыслителей, не утратившихъ вѣру въ *самого человѣка*... Нельзя не согласиться, что въ этомъ направленіи много независимости, а привлекательности еще больше... Такимъ представляется дѣло, по сравненію съ одностороннимъ и сухимъ соціально-реформаторскимъ духомъ времени. Но то же самое представляется совершенно иначе по отношенію къ христіанству. Демократическій и либеральный прогрессъ вѣритъ больше въ исправность всецѣлаго человѣчества, чѣмъ въ нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору Карамазовыхъ, надѣятся, повидимому, больше на сердце человѣческое, чѣмъ на переустройство обществъ. *Христіанство-же не вѣритъ ни въ то ни въ другое, т. е. ни въ лучшую автономическую мораль лица ни въ разумъ собирательнаго человѣчества, долженствующій рано или поздно создать рай на землѣ.* Вотъ разница. Впрочемъ я, можетъ быть, дурно выразился словомъ: *разумъ*... Чистый *разумъ*, или наука, въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ, вѣроятно скоро откажется отъ такой

утилитарной и оптимистической тенденціозности, которая сквозитъ между строчками у большинства современныхъ ученыхъ, и, оставивъ это утѣшительное ребячество, обратится къ тому суровому и печальному пессимизму, къ тому мужественному примиренію съ неисправимостью земной жизни, которое говоритъ: „Терпите! Всѣмъ *лучше никогда не будетъ*. Однимъ будетъ лучше; другимъ станетъ хуже. Такое состояніе, такія колебанія горести и боли—вотъ единственно возможная на землѣ *гармонія!* И *больше ничего* не ждите. Помните и то, что всему бываетъ конецъ; даже скалы гранитныя вывѣтриваются, подмываются; даже исполинскія тѣла небесныя гибнутъ... Если же человѣчество есть явленіе живое и органическое, то тѣмъ болѣе ему долженъ настать *когда-нибудь конецъ*. А если будетъ *конецъ*, то какая нужда намъ такъ заботиться о благѣ будущихъ, далекихъ, вовсе даже *непонятныхъ* намъ поколѣній? *Какъ мы можемъ мечтать о благѣ правнуковъ, когда мы самое ближайшее къ намъ поколѣніе сыновъ и дочерей вразумить и успокоить не можемъ?* Какъ можемъ мы надѣяться на *всеобщую нравственную или практическую правду*, когда самая *теоретическая истина или разгадка* земной жизни до сихъ поръ скрыта для насъ за непроницаемой завѣсой; когда и великіе умы и цѣлыя націи постоянно ошибаются, разочаровываются и идутъ совсѣмъ не къ тѣмъ цѣлямъ, которыхъ они искали? Побѣдители впадаютъ почти всегда въ тѣ самыя ошибки, которыя сгубили побѣжденныхъ ими, и т. д... *Ничего нѣтъ вѣрнаго въ реальномъ мірѣ явленій*. Вѣрно только *одно*, *точно*—одно, одно только *несомнѣнно*:— *это то, что все должно погибнуть!* И потому на что эта забота о земномъ благѣ грядущихъ поколѣній? На что эти младенчески-болѣзненныя мечты и восторги! День нашъ—вѣкъ нашъ! И потому *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайшихъ дѣлахъ, о сердечно лишь ближнихъ людяхъ: именно о *ближнихъ*, а не о *всемъ человѣчествѣ*“. Вотъ та пессимистическая философія, которая должна рано или поздно, и вѣроятно послѣ цѣлаго ряда *ужасающихъ разочарованій* лечь въ основаніе будущей науки. Соціально-политическіе опыты ближайшаго грядущаго, которое, по всѣмъ вѣроятіямъ, неотвратимо—будутъ, конечно, первымъ и важнѣйшимъ камнемъ преткновенія для человѣческаго ума на ложномъ пути исканія общаго блага и гар-

монiи". Соцiализмъ, т. е. глубокiй и насильственный экономическiй и бытовой переворотъ, теперь видно неотвратимъ, по крайней мѣрѣ, *для нѣкоторой части человѣчества*. Но не говоря уже о томъ, сколько страданiй и обидъ его воцаренiе можетъ причинить побѣжденнымъ (т. е. представителямъ либерально-мѣщанской цивилизацiи), сами побѣдители, какъ-бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймутъ, что имъ далеко до благоденствiя и покоя. И *это* какъ *дважды два—четыре*, вотъ почему: эти будущiе побѣдители устроятся *или свободнѣе*, либеральнѣе *насъ, или напротивъ того*, законы и порядки ихъ будутъ несравненно стѣснительнѣе нашихъ, строже, принудительнѣе, даже *страшнѣе*. Въ послѣднемъ случаѣ, жизнь этихъ *новыхъ людей* должна быть гораздо тяжелѣе, болѣзненнѣе жизни хорошихъ, добросовѣстныхъ монаховъ въ строгихъ монастыряхъ, напримѣръ, на Аѳонѣ. А эта жизнь для знакомаго съ ней очень тяжела (хотя имѣетъ, разумѣется, и свои совсѣмъ *особыя* утѣшенiя). Постоянный тонкiй страхъ, постоянное неумолимое давленiе совѣсти, устава и воли начальствующихъ... Но у аѳонскаго киновiата есть одна твердая и ясная утѣшительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его изъ лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*. Будетъ ли эта мысль утѣшительна для людей предполагаемыхъ экономическихъ общежитiй? Этого мы не знаемъ. Если же та часть человѣчества, которая захочетъ испытать на себѣ *блаженство* (?) вовсе новыхъ, общественныхъ и экономическихъ условiй, устроится *свободнѣе* нашего, то она будетъ повержена въ состоянiе какъ бы признанной въ принципѣ и узаконенной анархiи, подобно южно-американскимъ республикамъ, или нѣкоторымъ городскимъ общинамъ древней Грецiи. Ибо соцiальный переворотъ не станетъ ждать личнаго воспитанiя, личной морализацiи всѣхъ членовъ будущаго государства, а захватитъ общество въ томъ видѣ, въ какомъ мы *его знаемъ теперь*. А въ этомъ видѣ, кажется, очень еще далеко до безстрастiя, до незлобiя, до общей любви и до правды, не закономъ навязанной, но бьющей теплымъ ключомъ прямо изъ облагороженной души!!... Пусть бы хоть въ этой передовой странѣ, во Францiи, коммунисты подождали бы усиливаться до тѣхъ поръ, пока всѣ французы не станутъ хоть такими добрыми, умными и благородными, какъ герой Жоржъ-

Санда. Однако, они этого ждать не хотятъ!... И такъ, испытавши все возможное, *даже и горечь соціалистическаго устройства*, передовое человѣчество должно будетъ неизбѣжно впасть въ глубочайшее разочарованіе; политическое же состояніе обществъ всегда отзывается и на высшей философіи, и на общемъ, полусознательномъ, въ воздухѣ бродящемъ міросозерцаніи; а философія высшая и философія инстинкта равно отзываются, рано или поздно, на самой наукѣ. Наука, поэтому, должна будетъ неизбѣжно принять тогда болѣе унылый, болѣе разочарованный, пессимистическій, какъ я сказалъ, *характеръ*. И *вотъ гдѣ ея примиреніе съ положительной религіей*; вотъ гдѣ ея теоретическій тріумфъ: въ сознаніи своего практическаго безсилія, въ мужественномъ покаяніи и смиреніи передъ могуществомъ и правотою сердечной мистики и вѣры. *Вотъ о чемъ намъ, славянамъ, не мѣшало бы позаботиться!* Это не противорѣчитъ прогрессу; напротивъ, если понимать прогрессъ мысли не въ духѣ непремѣнно пріятно-эгалитарномъ и любезно-демократическомъ, а въ значеніи *усовершенствованія* самой только *мысли*, то такое строгое и безстрашное отношеніе науки къ жизни земной должно быть признано за огромный шагъ впередъ... „Ищите утѣшенія въ чемъ хотите; я Бога не навязываю вамъ, это не мое дѣло; я только говорю вамъ: не ищите утѣшенія въ моихъ прежнихъ благотворительныхъ претензіяхъ, столь глупо волновавшихъ прошедшій XIX-й вѣкъ. Я могу помогать вамъ только палліативно.“ Вотъ что бы должна говорить наука. Вѣрно понятый, не обманывающій себя неосновательными надеждами реализмъ, долженъ, рано или поздно, отказаться отъ мечты о благоденствіи земномъ и отъ исканія идеала нравственной правды въ нѣдрахъ самого человѣчества. Положительная религія точно также въ это благоденствіе и въ эту правду не вѣритъ. Любовь, прощеніе обидъ, правда, великодушіе были и останутся навсегда только коррективами жизни, палліативными средствами, елеемъ на неизбѣжныя и даже *полезныя* намъ язвы. Никогда любовь и правда не будутъ воздухомъ, которымъ бы тогда дышали, почти не замѣчая его... Именно, почти не замѣчая! Эд. Гартманъ справедливо говоритъ: „если бы идеальная цѣль (т. е. благоденствіе), преслѣдуемая прогрессомъ, когда бы то ни было осуществилась, то человѣчество достигло бы до степени *нуля*

или *полнаго равнодушія* ко всѣмъ отраслямъ своей дѣятельности. Но идеалъ останется всегда идеаломъ: человѣчество можетъ приближаться къ нему, никогда до него не достигая. Поэтому человѣчество не дойдетъ никогда до того состоянія *высокаго равнодушія*, къ которому оно постоянно стремится; оно вѣчно пребудетъ въ состояніи страданія еще болѣе низкаго порядка... (т. е. чѣмъ это высокое равнодушіе)...“ Развѣ такое тихое равнодушіе есть счастіе? Это не счастіе, а какой-то тихій упадокъ всѣхъ чувствъ, какъ скорбныхъ такъ и радостныхъ. Я увѣренъ, что человѣкъ, столь сильно чувствующій и столь *сердечно мыслящій*, какъ Ѳ. М. Достоевскій, говоря о „зданіи человѣческаго счастія“, о „всечеловѣческомъ братскомъ единеніи“, объ „окончательномъ словѣ великой, общей гармоніи“ и т. д., имѣетъ въ виду нѣчто болѣе горячее и привлекательное, чѣмъ та кроткая, душевная „Нирвана“, на которую указывалъ Гартманъ. А горячее самоотверженное, и нравственное, и привлекательное обусловливается непремѣнно болѣе или менѣе сильнымъ и нестерпимымъ трагизмомъ жизни... Доказательства этому можно найти во множествѣ въ романахъ самого г. Достоевскаго. Возьмемъ „Преступленіе и Наказаніе“. Вспомнимъ потрясающее, глубокое впечатлѣніе, производимое изображеніемъ бѣднаго семейства Мармеладовыхъ. Нищета, пьяный, ни на что уже негодный отецъ, мать тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но въ сердцѣ честная и до наивности прямая страдалица; дѣвушка, кроткая, милая, *торгующая и торгующая собой для пропитанія семьи!*... И когда эти люди проявляютъ, при всемъ этомъ, высокія качества души своей, глубоко потрясенной, читатель тотчасъ-же понимаетъ, что эта теплота, эта „психичность“, этотъ родъ нравственнаго лиризма возможенъ именно при тѣхъ только буднично-трагическихъ условіяхъ, которыя избраны авторомъ. То же самое можно найти въ изобиліи и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Мы найдемъ это въ домѣ бѣднаго капитана, въ исторіи несчастнаго Илюши и его любимой собаки; мы найдемъ это въ самой завязкѣ драмы; читатель, уже и теперь вникая въ неоконченный романъ, догадывается, что Дмитрій Карамазовъ не виновенъ въ убійствѣ отца и пострадаетъ, вѣроятно, напрасно. И если догадки читателя справедливы, то онъ имѣетъ право ожидать впереди картинъ, исполненныхъ высокаго

благородства и лиризма. Уже одно появленіе слѣдователей и первые допросы производятъ нѣчто подобное; они даютъ тотчасъ-же дѣйствующимъ лицамъ случай обнаружить побужденія высшаго нравственнаго порядка; такъ, напр., лукавая, разгульная и даже нерѣдко жестокая Груша, только при допросѣ, въ первый разъ чувствуетъ, что она этого Дмитрія истинно любитъ, и готова раздѣлить его горе и предстоящія, вѣроятно, ему карательныя невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступленія, ревность, зависть, угнетенія, доброта, прощеніе, отдыхъ сердца, порывы и подвиги самоотверженія, простота и веселость сердца! Вотъ *жизнь*, вотъ единственно возможная „на этой землѣ и подъ этимъ небомъ" *гармонія*. Гармоническій законъ *вознагражденія*—и *больше ничего*. Поэтическое, живое согласованіе свѣтлыхъ цвѣтовъ съ темными—и *больше ничего!* Въ высшей степени цѣльная полутрагическая, полу-ясная опера, въ которой грозные и печальные звуки чередуются съ нѣжными и трогательными—и *больше ничего!* Мы не знаемъ, что будетъ на *той новой землѣ и на томъ новомъ небѣ*, которыя обѣщаны намъ Спасителемъ и Учениками его, по уничтоженіи *этой* земли со всѣми человѣческими *дѣлами ея*; *но на землѣ, теперь намъ извѣстной, и подъ небомъ, теперь намъ знакомымъ*, всѣ хорошія наши чувства и поступки: любовь, милосердіе, справедливость и т. д. являются и *должны являться всегда* лишь тѣмъ *коррективомъ* жизни, тѣмъ *палліативнымъ лѣченіемъ язвъ*, о которыхъ я упоминалъ выше. Теплота необходима для организма, но ни единственнымъ матеріаломъ ни единственной зиждущей силой для организма она быть не можетъ. Нужны твердыя, извнѣ *стѣсненныя* формы, по которымъ эта теплота можетъ разливаться, не *видоизмѣняя ихъ даже и временно-слишкомъ глубоко*, а только дѣлая эти твердыя формы полнѣе и пріятнѣе. Такъ говоритъ *реальный опытъ вѣковъ*, т. е. почти наука, вѣковой эмпиризмъ, не нашедшій себѣ еще математически-раціональнаго объясненія, — но и безъ него трезвому уму весьма ясный. Также точно говоритъ Церковь. Такъ говорятъ Апостолы, такъ пророчитъ Евангеліе. „Будутъ разбойники, будутъ Іуды; будутъ Іроды и равнодушные Пилаты!" и „*подъ конецъ*" не только не настанетъ всемірнаго братства, но именно *тогда-то оскудѣетъ любовь, когда будетъ проповѣдано Евангеліе во всѣхъ концахъ земли!* И когда эта

проповѣдь достигнетъ, такъ сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщенія, и когда *при оскудѣніи*, даже и той *любви* неполной, палліативной, которая здѣсь возможна и дѣйствительна, люди станутъ вѣрить безумно въ „миръ и спокойствіе",—*тогда-то и постигнетъ ихъ пагуба... „и не избѣгнутъ!"*... А пока? Пока „блаженны миротворцы", ибо неизбѣжны распри... „Блаженны алчущіе и жаждущіе правды".. ибо *правды здѣсь не будетъ*. Иначе зачѣмъ-же алкать и жаждать? Сытый не алчетъ. Упоенный не жаждетъ. „Блаженны милостивые", ибо всегда будетъ кого миловать: „униженныхъ и оскорбленныхъ" кѣмъ-нибудь (*тоже людьми*), богатыхъ или бѣдныхъ, нищихъ, собственныхъ оскорбителей, наконецъ! Такъ говоритъ церковь, совпадая съ *реализмомъ*, съ грубымъ и печальнымъ, но глубокимъ опытомъ вѣковъ. Такъ, повидимому, еще думалъ и самъ г. Достоевскій, когда писалъ о „Мертвомъ Домѣ" и создавалъ высокое и прекрасное, въ своей болѣзненной истинѣ, произведеніе „Преступленіе и Наказаніе". Онъ тогда какъ будто хотѣлъ *только усилить* теплоту любви своимъ потрясающимъ вліяніемъ; онъ не мечталъ еще, повидимому, въ то время о невозможной реально, о *чуть не еретической церковно-кристаллизаціи* этой теплоты— въ формѣ зданія всечеловѣческой жизни. Въ „Бѣсахъ" новая ступень его направленія стала замѣтнѣе. „Бѣсы" разложенія, бѣсы смутъ, злобы, междоусобицы выйдутъ изъ *русскихъ людей*, и Россія, какъ излѣченный бѣсноватый, „сядетъ у ногъ Христа"... Тутъ еще не совсѣмъ было понятно, что „Христосъ" значитъ почти то же, что *земный эвдемонизмъ*, только *нѣсколько аскетическаго характера*. Это было еще очень правильно и безусловно полезно, хотя и допускало въ скептическомъ умѣ сомнѣнія... Сомнѣнія не въ ученіи Христа и Церкви (избави Боже!), а весьма позволительное въ наше время сомнѣніе въ *великомъ и достойномъ будущемъ Россіи*!... Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" ученіе этого *земного эвдемонизма* съ христіанскимъ оттѣнкомъ, стало еще опредѣленнѣе. Хорошіе монахи въ этомъ романѣ говорятъ не совсѣмъ то, и даже пожалуй и вовсе не то, что говорятъ обо *всемъ этомъ въ дѣйствительности тоже очень хорошіе монахи и на Аѳонѣ и у насъ!—и русскіе, и греческіе, и болгарскіе монахи*. И наконецъ, въ рѣчи на праздникѣ Пушкина, ученіе выяснилось вполнѣ: стало ясно, что и г. Достоевскій,

подобно великому множеству *европейцевъ* и русскихъ *всечеловѣковъ*, вѣритъ въ мирную и кроткую будущность Европы, радуется тому, что намъ, русскимъ, быть можетъ и скоро, придется утонуть и расплыться безслѣдно въ безличномъ океанѣ космополитизма. *Именно безслѣдно!* Ибо что мы принесемъ на этотъ (по моему, скучный до отвращенія) миръ *всемірнаго*, однообразнаго братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожій слѣдъ оставимъ мы въ средѣ этихъ *смышныхъ людей грядущаго*... „Толпой"... если не всегда угрюмою... то скоро позабытой"...

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда...

Было нашей націи поручено одно великое сокровище— строгое и неуклонное церковное Православіе; но наши лучшіе умы не хотятъ просто „смириться" передъ нимъ, передъ его *„исключительностью"* и передъ его *кажущейся сухостью*, которой всегда вѣетъ на романтически воспитанныя души отъ всего установившагося, правильнаго и твердаго... Они *предпочитаютъ* „смиряться" передъ ученіями антинаціональнаго эвдемонизма, въ которыхъ по отношенію къ Европѣ даже и новаго нѣтъ ничего. Всѣ эти надежды на земную любовь и на миръ земной можно найти и въ пѣсняхъ Беранже, и еще больше у Ж. Санда... и у многихъ другихъ. И не только имя Божіе, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западѣ по этому поводу не разъ. Слишкомъ *розовый* оттѣнокъ, вносимый въ христіанство г. Достоевскимъ, есть *новшество* по отношенію къ Церкви, отъ человѣчества ничего особенно благотворнаго въ будущемъ не ждущей; но этотъ оттѣнокъ не имѣетъ въ себѣ ничего ни особенно русскаго ни особенно новаго по отношенію къ преобладающей европейской мысли XVIII и XIX вѣковъ. Пока г. Достоевскій въ своихъ романахъ говоритъ образами, то, несмотря на нѣкоторую личную субъективность всѣхъ этихъ образовъ, видно, что художникъ вполнѣ и болѣе многихъ изъ насъ— *русскій человѣкъ*. Но выдѣленная, извлеченная изъ этихъ русскихъ образовъ, изъ этихъ русскихъ обстоятельствъ, чистая мысль оказывается, какъ почти у всѣхъ лучшихъ писателей нашихъ, вполнѣ европейскою по идеямъ и даже по происхо-

жденію своему. *Именно мыслей*-то мы и *не бросаемъ до сихъ поръ вѣкамъ*!... И размышляя объ этомъ печальномъ свойствѣ нашемъ, конечно, легко повѣрить, что мы скоро расплывемся безслѣдно *во всемъ и во всѣхъ!* Быть можетъ, это такъ и нужно; но чему-же тутъ радоваться? Не могу понять!... Не умѣю!...

О воцареніи „правды" и „благоденствія" на землѣ я не буду здѣсь много говорить, потому что по этому вопросу всѣ люди, мнѣ кажется, раздѣляются очень просто—на расположенныхъ этому идеалу вѣрить и на пожимающихъ только плечами при подобной мысли, противной одинаково и *реальнымъ законамъ природы и всѣмъ главнымъ и вліятельнымъ изъ извѣстныхъ намъ положительныхъ религій*... Въ глазахъ реалиста, т. е. человѣка, не имѣющаго права дѣлать предсказанія безъ предыдущихъ, даже и приблизительныхъ примѣровъ, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективнаго постояннаго удовольствія, не согласуется ни съ психологіей, ни съ соціологіей, ни съ историческимъ опытомъ. Въ глазахъ христіанина подобная мечта противорѣчитъ *прямому* и очень *ясному* пророчеству Евангелія объ ухудшеніи человѣческихъ отношеній *подъ конецъ свѣта*. Братство, *по возможности* и гуманность, дѣйствительно, рекомендуются Св. Писаніемъ Новаго Завѣта, *для загробнаго спасенія личной души;* но въ Св. Писаніи *нигдѣ не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гуманности до мира и благоденствія. — Христосъ намъ этого не обѣщалъ... Это неправда!* Христосъ приказываетъ или совѣтуетъ всѣмъ любить ближнихъ *во имя Бога;* но съ другой стороны, Онъ же пророчествуетъ, что Его многіе не послушаютъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ гуманность ново-европейская и гуманность христіанская являются несомнѣнно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или примиримыми *эстетически*, только въ области поэзіи, какъ *жизненной*, такъ и *художественной*, т. е. въ смыслѣ *увлекательной* и *многосложной борьбы*). Удивляться этому или ужасаться такой мысли не слѣдуетъ. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея *простая*; христіанство есть представленіе *сложное*. Въ христіанствѣ между *многими другими* сторонами есть и гуманность или любовь къ человѣчеству „о Христѣ", т. е. не изъ насъ прямо истекающая, а *Христомъ даруемая и Христа за ближнимъ*

провидящая. Отъ Христа,—и для Христа. Гуманность же простая, „автономическая", шагъ за шагомъ, мысль за мыслью, можетъ вести къ тому сухому и самоувѣренному утилитаризму, къ тому эпидемическому умопомѣшательству нашего времени, которое можно птихіатрически назвать mania democratica progressiva. Все дѣло въ томъ, что мы претендуемъ, *сами по себѣ,* безъ помощи Божіей, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнѣе, быть полезными,—ибо, я говорю ошибочнѣе, доброту еще свою, порывы искренней любви и милосердія человѣкъ не можетъ не чувствовать; это *фактъ невольнаго сознанія.* Но какъ быть увѣреннымъ *въ пользѣ* не только всѣмъ, но и многимъ? Спасая одного, я, можетъ быть, врежу кому-нибудь другому. Христіанство миритъ это легко именно тѣмъ, что, съ одной стороны, не вѣритъ въ прочность добродѣтелей нашихъ, а съ другой, долгое благоденствіе и покой души считаетъ вреднымъ. Оскорбителю оно говоритъ: „Кайся; ты согрѣшилъ". Оскорбленному внушаетъ:—„Эта обида тебѣ полезна; рукой неправеднаго человѣка наказалъ тебя Богъ; прости человѣку и кайся передъ Богомъ". Горе, страданіе, разореніе, обиду—христіанство зоветъ даже иногда—*посѣщеніемъ Божіимъ.* А гуманность простая хочетъ стереть съ лица земли эти *полезныя* намъ обиды, разоренія и горести... Въ этомъ отношеніи христіанство и гуманность можно уподобить двумъ сильнымъ поѣздамъ желѣзной дороги, вышедшимъ сначала изъ одного пункта, но которые, вслѣдствіе постепеннаго уклоненія путей, должны не только удариться другъ объ друга, но даже и прійти въ сокрушающее столкновеніе *). Во всѣхъ катехизисахъ, правда, говорится о любви къ людямъ. Но во всѣхъ же катехизисахъ и въ подобныхъ имъ книгахъ мы найдемъ также, что *начало премудрости* (т. е. религіозной и *истекающей изъ нея* житейской премудрости) есть страхъ Божій, простой, *очень простой страхъ,* и загробной муки и другихъ наказаній, въ формѣ земныхъ истязаній, горестей и бѣдъ. Отчего-же г. Достоевскій не говоритъ *прямо* объ этомъ *страхѣ?* Не потому-ли, что *идея любви привлекательнѣе?* Любовь краситъ человѣка, а страхъ

*) Уподобленіе это принадлежитъ не мнѣ; но оно такъ прекрасно, что я хотѣлъ непремѣнно воспользоваться имъ. Оно принадлежитъ Прево-Парадоню, застрѣлившемуся въ Америкѣ. Онъ прилагалъ его къ Франціи и Германіи еще до войны 1870 года и предсказывалъ пораженіе своей отчизны.

унижаетъ. Но, во-первыхъ, передъ христіанскимъ ученіемъ добровольное униженіе о Господѣ (т. е. то самое „смиреніе, которое такъ уважаетъ и г. Достоевскій) лучше и *вѣрнѣе для спасенія души*, чѣмъ эта гордая и невозможная претензія ежечастнаго незлобія и ежеминутной *елейности*. Многіе праведники предпочитали удаленіе въ пустыню *дѣятельной* любви; тамъ *они молились Богу сперва* за свою душу, а *потомъ* за другихъ людей; многіе изъ нихъ это дѣлали потому, что очень правильно не надѣялись на себя и находили, что покаяніе и молитва, т. е. *страхъ и своего рода униженіе*—вѣрнѣе, чѣмъ претензія *мірского незлобія* и чѣмъ *сама увѣренность дѣятельной любви* въ многолюдномъ обществѣ. Даже въ монашескихъ общежитіяхъ опытные старцы не очень-то позволяютъ увлекаться дѣятельною и горячею любовью, а прежде всего учатъ *послушанію, приниженію пассивному, прощенію обидъ*... И это все считается до невѣроятности труднымъ: въ особенности для тѣхъ людей, которые воображаютъ себя уже „смиренными“ и въ „міру“, собственными усиліями, для монастыря подготовленными. Случаями поразительнаго паденія этихъ духовныхъ Икаровъ, нерѣдко весьма искреннихъ и благородныхъ, наполнена исторія монашества отъ начала его и до нашего времени. Да, прежде всего *страхъ*, потомъ „смиреніе“, или прежде всего *смиреніе ума*, презрительно относящагося не къ себѣ только одному, но и ко всѣмъ другимъ, даже и геніальнымъ человѣческимъ умамъ, безпрестанно ошибающимся.

Такое смиреніе, шагъ за шагомъ, ведетъ къ вѣрѣ и страху предъ именемъ Божіимъ, къ *послушанію*, *ученію* Церкви, этого Бога намъ поясняющей. А *любовь—уже* послѣ. Любовь кроткая, себѣ самому пріятная, другимъ отрадная, всепрощающая—это плодъ, вѣнецъ, это или награда за вѣру и страхъ, или особый даръ благодати, *натуръ* сообщенный, или случайными и счастливыми условіями воспитанія укрѣпленный... Христосъ познается не иначе какъ *черезъ Церковь*: *любите прежде всего Церковь*. Въ рѣчи г. Достоевскаго Христосъ, повидимому, до того помимо Церкви доступенъ всякому изъ насъ, что мы считаемъ себя въ правѣ, даже не справясь съ азбукой катехизиса, т. е. съ самыми *существенными* положеніями и *безусловными* требованіями православнаго ученія, приписывать Спасителю никогда не высказанныя обѣщанія

„всеобщаго братства народовъ“, повсемѣстнаго мира и гармоніи“. Любя Церковь, знаешь чѣмъ, такъ сказать, „угодить“ ей. Но какъ угодить человѣчеству... когда входящіе въ составъ его милліоны людей между собою не только несогласны, но даже и *несогласимы* во вѣки!... Эта любовь гораздо осязательнѣе и понятнѣе, чѣмъ любовь *ко всему человѣчеству*,— ибо отъ насъ зависитъ узнать: чего хочетъ и что требуетъ отъ насъ эта Церковь. Но чего завтра пожелаетъ не только все человѣчество, но хоть бы наша Россія, утрачивающая на нашихъ глазахъ даже прославленный иностранцами государственный инстинктъ свой,—этого мы понять не можемъ навѣрно. У Церкви есть *свои незыблемыя правила* и есть *внѣшнія формы*, тоже свои собственныя, особыя, ясныя, видимыя. У русскаго общества нѣтъ теперь ни своихъ правилъ ни *своихъ* формъ!... *Любить Церковь*—это такъ понятно! Любить же *современную* Европу, такъ жестоко преслѣдующую даже у себя Римскую Церковь, Церковь все-таки великую и Апостольскую, несморя на глубокія *догматическія заблужденія свои*—это просто *грѣхъ*!“ *).

К. Леонтьевъ.

* * *

Еще считаемъ нелишеннымъ интереса научно-спеціальный разборъ литературной дѣятельности Достоевскаго докторомъ В. Ѳ. Чижомъ,—разборъ, разъясняющій ту сторону художественной дѣятельности писателя, въ силу которой и критика и публика считаютъ его великимъ мастеромъ въ области изображенія аномальныхъ душевныхъ явленій. Ограничиваясь слѣдующей сравнительно небольшой выдержкой изъ довольно обширнаго изслѣдованія г. Чижа, выражающей только общій взглядъ спеціалиста на извѣстную сторону дѣятельности Достоевскаго, мы отсылаемъ интересующихся разборомъ, въ его частностяхъ, къ подлиннику, помѣщенному на страницахъ „Русскаго Вѣстника“.

---

*) См. „Замѣтку въ защиту Достоевскаго отъ обвиненія въ „новомъ“ христіанствѣ“, приложенную къ брошюрѣ: „Три рѣчи въ память Достоевскаго“ Владимира Соловьева.

Прим. В. Зелинскаго.

*) „Достоевскій описалъ большее количество душевно-больныхъ, чѣмъ какой-либо другой художникъ въ мірѣ; ни у кого другого такъ часто не фигурируютъ въ произведеніяхъ душевнобольные, какъ абсолютно, такъ и относительно. Во всей русской художественной литературѣ, конечно, нельзя насчитать ихъ столько, какъ у одного Достоевскаго. Вотъ этотъ длинный списокъ: Голядкинъ (*Двойникъ*), Прохарчинъ (*Господинъ Прохарчинъ*), Ордыновъ, Муринъ, Катерина (*Хозяйка*), Аркадій Ѳедоровичъ (*Слабое сердце*), Емелюшка (*Честный воръ*), Авторъ (*Бѣлыя ночи*), Ефимовъ (*Неточка Незванова*), Князь К. (*Дядюшкинъ сонъ*), Вельчаниновъ (*Вѣчный мужъ*), Князь Вадбольскій, Нелли (*Униженные и Оскорбленные*), Раскольниковъ, его мать, Свидригайловъ, Мармеладовъ (*Преступленіе и Наказаніе*), Мышкинъ, Иволгинъ, Лебедевъ (*Идіотъ*), Лебядкинъ, его сестра, Лембке, Кирилловъ (*Бѣсы*), Старикъ Сокольскій, молодой Сокольскій, Оля (*Подростокъ*), Дмитрій, Иванъ, Алексѣй Карамазовы, Смердяковъ, отецъ Ферапонтъ, Лиза Хохлакова (*Братья Карамазовы*)... У Достоевскаго болѣе четверти фигуръ—душевно-больные; такого отношенія нельзя найти ни у кого, кромѣ Достоевскаго. Очевидно, что Достоевскій съ особенною настойчивостью стремился именно къ изображенію душевно-больныхъ, а не избѣгалъ этого, какъ другіе романисты. Художникъ, желающій изобразить жизнь возможно полнѣе, не можетъ обойти и помѣшательства, имѣющаго нѣкоторое мѣсто въ жизни: на тысячу душевно-здоровыхъ приходится четверо душевно-больныхъ; и понятно, что въ той безконечной галлереѣ лицъ, которыхъ выводитъ передъ нами Шекспиръ, должны быть душевно-больные, иначе картина жизни была бы неполна. Въ русской литературѣ можно указать только на одно дѣйствительно правдивое описаніе душевно-больного, это въ романѣ „*Война и Миръ*“ старый князь Болконскій; Толстой въ высшей степени вѣрно отмѣтилъ всѣ важныя симптомы старческаго слабоумія — болѣзни, которою страдалъ Болконскій подъ конецъ жизни. *Записки Сумасшедшаго* доказываютъ, что Гоголь не зналъ душевныхъ болѣзней или по крайней мѣрѣ имѣлъ лишь весьма неясное понятіе о томъ,

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6. „Достоевскій какъ психопатологъ“ В. О. Чижа. Есть и отдѣльное изданіе.

какъ люди сходятъ съ ума. Болѣе охотно художники изображаютъ отдѣльные симптомы душевныхъ болѣзней для достиженія извѣстныхъ спеціальныхъ цѣлей, напримѣръ, внезапное помѣшательство въ драмахъ усиливаетъ сценическій эффектъ и т. п. Что авторы чаще изображаютъ только отдѣльные болѣзненные симптомы, или вводятъ помѣшательство только анекдотически, это, конечно, легко объясняется какъ малымъ ихъ знакомствомъ съ предметомъ, такъ и тѣмъ, что гораздо труднѣе дать въ общемъ планѣ разсказа опредѣленное мѣсто помѣшанному, дѣйствія котораго, а тѣмъ болѣе ихъ мотивы, не всегда понятны не только профанамъ, но и психіатрамъ, и только великимъ знатокамъ человѣческой души удается совладать съ такою задачей. И относительно русской литературы мнѣніе Крафта-Эбинга остается вѣрнымъ: „изображеніе помѣшанныхъ въ поэтическихъ произведеніяхъ большею частію невѣрно или по малой мѣрѣ односторонне". Даже описанія отдѣльныхъ припадковъ душевной болѣзни свидѣтельствуютъ или о полномъ незнаніи авторами предмета, или же представляютъ поверхностный очеркъ самыхъ внѣшнихъ, бьющихъ въ глаза, проявленій душевной болѣзни, почему нисколько не интересны для психіатра и даютъ публикѣ ложныя, или крайне смутныя свѣдѣнія о помѣшательствѣ. Между тѣмъ очевидно, что есть область доступная и для художниковъ: это нерѣдко выраженныя формы помѣшательства, начальныя его фазы, словомъ, состоянія, ускользающія обыкновенно у психіатровъ, потому что такихъ больныхъ окружающіе часто считаютъ здоровыми; вотъ описанія такихъ субъектовъ и, такъ сказать, ихъ исторіи болѣзни были бы драгоцѣннымъ матеріаломъ для психіатріи. Но очевидно, что наблюденіе и описаніе душевно-больныхъ очень трудно, если даже романисты, считающіеся хорошими наблюдателями, или избѣгаютъ этой темы, или даютъ крайне поверхностное, а по большей части даже невѣрное описаніе. И только психіатры, благодаря тому, что геніальные учители ихъ: Pinel, Esquirol, Guislain, Griesinger и др. научили *какъ* наблюдать, *на что* обращать вниманіе, *чего* искать при изслѣдованіи, могутъ оріентироваться въ такомъ сложномъ явленіи, какъ душевная болѣзнь.

Достоевскій какъ въ русской, такъ и во всемірной литературѣ представляетъ исключеніе не только по количеству

сдѣланныхъ имъ наблюденій, но и по вѣрности и точности описанія, достойныхъ лучшаго естествоиспытателя (что я постараюсь доказать), и наконецъ по глубинѣ пониманія предмета, возбуждающей изумленіе. Собраніе сочиненій Достоевскаго—это почти полная психопатологія; тамъ можно найти изложеніе всего существеннаго этой науки: многое, очень многое, если не все извѣстное въ психіатріи, можно изучить въ произведеніяхъ Достоевскаго, такъ что въ этомъ отношеніи они имѣютъ важное дидактическое значеніе... Въ публикѣ, даже между врачами-неспеціалистами, весьма прочно установилось убѣжденіе, что заболѣваніе душевными болѣзнями обусловливается какою-нибудь одною причиной, преимущественно нравственнымъ потрясеніемъ: неудачная любовь, разореніе, смерть близкихъ людей и т. п. Этотъ взглядъ раздѣляется безусловно всѣми художниками, даже у Шекспира люди Мадбетъ сходитъ съ ума вслѣдствіе нравственнаго потрясенія—угрызенія совѣсти. Одинъ Достоевскій избѣжалъ этой ошибки, и пониманіе имъ причины душевныхъ болѣзней совершенно тождественно съ современнымъ ученіемъ психопатологіи. Какъ безспорный фактъ, нужно считать то, что въ каждомъ случаѣ помѣшательства дѣйствуетъ цѣлая совокупность причинъ, и сравнительно ничтожную между ними роль играютъ нравственныя причины; это повидимому хорошо было извѣстно Достоевскому, по крайней мѣрѣ, онъ всегда указываетъ на этотъ фактъ, если говоритъ о причинѣ помѣшательства своихъ героевъ. Но самая существенная, въ высокой степени преобладающая надо всѣми остальными, причина есть наслѣдственность. Ученіе о наслѣдственности, какъ о причинѣ душевныхъ болѣзней, составляетъ самое крупное пріобрѣтеніе психіатріи за послѣднія тридцать лѣтъ, такъ какъ оно имѣетъ крупное значеніе не только для медицины, но и для антропологіи, соціологіи и исторіи. Способность психопатическихъ расположеній и вообще страданій нервной системы передаваться наслѣдственно хотя была извѣстна еще Гиппократу, но только въ недавнее время выяснено, что, исключая бугорчатки, ни въ одной патологической области наслѣдственность не имѣетъ такого выдающагося значенія, какъ въ душевныхъ болѣзняхъ. Наслѣдственность выражается тѣмъ, что отъ психически-больныхъ отца или матери родятся дѣти или уже отъ рожденія психически-

больныя (Елизавета Смердящая—идіотка, Смердяковъ—эпилептикъ), или совершается только наслѣдственная передача одного предрасположенія къ заболѣванію душевною болѣзнію (мать Ивана Карамазова была истерическая женщина). Пьянство родителей должно быть также включено въ рядъ наслѣдственно предрасполагающихъ моментовъ; статистика убѣждаетъ насъ, что, въ общей суммѣ случаевъ помѣшательства, пьянство родителей одна изъ самыхъ частыхъ причинъ. Докторъ Клеркъ, при изслѣдованіи причинъ эпилепсіи между арестантами Уэкфильдской тюрьмы, нашелъ, что у 68% отцы были пьяницы. Этотъ фактъ отмѣченъ Достоевскимъ вполнѣ обстоятельно; просто удивительно, насколько выводы медицинской статистики и клиническаго опыта согласны съ тѣмъ, какъ жизнь представлена Достоевскимъ. Отецъ Елизаветы Илья былъ пьяница. Дѣти Карамазова—расположенные къ душевнымъ болѣзнямъ люди (*Братья Карамазовы*). Отецъ Алеши и Нелли, князь Вадбольскій (*Униженные и Оскорбленные*)—пьяница, и особенно важно, что князь, вообще умѣвшій владѣть собой, напивался только на ночь, обстоятельство нерѣдко бывающее; часто врачъ, удивленный появленіемъ цѣлаго ряда случаевъ заболѣванія въ семьѣ, мать и отецъ которой повидимому трезвые люди, только случайно узнаетъ, что кто-либо изъ родителей (всего чаще отецъ) имѣетъ пагубную привычку напиваться пьянымъ на ночь. Такъ что не только глубокій алкоголизмъ, то-есть пьянство, разрушившее физическое и психическое здоровье родителей, но и опьяненіе на ночь, даже не доведшее организмъ до болѣзни, обусловливаетъ рожденіе психически-больныхъ дѣтей. Достоевскій также зналъ, что душевная болѣзнь и алкоголизмъ частію бываютъ достояніемъ одной семьи. Лебядкинъ пьяница, его сестра помѣшаная (*Бѣсы*). Насколько сильно вліяніе пьянства родителей на физическое и психическое здоровье дѣтей, можетъ служить примѣромъ исторія одной семьи, приводимая Lambroso въ его сочиненіи *Genio et follia* (1882 г.): въ потомствѣ одного пьяницы было 200 воровъ и разбойниковъ, 90 проститокъ, 30 умерло въ дѣтскомъ возрастѣ и 260 было хилыхъ, слѣпыхъ, чахоточныхъ и т. п. Наконецъ, порочный образъ жизни родителей также нерѣдко является предрасполагающимъ моментомъ къ наслѣдственному помѣшательству (Карамазовъ и его дѣти). Морель, которому мы обязаны самыми талант-

ливыми изслѣдованіями о наслѣдственности въ этіологіи душевныхъ болѣзней, утверждаетъ, что преступный образъ жизни самъ по себѣ располагаетъ къ заболѣванію психозами нисходящее поколѣніе. Оставляя въ сторонѣ какъ теоретическія психологическія разсужденія о томъ, что порочность составляетъ выраженіе нѣкоторыхъ особенностей психической организаціи, такъ и изслѣдованія нѣкоторыхъ ученыхъ (Lambroso и др.), старавшихся доказать, что преступники обладаютъ особою, sui generis, болѣзненною организаціей мозга, упомяну только о томъ, что довольно обратить вниманіе на тѣ истощающія условія (безсонныя ночи, пьянство, половыя излишества и т. п.), и постоянные нравственные угнетающіе моменты (смѣна сильныхъ страстей, угрызенія совѣсти, страхъ и т. п.), чтобы понять, что вся эта сумма условій вполнѣ достаточна, чтобы дѣйствовать, какъ важный, въ этіологическомъ отношеніи, моментъ. Кромѣ того, доказано предрасполагающее къ помѣшательству вліяніе патологическихъ характеровъ; такъ у нѣкоторыхъ сумасбродныхъ головъ, чудаковъ, нерѣдко дѣти страдаютъ нервными и душевными болѣзнями (у г-жи Хохлаковой, женщины съ страннымъ характеромъ, дочь страдаетъ истерикой. *Братья Карамазовы*). Но есть ли какой-нибудь законъ относительно передачи психопатической конституціи со стороны отца и со стороны матери, и извѣстенъ ли онъ былъ Достоевскому? Да; и психіатры и Достоевскій даютъ и на этотъ вопросъ одинаковый отвѣтъ. Конечно, наиболѣе сильно расположены къ заболѣванію тѣ несчастныя дѣти, у которыхъ наслѣдственность была и со стороны отца и со стороны матери (Смердяковъ былъ болѣе своихъ братьевъ пораженъ недугомъ). При наслѣдственномъ расположеніи со стороны одного изъ родителей наблюдается чаще всего перекрестная наслѣдственность, т. е. у душевно больныхъ отца—дочь, у матери—сынъ страдаютъ психозомъ. Отецъ Елизаветы Илья пьяница, сынъ Елизаветы эпилептикъ (*Братья Карамазовы*). Мать Раскольникова окончила жизнь душевно-больной (*Преступленіе и Наказаніе*). Но если унаслѣдовано только расположеніе къ заболѣванію, то появленіе болѣзни обыкновенно заставляетъ себя ждать до тѣхъ поръ, пока другія неблагопріятныя условія, часто сравнительно ничтожныя, окончательно уже сламываютъ унаслѣдованную болѣзненную организацію. Среди другихъ причинъ душевной

болѣзни самыми существенными должны считаться вообще всѣ условія, какъ физическія, такъ и нравственныя, влекущія за собой истощеніе нервной системы. Таковы—пьянство, во-первыхъ, потому что алкоголь нервный ядъ, производящій матеріальныя измѣненія въ головномъ мозгу; во-вторыхъ, потому что пьянство обыкновенно соединено съ неправильнымъ образомъ жизни. Достоевскій неоднократно описывалъ, какъ гибельно вліяетъ оно на психическое здоровье. Къ той же категоріи должно отнести половыя излишества. Условія статьи не позволяютъ здѣсь указать, какое значеніе имѣютъ эти эксцессы, какъ причина душевныхъ болѣзней. Но какъ Достоевскій, такъ и психіатры должны бываютъ иногда указать на это излишество, какъ на одинъ изъ этіологическихъ моментовъ. Легочная чахотка, какъ болѣзнь хроническая, влекущая за собой сильное истощеніе нервныхъ центровъ, такъ же какъ и продолжительное голоданіе, не рѣдко бываютъ одною изъ причинъ психопатическаго состоянія. (Раскольниковъ, Катерина Ивановна Мармеладова въ *Преступленіи и Наказаніи*). Душевныя волненія несомнѣнно могутъ служить толчкомъ къ проявленію душевной болѣзни. То сильное вліяніе, которое оказываютъ аффекты на кровообращеніе и двигательные нервы (блѣдность и оцѣпенѣніе) до извѣстной степени указываетъ намъ, какъ сильно могутъ отражаться глубокія душевныя волненія на различныхъ мозговыхъ отправленіяхъ. Но отсюда до помѣшательства еще далеко. Вѣдь несчастія приходится переносить всякому, съ горя же заболѣваютъ душевною болѣзнью, даже и по мнѣнію публики, лишь немногіе. Конечно, есть случаи, когда вслѣдъ за сильнымъ испугомъ почти тотчасъ-же развивается психическое разстройство, но это бываетъ крайне рѣдко. У субъектовъ, заболѣвающихъ психозами послѣ нравственныхъ потрясеній, обыкновенно бываетъ уже значительное предрасположеніе къ заболѣванію (невропатическая конституція, большею частію наслѣдственная). Достоевскій, описывая, какъ Аркаша (*Слабое сердце*) заболѣлъ помѣшательствомъ послѣ нравственнаго потрясенія, указалъ на то, что Аркаша обладалъ невропатическою организаціей; если бы не было указано на это обстоятельство, то разсказъ *Слабое сердце*, можетъ быть и замѣчательный въ художественномъ отношеніи, служилъ бы доказательствомъ, что авторъ не глубоко наблюдалъ жизнь и имѣлъ столь же поверхностныя

свѣдѣнія о душевныхъ болѣзняхъ, какъ и другіе художники. Но Достоевскій и въ этомъ небольшомъ разсказѣ (слѣдовательно, дающемъ право пропустить подробности) не забылъ упомянуть, что Аркаша обладалъ невропатическою конституціей, слѣдовательно считалъ это обстоятельство важнымъ, что безспорно доказываетъ, какъ вѣрно и глубоко онъ понималъ этіологію душевныхъ болѣзней. Наблюденіе учитъ, что къ помѣшательству ведутъ только угнетающаго свойства душевныя волненія: горе, усиленныя занятія, недостиженіе извѣстныхъ нравственныхъ стремленій, удары наносимые честолюбіемъ и т. п. (Аркаша, *Слабое сердце;* Голядкинъ, *Двойникъ;* Иванъ Карамазовъ, *Братья Карамазовы* и т. д.). Къ этой-же категоріи причинъ должно отнести и тюремное заключеніе. Статистика учитъ, что у лицъ, содержащихся въ тюрьмѣ, помѣшательство наблюдается весьма часто (2%—3%). Причина этого та, что у многихъ преступниковъ есть наслѣдственное предрасположеніе къ помѣшательству, ихъ прежній образъ жизни, угрызенія совѣсти, страхъ и т. д. Все это вполнѣ обстоятельно указано Достоевскимъ въ сравнительно бѣглой характеристикѣ молодого Сокольскаго (*Подростокъ*), помѣшавшагося въ тюрьмѣ. — Благодаря своему генію, Достоевскій далеко опередилъ науку: въ *Мертвомъ Домѣ* онъ говорилъ, что одиночное заключеніе должно убійственно дѣйствовать на психическое здоровье арестантовъ; увлеченіе системой одиночнаго заключенія было еще недавно такъ сильно, что до послѣдняго времени никто не высказывался согласно съ Достоевскимъ. Но такъ какъ истина въ концѣ концовъ всегда обнаружится, то уже начали раздаваться пока одинокіе и слабые голоса. Гангенъ, директоръ образцовой одиночной тюрьмы въ Даніи, на тюремномъ конгрессѣ въ Стокгольмѣ въ 1878 году доказалъ цифрами, что процентъ заболѣваемости арестантовъ вообще увеличивается съ возрастаніемъ срока пребываній въ одиночномъ заключеніи. Такъ между заключенными на два года въ этой тюрьмѣ заболѣло психическимъ разстройствомъ 5%, на три года 14% на $3^1/_2$ года 17%. La fille Elisa, романъ Гонкура, пропагандируетъ ту же идею. У насъ въ Россіи еще нѣтъ опыта, по крайней мѣрѣ en grand, чтобъ имѣть цифры, но нельзя не согласиться съ авторитетнымъ мнѣніемъ профессора И. П. Мержеевскаго, указывавшаго въ своихъ лекціяхъ и бесѣдахъ,

что мы, Славяне, вслѣдствіе извѣстныхъ особенностей своего характера, еще меньше способны безъ вреда для здоровья выносить одиночное заключеніе. На сколько важна степень культуры для опредѣленія вліянія одиночнаго заключенія, понятно каждому образованному человѣку. Оцѣнивъ все это, остается только удивиться, какъ вѣрно понялъ Достоевскій вредъ одиночнаго заключенія для русскаго преступника. У женщинъ поводомъ къ психическому заболѣванію могутъ быть грубыя оскорбленія женской стыдливости (Оля. *Подростокъ*).

И такъ, причины душевныхъ болѣзней совершенно правильно поняты Достоевскимъ; мало того, онѣ указаны почти всѣ, по крайней мѣрѣ указаны всѣ типическія причины и едва ли можно что-либо прибавить, кромѣ подробностей черезчуръ спеціальнаго характера, къ перечисленному выше. Кромѣ того, Достоевскій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ указывалъ на нѣсколько причинъ: напримѣръ, помѣшательство у Раскольникова было обусловлено наслѣдственнымъ расположеніемъ, психическимъ характеромъ, голоданіемъ, неудовлетвореніемъ нравственныхъ стремленій, истощеніемъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій, испугомъ и т. п".

В. Чижъ.

* * *

*) Просматривая факты жизни Достоевскаго, просматривая массу его писемъ, прежде всего невольно поражаешься именно великой нравственной силой покойнаго писателя, благодаря которой онъ, при всѣхъ страшныхъ и неотлучныхъ бѣдствіяхъ своей жизни, при всѣхъ суровыхъ условіяхъ борьбы за существованіе, могъ сохранить и развить до такой полноты свой удивительный талантъ, могъ создать такую массу крупныхъ произведеній. Я не знаю въ нашей литературѣ другого характера, болѣе мощнаго и крѣпкаго, болѣе упорнаго въ борьбѣ съ жизненными невзгодами, болѣе бодраго и неутомимаго въ служеніи дѣлу литературнаго творчества. При тѣхъ невозможныхъ условіяхъ, которыми сопровождалась писательская дѣятельность Достоевскаго, почти съ самаго ея

*) В. Буренинъ. Выдержка изъ статьи: „Біографія и письма Достоевскаго". Критическіе этюды В. Буренина. СПБ. 1888 г.

Какъ эта, такъ и слѣдующая за нею критическая статья (Д. Мережковскаго) не были помѣщены въ предыдущихъ изданіяхъ настоящей книги

Прим. В. Зелинскаго.

начала и до конца его жизненнаго поприща, всякій другой, менѣе сильный талантъ и менѣе сильный характеръ не только изнемогъ бы до послѣдней степени, но и окончательно бы палъ, окончательно погибъ, не успѣвши совершить и сотой доли того, что далъ намъ этотъ истинный мученикъ нужды и мысли. Картина его постоянныхъ, непрерывныхъ жизненныхъ терзаній и его постоянной, непрерывной нравственной энергіи, раскрывающаяся передъ читателями въ его біографіи и его письмахъ—это одна изъ самыхъ прискорбныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ ободряющихъ, одна изъ самыхъ мучительныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ отрадныхъ картинъ. Это поучительная картина борьбы человѣческаго духа съ матеріальными угнетеніями, поучительная картина торжества души и мысли, побѣды ихъ надъ повседневною мелочностью разъѣдающей житейской нужды; это поучительная картина великой преданности идеалу искусства, не уступающей никакимъ жизненнымъ ударамъ, какъ бы они ни были многочисленны и горьки. Тотъ, кто, разсматривая эту картину, предстающую съ такой ужасающей рельефностью въ многочисленныхъ письмахъ покойнаго, не находитъ въ ней ничего, кромѣ „антипатичныхъ“ чертъ для характеристики ея героя, кромѣ упрековъ ему въ мелочной слабости души,—тотъ самъ мелокъ душою, тотъ самъ никогда не боролся во имя идеала, тотъ самъ никогда не раумѣлъ ни скорби мукъ этой борьбы ни отрады ея побѣдъ...

О дѣтскихъ и отроческихъ годахъ Достоевскаго изъ біографическихъ матеріаловъ, собранныхъ г. Миллеромъ, мы узнаемъ немногое. Но, вообще говоря, изъ тѣхъ данныхъ, которыя имѣются до сихъ поръ, можно вывести такое заключеніе: разсвѣтъ его жизни если и не былъ особенно лучезаренъ, то, во всякомъ случаѣ, и не особенно печаленъ. Онъ родился въ небогатой семьѣ—отецъ его былъ докторомъ въ одной изъ московскихъ больницъ — воспитывался и обучался на незначительныя средства, но, кажется, довольно заботливо и тщательно. Однако, уже съ первыхъ лѣтъ юности, Достоевскій начинаетъ ощущать тяжелый гнетъ нужды, какъ это видно изъ его писемъ къ отцу и брату, писанныхъ въ то время, когда онъ переселился въ Петербургъ и поступилъ въ инженерное училище. „Неужели вы,—пишетъ семнадцатилѣтній Достоевскій отцу,—можете думать, что сынъ вашъ,

прося отъ васъ денежной помощи, проситъ у васъ лишняго?.. Будь я на волѣ... отданъ самому себѣ, я бы не потребовалъ у васъ ни копейки, я обжился бы съ желѣзной нуждою... Теперь я вамъ высказываю себя одними обѣщаніями въ будущемъ. Но это будущее недалеко, и вы меня современемъ увидите. Теперь же вспомните, что я *служу* въ полномъ смыслѣ слова. Лагерная жизнь каждаго воспитанника требуетъ, по крайней мѣрѣ, 40 руб. денегъ". За этимъ юноша сообщаетъ отцу разсчетъ самому необходимому и дѣлаетъ очень характерное прибавленіе: „уважая вашу нужду, не буду пить чай". Въ другомъ письмѣ къ брату онъ такъ иллюстрируетъ свои бѣдствія: „Ты жалуешься на бѣдность — нечего сказать, и я небогатъ. Вѣришь ли, что я во время выступленья изъ лагерей не имѣлъ ни копейки денегъ; заболѣлъ дорогой отъ простуды (дождь лилъ цѣлый день, а мы были открыты) и отъ голода, и я не имѣлъ ни гроша, чтобы смочить горло глоткомъ чаю". Къ началу того періода жизни Достоевскаго, когда онъ выступилъ на литературное поприще романомъ „Бѣдные люди", средства его нѣсколько улучшились: онъ получалъ послѣ отца, въ это время умершаго, небольшіе доходы съ наслѣдственнаго имѣнія, получалъ маленькое жалованье въ качествѣ инженернаго офицера и наконецъ заработывалъ кой-что переводами по преимуществу французскихъ романовъ. Но, къ сожалѣнію, въ эти годы— годы опрометчивой и склонной къ увлеченіямъ юности—Достоевскій, какъ видно, не умѣлъ справляться съ тѣмъ малымъ достаткомъ, какой выпалъ ему на долю, и его жизнь проходила, такъ сказать, въ періодическихъ приливахъ и отливахъ благосостоянія: то онъ тратилъ вдругъ значительныя суммы, то не имѣлъ почти куска хлѣба. Въ концѣ концовъ, благодаря порывистости своей натуры и малой склонности къ выдержанной умѣренности и аккуратности, онъ запутался въ разныхъ долгахъ до того, что боялся попасть въ тюрьму. Выражая это печальное опасеніе, онъ въ письмѣ къ брату иронизируетъ надъ своимъ положеніемъ такимъ образомъ: „Хлестаковъ соглашается идти въ тюрьму только *благороднымъ* образомъ; ну, а если у меня штановъ не будетъ, будетъ ли это благороднымъ образомъ?" Въ такихъ печальныхъ условіяхъ Достоевскій доканчивалъ и обработывалъ свой романъ съ величайшимъ стараніемъ, какъ это видно

изъ его писемъ. Несмотря на всѣ требованія вопіющей нужды, онъ не отдалъ „Бѣдныхъ людей“ въ печать до тѣхъ поръ, пока не довелъ до возможной степени совершенства свое произведеніе. Первое время послѣ появленія романа и его огромнаго успѣха было едва ли не самымъ свѣтлымъ временемъ всей жизни Достоевскаго. Въ письмахъ къ брату, относящихся къ этому періоду, у Достоевскаго звучитъ восторженный, заносчивый тонъ: видно, что у юноши (Достоевскому было двадцать три года, когда онъ написалъ „Бѣдныхъ людей“) порядочно закружилась голова. Строгіе либеральные и даже не либеральные критики ставятъ въ упрекъ Достоевскому эти письма, не стѣсняясь намекаютъ, что онъ является въ нихъ хвастуномъ, чуть ли не во вкусѣ Хлестакова, что онъ выказываетъ самое непріятное самолюбіе. Я бы, однако, желалъ поставить господъ критиковъ, расточающихъ подобные упреки, на мѣстѣ двадцатитрехлѣтняго юноши, который весь былъ преданъ первому дѣтищу своего творчества, вложилъ въ него всю свою душу, обработывалъ и лелѣялъ съ величайшей любовью, потратилъ на него много дней и ночей самаго упорнаго труда, возлагалъ на него самыя живыя надежды: посмотрѣть бы тогда, закружилась ли бы у нихъ голова или нѣтъ отъ огромнаго, шумнаго успѣха перваго ихъ произведенія. Можетъ быть, ихъ умѣренныя и аккуратныя души и спокойно серьезные умы неспособны къ такому судорожному захлебыванію своимъ успѣхомъ, къ такому возбужденію; можетъ быть, они всегда во всемъ удерживались и удерживаются въ предѣлахъ солиднаго благоразумія; но вѣдь зато же они никогда и не производили и никогда не произведутъ ничего похожаго на то, что производятъ художники, подобные Достоевскому, художники съ нервной энергіей и возбужденностью, доходящей въ высшемъ напряженіи почти до болѣзненной впечатлительности. Разумѣется, съ точки зрѣнія солидной душевной уравновѣшенности и мелкой журнальной придирчивости можно издѣваться и глумиться сколько угодно надъ даровитымъ юношей, который въ чаду своего перваго литературнаго успѣха пишетъ такія строки: „ну, братъ, никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такой апогеи, какъ теперь. Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездной народа самаго порядочнаго. Князь Одоев-

скій проситъ меня осчастливить своимъ посѣщеніемъ, а графъ С. рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія: Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. С. обѣгалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: „кто этотъ Достоевскій? Гдѣ мнѣ *достать Достоевскаго?*“ Краевскій, который никому въ усъ не дуетъ и рѣжетъ всѣхъ напропалую, отвѣчаетъ ему, что Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести осчастливить васъ своимъ посѣщеніемъ. Оно и дѣйствительно такъ: аристократишка теперь становится на ходули и думаетъ, что уничтожитъ меня величіемъ своей ласки. Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ дѣлать“. Да, пожалуй, это все смѣшно покажется для людей, „нѣсколько беззаботныхъ насчетъ литературы“. Но для тѣхъ, кто уважаетъ ея крупныхъ талантовъ, для тѣхъ, кто знаетъ, какими муками они стяжаютъ у насъ свою славу, свой успѣхъ, для тѣхъ въ наивно-заносчивыхъ строкахъ даровитаго юноши, выбившагося сразу на дорогу своего призванія и впослѣдствіи встрѣтившаго на ней такъ много терній, не заключается не только ничего смѣшного и хвастливаго, но много даже трогательнаго. Еслибы этотъ юноша, начавшій свое поприще съ такимъ успѣхомъ и съ такою заносчивою вѣрой въ свое дарованіе, не оправдалъ впослѣдствіи произведеніями огромной художественной силы и огромнаго общественнаго значенія свое гордое самомнѣніе, то и тогда ему нельзя бы поставить въ вину его увлеченія своимъ первымъ успѣхомъ. Но вѣдь онъ потомъ всею жизнью и длиннымъ рядомъ крупныхъ творческихъ работъ показалъ, что онъ недаромъ „возмнилъ“ о себѣ. Чего же ради господа критики прозрѣваютъ хлестаковскіе порывы въ его искреннемъ душевномъ упоеніи отъ восторженнаго сознанія, что онъ призванный дѣятель въ области творческаго искусства?

* * *

Яркій лучъ, озарившій молодого Достоевскаго при началѣ его литературной карьеры, былъ краткимъ, почти мгновеннымъ просвѣтомъ въ его жизни. За этимъ просвѣтомъ очень скоро настала долгая ночь страшнаго испытанія каторги,

потомъ печальныя, тоскливыя сумерки бѣдственнаго существованія, нужды изо дня въ день, нужды до того тяжелой и горькой, что, читая искренніе и простодушные вопли о ней въ письмахъ Достоевскаго, невольно вчужѣ сжимается сердце. Только на нашей почвѣ, только при условіяхъ русской жизни возможно такое долгое, безпрерывное, мучительное томленіе въ нуждѣ писателя, который по размѣрамъ своего дарованія, по великой энергіи труда долженъ бы былъ пользоваться самымъ обезпеченнымъ благосостояніемъ. Только русская энергія и русская способность могли довольствоваться малыми матеріальными благами и забывать свои жизненныя невзгоды въ виду великаго душевнаго дѣла, какимъ считалъ Достоевскій свой творческій трудъ, — только эта энергія и эта способность могли выдержать рядъ ударовъ и угнетеній судьбы, выпавшій на долю покойнаго въ продолженіе многихъ лѣтъ. Какой человѣкъ не ожесточился бы, не сокрушился бы духомъ, встрѣтивъ на зарѣ своей молодости такой ударъ, какъ ссылка на каторгу, ссылка не за дѣйствительныя преступленія и замыслы, а просто за извѣстный образъ мыслей. А Достоевскаго этотъ ужасный ударъ не только не заставилъ впасть въ безнадежность, а напротивъ, какъ будто разбудилъ въ немъ ту великую силу нравственной выносливости, которою потомъ онъ отличался всю жизнь и благодаря которой онъ могъ въ самыхъ невозможныхъ условіяхъ создавать свои наиболѣе крупныя произведенія. Онъ самъ съ необыкновенной искренностью и простотой разсказываетъ, какъ энергически и стойко онъ встрѣтилъ неожиданную кару, обрушившуюся на него: „Мы, петрашевцы, пишетъ онъ въ своемъ „Дневникѣ“, — стояли на эшафотѣ и выслушивали нашъ приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія. Безъ сомнѣнія, я не могу свидѣтельствовать обо всѣхъ, но думаю, что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если не всякій, то, по крайней мѣрѣ, чрезвычайное большинство изъ насъ почло бы за безчестіе отрекаться отъ своихъ убѣжденій... Приговоръ къ смертной казни разстрѣляніемъ, прочтенный намъ всѣмъ предварительно, прочтенъ былъ вовсе не въ шутку; почти всѣ приговоренные были увѣрены, что онъ будетъ исполненъ и вынесли по крайней мѣрѣ десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданія смерти. Въ эти послѣднія минуты нѣкоторые изъ насъ (я знаю положительно),

инстинктивно углубляясь въ себя и провѣряя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, можетъ быть, и раскаявались въ иныхъ житейскихъ дѣлахъ своихъ (изъ тѣхъ, которыя у каждаго человѣка всю жизнь лежатъ въ тайнѣ на совѣсти); но то дѣло, за которое насъ осудили, тѣ мысли, тѣ понятія, которыя владѣли нашимъ духомъ, — представлялись намъ не только не требующими раскаянія, но даже чѣмъ то насъ очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое намъ простится". Въ этомъ твердомъ сознаніи правоты и правдивости своихъ убѣжденій, неспособномъ поколебаться въ виду близкой смерти, сказывается крѣпкій нравственный закалъ, сказывается въ высшей степени твердый характеръ, обнаруженный Достоевскимъ еще въ первые годы юности. И различные господа, нищавшіе и стонавшіе во всеуслышаніе о своей преждевременной „простраціи", о своемъ окончательномъ изнеможеніи, вызванномъ „тяжелыми цензурными условіями" — эти господа не стыдятся называть Достоевскаго слабымъ и жалкимъ человѣкомъ!

Что долженъ былъ вынести Достоевскій на каторгѣ и потомъ въ ссылкѣ, — объ этомъ нечего распространяться. Но онъ не только не сломился нравственно, а вышелъ изъ тяжелаго испытанія съ новыми духовными и творческими силами. „Слабый и жалкій" человѣкъ, какъ только получилъ возможность работать снова на литературномъ поприщѣ, весь ушелъ въ эту работу и скоро далъ такія крупныя вещи, какъ „Записки изъ мертваго дома" и романъ „Униженные и оскорбленные". И этимъ романомъ и особенно „Мертвымъ домомъ" онъ сталъ въ рядъ съ крупнѣйшими изъ современныхъ ему беллетристовъ. Но несмотря на свою крупную литературную репутацію, онъ принужденъ былъ силою житейскихъ обстоятельствъ постоянно работать въ тискахъ нужды, постоянно „запродавать" журналистамъ свои вещи, прежде чѣмъ онѣ были написаны и когда только что были задуманы. Собственно со времени возвращенія Достоевскаго изъ ссылки и началась его, если такъ можно выразиться, художническая мартирологія, его постоянныя терзанія о томъ, какъ прожить настоящій день, соединенныя съ высшими заботами о необходимости „къ сроку" выполнить литературныя обязательства, взятыя на себя заранѣе. Я не могу, по объему этого этюда, привести и сотой доли примѣровъ, въ какихъ усло-

віяхъ писалъ Достоевскій свои лучшія произведенія: этими примѣрами полны сплошь его письма, писанныя къ разнымъ лицамъ по возвращеніи его изъ Сибири. По двумя-тремя, наиболѣе выразительными выдержками изъ писемъ я воспользуюсь и передамъ читателямъ ихъ во всей неприкосновенности ихъ ужасающаго впечатлѣнія. Вотъ какъ описываетъ брату свое положеніе Достоевскій во время пребыванія въ Москвѣ, гдѣ, наконецъ, ему дозволено было жить послѣ долгихъ хлопотъ объ этомъ: „Теперь положеніе мое до того тяжелое, что никогда не бывалъ я въ такомъ. Жизнь угрюмая, здоровье еще слабое, жена (дѣло идетъ о *первой* женѣ) умираетъ совсѣмъ, по ночамъ отъ всего дня у меня раздражены нервы. Нуженъ воздухъ, моціонъ, а и гулять некогда и негдѣ (грязь). Мое теплое (слишкомъ ватное) пальто мнѣ уже тяжело (вчера было 17 градусовъ въ тѣни). Да что описывать! Слишкомъ тяжело. А главное, слабость и нервы разстроены. А, между прочимъ, только на тебя и надежда. Братъ, деньги у меня текутъ какъ вода. Повѣрь, что расходы огромные. *На себя копейки не трачу, лѣтнихъ калошъ не соберусь купить, въ зимнихъ хожу*". Эти строки относятся къ 1864 г.; Достоевскій въ это время уже былъ авторомъ такой изумительной вещи, какъ „Мертвый домъ", и тиски нужды, въ которой, по волѣ судьбы, ему приходилось работать, были столь тяжелы, что знаменитый писатель терпитъ отсутствіе самыхъ необходимыхъ вещей для него. Замѣтимъ при этомъ, что онъ былъ больной человѣкъ, страдалъ однимъ изъ самыхъ страшныхъ и самыхъ надламывающихъ недуговъ—падучей болѣзнью. Правда, онъ самъ пишетъ, что онъ *никогда не бывалъ* въ такомъ положеніи; но факты и его письма говорятъ, что онъ почти постоянно томился въ когтяхъ ежедневной нужды и лишь незадолго до своей смерти — года за два, за три—вырвался изъ этихъ когтей и получилъ возможность вести свою жизнь въ относительномъ спокойствіи и благосостояніи, получилъ возможность сосредоточиваться надъ своими художественными трудами, не заботясь о кускѣ хлѣба на настоящій и еще болѣе на завтрашній день. Черезъ пять лѣтъ, послѣ того какъ уже написано „Преступленіе и Наказаніе", — романъ, который покойный Тютчевъ ставилъ выше „Отверженныхъ" Виктора Гюго, и который дѣйствительно представляетъ одно изъ самыхъ изумительныхъ и

своеобразныхъ произведеній русской литературы—черезъ пять лѣтъ у Достоевскаго вырываются въ письмѣ къ одному изъ близкихъ друзей такія признанія: „какъ я могу писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ! Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ! Но вѣдь жена кормитъ ребенка, что-жъ если она послѣднюю свою теплую шерстяную юбку идетъ *сама* закладывать! А вѣдь у насъ второй день снѣгъ идетъ, вѣдь она простудиться можетъ". Около того же времени онъ пишетъ: „прошу я его (редактора „Зари" г. Кашпирева, которому онъ посылаетъ свою превосходную повѣсть „Вѣчный мужъ") мнѣ выслать, если можетъ, пятьдесятъ рублей, ибо очень мнѣ тяжело. На рукопись надо пять талеровъ, но и намъ тоже надо. Ухъ, трудно. Если же нѣтъ пятидесяти, то *хоть сколько нибудь, хоть двадцать пять*".

Надѣюсь, приведенные примѣры краснорѣчивы, при всей своей простотѣ и краткости. Такихъ воплей о своей нуждѣ въ письмахъ Достоевскаго можно найти сколько угодно: они почти всѣ переполнены такими воплями. Слѣдуетъ взять во вниманіе, что писатель, имѣвшій всѣ права считаться однимъ изъ знаменитыхъ, однимъ изъ первыхъ русскихъ писателей, нуждался такъ не потому, что онъ мало работалъ. Нѣтъ, наоборотъ, онъ работалъ страшно много, онъ, несмотря на всѣ свои бѣдствія, несмотря на свою ужасную болѣзнь, на вѣчныя заботы о насущномъ днѣ, писалъ въ иные годы по три, по четыре печатныхъ листа въ мѣсяцъ, и притомъ какія вещи писалъ онъ такъ спѣшно, безъ всякаго отдыха: напримѣръ, романъ „Бѣсы!" Причина его нужды лежала не въ расходахъ на самого себя, не въ маломъ трудолюбіи, а въ томъ, что онъ взялъ на себя долгъ своего покойнаго брата, въ томъ, что онъ былъ опутанъ такими эксплоататорами-издателями, какъ г. Стелловскій, котораго имя должно покрыться вѣчнымъ позоромъ съ появленіемъ писемъ Достоевскаго, излагающихъ эксплоататорскія махинаціи этого „собственника" сочиненій разныхъ авторовъ, питавшагося на ихъ счетъ съ усердіемъ присосавшагося къ крови вампира.

Когда читаешь искреннія и какъ всегда страстныя и нервныя терзанія Достоевскаго, переполняющія его письма, то невольно изумляешься тому, какую нечеловѣческую энергію, какую преданную любовь къ искусству, какую великую по-

требность творчества нужно было имѣть, чтобы производить крупныя художественныя вещи въ столь бѣдственныхъ, поистинѣ невозможныхъ, условіахъ. Никто изъ русскихъ крупныхъ литераторовъ, положительно никто не работалъ такъ много и горячо, съ такою, постоянно затянутою, петлею нужды на шеѣ. Развѣ только одинъ Бѣлинскій, этотъ не меньшій страстотерпецъ русской литературы, находился въ подобномъ же положеніи и кипѣлъ такою же могучей и порывистой литературной дѣятельностью. Но Бѣлинскій былъ гораздо моложе Достоевскаго, онъ терпѣлъ горчайшую нужду въ такой періодъ жизни, когда у человѣка еще свѣжи силы и есть надежды впереди. А Достоевскій переносилъ свои страшныя невзгоды уже въ такія лѣта, когда приближался къ старости.

В. Буренинъ.

* * *

Тургеневъ, Левъ Толстой, Достоевскій—вотъ три корифея современнаго русскаго романа. Гончаровъ стоитъ не ниже трехъ названныхъ писателей, но въ сторонѣ, и говорить о немъ слѣдуетъ особо. Тургеневъ—великій художникъ по преимуществу,—въ этомъ сила его и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторая односторонность. Наслажденіе красотой слишкомъ легко примиряетъ его съ жизнью. Онъ любитъ миръ и тишину своей художнической мастерской и охотно удаляется въ созерцаніе вѣчныхъ образовъ отъ шумной и пестрой современности. Кажется, Тургеневъ заглядывалъ въ душу природы болѣе глубокимъ и проницательнымъ взоромъ, чѣмъ въ душу людей. Онъ менѣе психологъ, чѣмъ Левъ Толстой и Достоевскій. Но за то какое пониманіе жизни всего міра, въ которомъ люди только маленькая часть, какая идеальная чистота линій рисунка, какая музыка—рѣчь его! Когда долго любуешься этою примиряющею поэзіей, кажется, что сама жизнь существуетъ только для того, чтобы можно было наслаждаться ея красотой.

Левъ Толстой—то громадная стихійная сила. Гармонія

*) Д. Мережковскій. „Достоевскій какъ художникъ". Изъ книги: „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы", Д. С. Мережковскаго.

нарушена, нѣтъ созерцательнаго, безмятежнаго наслажденія красотой, за то это жизнь—во всемъ величіи, въ первобытной полнотѣ и здоровьѣ, въ нѣсколько дикой, но могучей свѣжести. Онъ удалился изъ нашихъ городовъ, изъ того общества, въ которомъ мы живемъ и страдаемъ.

Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
Теперь въ пустынѣ я живу,
Какъ птица, даромъ Божьей пищи.

Но простымъ смертнымъ, не пророкамъ, такъ же холодно отъ неумолимаго отрицанія нашей культуры, созданной вѣками, какъ и отъ тургеневскаго, безстрастнаго созерцанія красоты... Оба они ушли отъ насъ, оба они глядятъ на жизнь со стороны, одинъ изъ тихой артистической мастерской, другой—съ высоты отвлеченной морали, они поняли насъ, можетъ быть, даже простили, но все-таки мы съ ними одиноки...

Достоевскій—роднѣе, ближе намъ. Онъ жилъ среди насъ въ нашемъ печальномъ, холодномъ городѣ, не испугался сложности современной жизни и ея неразрѣшимыхъ задачъ, не бѣжалъ отъ нашихъ мученій, отъ заразы вѣка, ни въ міръ отвлеченной красоты ни въ міръ отвлеченной морали. Онъ любилъ насъ просто, какъ другъ, какъ равный не въ поэтической дали, какъ Тургеневъ, и не съ высокомѣріемъ проповѣдника, какъ Левъ Толстой. Онъ не безстрастный художникъ, не пророкъ, онъ—живой человѣкъ, онъ—нашъ всѣми своими думами, всѣми страданіями. „*Онъ съ нами жилъ изъ общей чаши, какъ мы отравленъ и великъ*“. Мы все-таки грѣшные люди, а Толстой слишкомъ презираетъ наше „гнилое“ интеллигентное общество, чувствуетъ слишкомъ глубокое отвращеніе къ нашимъ слабостямъ. Онъ отталкиваетъ, пугаетъ насъ своимъ презрѣніемъ, своею грубостью въ сужденіи о томъ, что все-таки останется людямъ дорого и свято, несмотря ни на какія нападки. Достоевскій въ нѣкоторыя минуты ближе намъ, чѣмъ тѣ, съ кѣмъ мы живемъ и кого любимъ, ближе, чѣмъ наши родные и друзья. Онъ нашъ товарищъ въ болѣзни, нашъ сообщникъ не только въ добрѣ, но и во злѣ, а ничто такъ не сближаетъ людей, какъ общіе недостатки; онъ знаетъ самыя сокровенныя наши мысли, самыя

преступныя желанія нашего сердца. Нерѣдко, когда его читаешь, чувствуешь страхъ отъ его всезнанія, отъ его глубокаго проникновенія въ чужую совѣсть. У него встрѣчаешь тѣ самыя тайныя мысли, которыхъ не рѣшился бы высказать не только другу, но и самому себѣ. И когда мы чувствуемъ, что такой человѣкъ, исповѣдавшій наше сердце, все-таки простилъ насъ, когда онъ говоритъ: „вѣрьте въ добро, въ Бога, въ себя"—мы въ самомъ дѣлѣ потрясены, потому что это больше, чѣмъ эстетическій восторгъ передъ красотой добра, больше, чѣмъ высокомѣрная проповѣдь чуждаго мнѣ пророка.

Впрочемъ, все это говорится съ полнымъ признаніемъ величія Тургенева и Льва Толстого. Конечно, Достоевскій не обладаетъ гармоніей, стройною соразмѣрностью частей произведенія, какъ въ свѣтломъ греческомъ храмѣ, этимъ чистымъ золотомъ,—наслѣдіемъ пушкинской красоты, всѣмъ, чѣмъ такъ богатъ авторъ *Отцовъ и Дѣтей.* Съ другой стороны, у Достоевскаго нѣтъ стихійной силы, первобытной, непосредственной связи съ природой, какъ у Льва Толстого. Достоевскій — человѣкъ, только что вышедшій изъ жизни, только что страдавшій и плакавшій. Слезы еще не высохли у него на глазахъ, чувствуются въ голосѣ, рука, когда онъ пишетъ, еще дрожитъ отъ волненія! Книги Достоевскаго нельзя читать, ихъ надо пережить, выстрадать, чтобы понять. И потомъ онѣ уже никогда не забываются.

* * *

Достоевскій употребляетъ своеобразный художественный пріемъ, чтобы ввести читателя въ драму. Онъ изображаетъ подробно тонкіе, почти неуловимые, психологическіе переходы въ настроеніи героевъ. Вотъ примѣръ. Раскольниковъ, немного спустя послѣ преступленія, еще никѣмъ не подозрѣваемый, стоитъ въ полицейскомъ участкѣ предъ квартальными. Авторъ отмѣчаетъ послѣдовательно рядъ состояній, черезъ которыя прошло сознаніе героя. Когда Раскольниковъ входитъ въ участокъ, онъ чувствуетъ ужасъ, что его подозрѣваютъ, что, можетъ быть, преступленіе открыто; потомъ, когда узнаетъ, что подозрѣній нѣтъ, нервное напряженіе разрѣшается въ радость, и по закону реакціи является чув-

ство облегченія, отсюда — его откровенность, болтливость, желаніе подѣлиться восторгомъ съ кѣмъ бы то ни было, даже съ квартальными. Но возбужденіе длится не долго, оно падаетъ. Раскольниковъ возвращается къ своему обыкновенному въ то время состоянію, къ мрачной тоскѣ, озлобленію и недовѣрчивости. Онъ вспоминаетъ недавнюю экспансивность, она ему кажется нелѣпою и унизительною. „Напротивъ, теперь, если бы вдругъ комната наполнилась не квартальными, а первѣйшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для нихъ у него ни одного человѣческаго слова, до того вдругъ опустѣло его сердце". Онъ почувствовалъ, что уже никогда не можетъ быть ни съ кѣмъ откровеннымъ, потому что онъ преступникъ. И вотъ, въ эту то минуту „мрачное ощущеніе мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія вдругъ сознательно сказалось въ душѣ его".

То, что у меня здѣсь въ холодномъ и обнаженномъ анализѣ, у Достоевскаго—въ живой связи живыхъ ощущеній. Если читателю, кто бы онъ ни былъ, случилось въ дѣйствительности пережить только одинъ изъ этихъ безчисленныхъ оттѣнковъ настроенія, онъ непремѣнно вспомнитъ моментъ *своей личной* жизни, снова его *переживетъ*, а этого то только и нужно автору: слѣдующій моментъ будетъ опять не изображеніемъ поэта, а собственнымъ ощущеніемъ читателя, потому что онъ только неизбѣжное психологическое слѣдствіе перваго и т. д. Достоевскій захватилъ наше сердце и ужъ не отпуститъ его, пока не вовлечетъ въ самую глубину настроенія героя, не втянетъ нашу душу въ его жизнь, какъ водоворотъ втягиваетъ слабую былинку въ омутъ. Мало-помалу личность читателя перевоплощается въ личность героя, наше сознаніе сливается съ его сознаніемъ, наши страсти дѣлаются его страстями.

Пока читаешь книгу Достоевскаго, нельзя жить отдѣльною жизнью отъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ разсказа, какъ будто исчезаетъ граница между вымысломъ и дѣйствительностью. Это больше, чѣмъ сочувствіе герою, это—*сліяніе съ нимъ*. Не только доброе, но и все, что есть злого и преступнаго въ немъ, дѣлается частью нашей жизни. Къ своему величайшему изумленію (конечно, до извѣстнаго времени, пока нужно автору), симпатизируешь не честнымъ, благонамѣреннымъ людямъ, которые преслѣдуютъ убійцу, а самому

убійцѣ. Когда Порфирій не рѣшается подать руки преступнику, чувствуешь негодованіе на судебнаго слѣдователя, какъ будто личную ненависть за его подозрѣнія. Когда Раскольниковъ съ окровавленнымъ топоромъ бѣжитъ по лѣстницѣ и прячется въ пустой квартирѣ, гдѣ работаютъ маляры, переживаешь весь его ужасъ, и мучительно хочется, чтобъ *онъ спасся*, поскорѣй убѣжалъ отъ справедливой кары закона, чтобы Кохъ съ товарищемъ какъ-нибудь не замѣтили его, чтобы преступленіе не могло быть открыто; и никакіе доводы разсудка не въ состояніи убѣдить, что вѣдь въ концѣ концовъ, съ нравственной точки зрѣнія, желательнѣе, чтобы преступленіе было открыто. Вамъ не до нравственной точки зрѣнія, когда *вы едва не сообщникъ убійства*. Такимъ образомъ, читатель вмѣстѣ съ героемъ дѣлаетъ *преступный психологическій опытъ*, и потомъ, когда оставляешь книгу, долго еще нѣтъ силъ освободиться отъ ея мучительнаго и страшнаго очарованія. Гармонія, красота, наслажденіе поэзіей, все это можетъ пройти, исчезнуть изъ памяти, забыться современемъ, но *преступный опытъ души* никогда не забывается. Достоевскій оставляетъ въ сердцѣ такіе же неизгладимые слѣды, какъ страданіе.

Введеніе въ жизнь героя посредствомъ изображенія тончайшихъ, неуловимыхъ переходовъ въ его настроеніи, вотъ одинъ изъ художественныхъ пріемовъ Достоевскаго; второй заключается въ сопоставленіяхъ, въ рѣзкихъ *контрастахъ* трогательнаго и ужаснаго, мистическаго и реальнаго.

Мармеладовъ предъ смертью, уже въ полусознательномъ состояніи смотритъ на своихъ нищихъ дѣтей. Взглядъ его остановился на маленькой Лидочкѣ (его любимицѣ), глядѣвшей на него „своими удивленными, дѣтски-пристальными глазами.“—А... а... указывалъ онъ на нее съ безпокойствомъ. Ему что-то хотѣлось сказать.—Чего еще?—крикнула Катерина Ивановна.—Босенькая! Босенькая!—бормоталъ онъ, полоумнымъ взглядомъ указывая на босыя ножки дѣвочки. „Вошелъ священникъ съ запасными дарами, сѣдой старичекъ. Всѣ отступили. Исповѣдь длилась очень недолго“. Катерина Ивановна стала на колѣни съ дѣтьми. Они молились. Въ эту минуту „изъ толпы, неслышно и робко, протѣснилась дѣвушка, и странно было ея внезапное появленіе въ этой комнатѣ, среди нищеты, лохмотьевъ, смерти и отчаянья. Она

была тоже въ лохмотьяхъ; нарядъ ея былъ грошовый, но разукрашенный по уличному, подъ вкусъ и правила, сложившіяся съ своемъ особомъ мірѣ съ ярко и позорно выдающеюся цѣлью"... Соня, дочь Мармеладова, была „въ шелковомъ, неприличномъ здѣсь, цвѣтномъ платьѣ съ длиннѣйшимъ и смѣшнымъ хвостомъ, въ свѣтлыхъ ботинкахъ, въ смѣшной соломенной круглой шляпѣ съ яркимъ огненнаго цвѣта перомъ". Послѣ этого описанія авторъ сразу переходитъ къ умирающему, говоритъ объ исповѣди и причастіи.

Также обыкновенны въ романахъ Достоевскаго *сопоставленія реальнаго и мистическаго*. Дѣйствіе происходитъ въ средѣ, повидимому, менѣе всего предполагающей что-нибудь фантастическое: тѣсные переулки близъ Сѣнной, лѣтній Петербургъ, вонючій и пыльный, полицейскій участокъ—съ квартальными, будничная проза бѣдности и разврата, та самая сѣрая и пошлая обстановка большого города, которую мы каждый день привыкли видѣть,—все это дѣлается вдругъ фантастичнымъ, призрачнымъ, похожимъ на сонъ. Авторъ проникнутъ чувствомъ темнаго, таинственнаго и рокового, что скрывается въ глубинѣ жизни. Онъ нарочно вводитъ въ разсказъ трагическій элементъ *Рока*, посредствомъ постоянныхъ фатальныхъ совпаденій мелкихъ случайностей.

Предъ тѣмъ, какъ рѣшиться на преступленіе, Раскольниковъ слышитъ въ трактирѣ за бильярдомъ разговоръ двухъ неизвѣстныхъ лицъ о старухѣ процентщицѣ, его будущей жертвѣ: весь планъ убійства, всѣ нравственные мотивы до послѣдней подробности подсказаны ему какъ будто судьбой. Незначительный фактъ, но онъ имѣетъ огромное вліяніе на рѣшимость Раскольникова, это—*роковая случайность*. Приблизительно въ то же время, усталый и измученный, желая поскорѣй вернуться домой, но неизвѣстно почему, дѣлая ненужный большой крюкъ, онъ неожиданно попадаетъ на Сѣнную и слышитъ разговоръ мѣщанина съ Лизаветой, сожительницей старухи; мѣщанинъ назначаетъ свиданіе по дѣлу: „*въ семомъ часу, завтра*". Стало-быть, старуха останется одна. Всѣмъ существомъ своимъ онъ почувствовалъ, „что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли", что убійство рѣшено окончательно. Опять роковая случайность. Въ своей квартирѣ онъ дѣлаетъ послѣднія приготовленія, вѣшаетъ топоръ въ петлю, пришитую внутри пальто. Какъ разъ въ

этотъ моментъ „гдѣ-то на дворѣ раздался чей-то крикъ: „*семой часъ давно*!"—„Давно, Боже мой!" и онъ бросается на улицу. Авторъ прямо замѣчаетъ: „Раскольниковъ въ послѣднее время сталъ суевѣренъ... Во всемъ этомъ дѣлѣ онъ всегда потомъ наклоненъ былъ видѣть нѣкоторую какъ бы странность, таинственность, какъ будто присутствіе какихъ-то особыхъ вліяній и совпаденій". Роковыя случайности вовлекаютъ его въ преступленіе, „*точно онъ попалъ клочкомъ одежды въ колесо машины, и его начало въ нее втягивать*". И здѣсь снова фатальная случайность, бывшая одною изъ причинъ гибели Раскольникова. Такія совпаденія придаютъ разсказу характеръ фантастическій.

Можетъ быть, съ этою же цѣлью Достоевскій нарочно уничтожаетъ границы между сномъ и дѣйствительностью; великій *реалистъ* вмѣстѣ съ тѣмъ великій *мистикъ*, онъ чувствуетъ призрачность реальнаго, для него жизнь — только явленіе, только покровъ, за которымъ таится непостижимое и навѣки скрытое отъ человѣческаго ума. Нѣкоторыя фигуры, впослѣдствіи яркія и живыя, выступаютъ сначала, какъ будто изъ тумана, изъ сновидѣнія: напримѣръ, незнакомый мѣщанинъ, который на улицѣ говоритъ Раскольникову: „убивецъ". На слѣдующій день этотъ мѣщанинъ кажется ему призракомъ, галлюцинаціей; а потомъ опять превращается въ живое лицо. То же самое происходитъ при первомъ появленіи Свидригайлова. Эта полуфантастическая фигура, оказывающаяся впослѣдствіи самымъ реальнымъ типомъ, возникаетъ изъ сновидѣнія, изъ смутныхъ болѣзненныхъ грезъ Раскольникова, который вѣритъ въ его дѣйствительность такъ же мало, какъ въ дѣйствительность таинственнаго мѣщанина. Онъ спрашиваетъ своего товарища, студента Разумихина, о Свидригайловѣ: „Ты его точно видѣлъ? Ясно видѣлъ?—Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю, я памятливъ на лица...—Гмъ... то-то... пробормоталъ Раскольниковъ.—А то знаешь... мнѣ подумалось... мнѣ все кажется... что это *можетъ-быть и фантазія*... Можетъ-быть, я въ самомъ дѣлѣ помѣшанный и только—*призракъ видѣлъ*".

Съ одной стороны, эта фантастичность, смѣшеніе сна и дѣйствительности при крайнемъ реализмѣ подробностей, съ другой, — трагическій элементъ рока, фатальное совпаденіе случайностей придаютъ всей картинѣ, несмотря на будничн-

ную обстановку, мрачный, тяжелый и вмѣстѣ съ тѣмъ обаятельный колоритъ, какъ будто грозовое освѣщеніе. Въ обыкновенныхъ прозаическихъ мелочахъ жизни открываются такія глубины, такія тайны, которыхъ мы никогда и не подозрѣвали. Это писатель самый фантастическій изъ реалистовъ и самый реальный изъ мистиковъ.

Не только присутствіе рока въ событіяхъ придаетъ разсказу Достоевскаго трагическій паѳосъ въ античномъ смыслѣ слова, но и стремленіе къ *единству времени*, тоже въ античномъ смыслѣ, способствуетъ этому впечатлѣнію. Въ промежутокъ одного дня, иногда нѣсколькихъ часовъ, событія, страсти, катастрофы нагромождаются цѣлыми массами. Его романъ не спокойный, плавно развивающійся эпосъ, а собраніе пятыхъ актовъ многихъ трагедій, быстрыя, поражающія развязки безчисленныхъ интригъ. Нѣтъ медленнаго развитія, все дѣлается почти мгновенно, стремится къ одной цѣли, къ концу—неудержимо и страстно, какъ въ послѣднемъ дѣйствіи драмы.

Въ быстротѣ, поспѣшности дѣйствія, въ перевѣсѣ драматическаго элемента заключается причина того, что у Достоевскаго гораздо меньше культурныхъ и бытовыхъ подробностей, чѣмъ у болѣе спокойныхъ эпическихъ поэтовъ такого типа, какъ, напримѣръ, Сервантесъ, Гончаровъ и Диккенсъ. Внѣшнюю культуру, бытовую сторону жизни, будничныя настроенія людей въ Испаніи—по *Донъ-Кихоту*, въ Англіи—по *Давиду Копперфильду*, въ до-реформенной Россіи — по *Обломову* можно воспроизвести съ гораздо большею точностью и полнотой, чѣмъ наши шестидесятые года на основаніи *Преступленія и Наказанія*.

Въ заключеніе я не могу не сказать нѣсколько словъ о городскихъ пейзажахъ Достоевскаго. Онъ рисуетъ ихъ очень поверхностно, легкими штрихами, даетъ не самую картину, а только настроеніе картины, поэтическій фонъ. Иногда ему довольно двухъ-трехъ словъ, намека на духоту, известку, лѣса, кирпичъ, пыль, на ту особенную лѣтнюю вонь, извѣстную каждому петербуржцу, чтобы впечатлѣніе большого города возникло въ насъ съ поразительною ясностью. Безо всякихъ описаній декорація Петербурга чувствуется за каждою сценой романа.

Только изрѣдка онъ набрасываетъ нѣсколько чертъ, когда надо опредѣлить и выдвинуть фонъ: „небо было безъ малѣй-

шаго облачка, а вода почти голубая, что на Невѣ такъ рѣдко бываетъ. Куполъ собора... такъ и сіялъ и сквозь чистый воздухъ можно было отчетливо разглядѣть даже каждое его украшеніе... Необъяснимымъ холодомъ вѣяло на него всегда отъ этой великолѣпной панорамы; духомъ нѣмымъ и глухимъ полна была для него эта пышная картина". Вотъ другой мотивъ: „я люблю, какъ поютъ подъ шарманку въ холодный, темный и сырой осенній вечеръ, непремѣнно въ сырой, когда у всѣхъ прохожихъ блѣдно-зеленыя и больныя лица; или еще лучше, когда снѣгъ мокрый падаетъ, совсѣмъ прямо, безъ вѣтру... а сквозь него фонари съ газомъ блистаютъ". Иногда въ ясный лѣтній вечеръ у этого прозаическаго печальнаго города бываютъ какъ бы минуты умиленія, тихой и кроткой задумчивости; въ такой именно вечеръ Раскольниковъ смотрѣлъ „на послѣдній розовый отблескъ заката, на рядъ домовъ, темнѣвшій въ сгущавшихся сумеркахъ, на одно отдаленное окошко, гдѣ-то въ мансардѣ, по лѣвой набережной, блиставшее точно въ пламени отъ послѣдняго солнечнаго луча, ударившаго въ него на мгновеніе, на темнѣвшую воду канавы". Нерѣдко попадаются въ описаніяхъ Достоевскаго подробности изумительно-художественныя: такъ, напримѣръ, Раскольниковъ входитъ въ квартиру, гдѣ имъ совершено убійство. „Огромный, круглый, мѣдно-красный мѣсяцъ глядѣлъ прямо въ окна. *Это отъ мѣсяца такая тишина*, подумалъ онъ".

Авторъ *Преступленія и Наказанія* понимаетъ поэзію города. Въ шумѣ столицы онъ находитъ такую же прелесть и тайну, какъ другіе поэты въ ропотѣ океана; какъ они убѣгаютъ отъ людей въ „широкошумныя дубравы", такъ онъ бродитъ одинокій и задумчивый по улицамъ большого города, какъ они глядятъ съ вопросомъ на звѣздное небо, такъ онъ смотритъ въ раздумьѣ на густые, осенніе туманы Петербурга, озаренные безчисленными огнями столицы. Въ лѣсахъ, на берегу океана, подъ открытымъ небомъ всѣ видѣли тайну, всѣ чувствовали бездны природы, но въ нашихъ унылыхъ прозаическихъ городахъ, никто, кромѣ Достоевскаго, не чувствовалъ такъ глубоко *тайны человѣческой жизни*. Онъ первый изъ писателей показалъ, что поэзія городовъ не менѣе велика и таинственна, чѣмъ поэзія лѣса, океана и звѣзднаго неба.

Д. Мережковскій.

РАЗБОРЫ СОЧИНЕНІЙ Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

„Бѣдные Люди“ (1846 г.).

Слѣдующая выдержка изъ „Воспоминаній“ П. Анненкова свидѣтельствуетъ, какъ Бѣлинскій отнесся къ первому литературному произведенію Достоевскаго, бывшему еще въ рукописи.

*) „Въ одно изъ моихъ посѣщеній Бѣлинскаго, передъ обѣдомъ, когда онъ отдыхалъ отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидѣлъ его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всѣми признаками волненія въ лицѣ. Онъ тоже замѣтилъ меня и прокричалъ: „Идите скорѣе, сообщу новость... Вотъ отъ этой самой рукописи,—продолжалъ онъ, поздоровавшись со мною,—которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — романъ начинающаго таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его мысли—еще не знаю, а романъ открываетъ такія тайны жизни и характеровъ на Руси, которыя до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціальнаго романа и сдѣланная притомъ такъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно художники, т. е. не подозрѣвая и сами, что у нихъ выходитъ. Дѣло тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагаютъ, что любить весь міръ есть необычайная пріятность и обязанность для каждаго человѣка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со всѣми ея порядками, наѣхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кисти. Вотъ и все,—а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника зовутъ „Достоевскій“, а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ“. И Бѣ-

---

*) П. Анненковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки“. Отд. III.

линскій принялся съ необычайнымъ паѳосомъ читать мѣста, наиболѣе поразившія его, сообщая имъ еще большую окраску своей интонаціей и нервной передачей. Такъ встрѣтилъ онъ первое произведеніе нашего романиста. И этимъ еще не кончилось. Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать для молодого автора то, что онъ дѣлалъ уже для многихъ другихъ, какъ, напримѣръ, для Кольцова и Некрасова, т. е. высвободить его талантъ отъ резонерскихъ наклонностей и сообщить ему сильные, такъ сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладѣвать предметами прямо, съ разу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрѣтилъ уже рѣшительный отпоръ. Въ домѣ же Бѣлинскаго прочитанъ былъ новымъ писателемъ второй его разсказъ: „Двойникъ“; это сенсаціонное изображеніе лица, существованіе котораго проходитъ между двумя мірами — реальнымъ и фантастическимъ, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бѣлинскому нравился и этотъ разсказъ по силѣ и полнотѣ разработки оригинально-странной темы, но мнѣ, присутствовавшему тоже на этомъ чтеніи, показалось, что критикъ имѣетъ еще заднюю мысль, которую не считаетъ нужнымъ высказывать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращалъ вниманіе Достоевскаго на необходимость *набить руку*, что называется, въ литературномъ дѣлѣ, пріобрѣсти способность легкой передачи своихъ мыслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бѣлинскій, видимо, не могъ освоиться съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, возвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и измѣнявшаго ихъ до безконечности, и относилъ эту манеру къ неопытности молодого писателя, еще не успѣвшаго одолѣть препятствій со стороны языка и формы. Но Бѣлинскій ошибся: онъ встрѣтилъ не новичка, а совсѣмъ уже сформировавшагося автора, обладающаго потому и закоренѣлыми привычками работы, несмотря на то, что онъ являлся, повидимому, съ первымъ своимъ произведеніемъ. Достоевскій выслушалъ наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успѣхъ, полученный его повѣстью, съ разу оплодотворилъ въ немъ тѣ сѣмена и зародыши высокаго уваженія къ самому себѣ и высокаго понятія о себѣ, какія жили въ его душѣ. Успѣхъ этотъ болѣе, чѣмъ освободилъ его отъ сомнѣній и колебаній, которыми сопрово-

ждаются обыкновенно первые шаги авторовъ: онъ еще принялъ его за вѣщій сонъ, пророчившій вѣнцы и капитоліи. Такъ, рѣшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда Альманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣдующее ему по праву, потребовалъ, чтобъ его романъ былъ отличенъ отъ всѣхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ знакомъ, напримѣръ—каймой".

П. Анненковъ.

* * *

По напечатаніи „Бѣдныхъ Людей" въ „Сборникѣ" Некрасова, Бѣлинскій въ томъ же 1846 году критически разобралъ этотъ романъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", гдѣ между прочимъ онъ говоритъ:

*) „Слухи о „Бѣдныхъ Людяхъ" и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ, все равно быть или не быть предупрежденными въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а не знатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго,—и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ, уже не видитъ въ произведеніи того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное, понравилось бы ему, если бъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ „Бѣдныхъ Людей" былъ полный. Если бъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ,—это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть что-то, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ быть, двухъ-трехъ *пишущихся* за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой

*) Сочиненія В. Бѣлинскаго и „Отечественныя Записки" 1846 г.

повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ необыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ, самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшительный — время... Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта „Бѣдные Люди и, непосредственно за ними, „Двойникъ“ — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однако-жъ, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ „Бѣдныхъ Людяхъ“: вѣдь, и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится разсказывать, если уже рѣшишься на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброю душою и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтелью, дѣвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холоду, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ, — существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его „маточкѣ“, „ангельчику и херувимчику Варенькѣ“ есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое онъ силится не признавать въ себѣ, но

которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если-бъ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, на счетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говоритъ, что „все въ розовомъ цвѣтѣ представляется". Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка,—все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варенькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду, и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя,—до послѣдней крайности обманываетъ свою Вареньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ пріобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варенькѣ въ мужья уже потому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всѣмъ—было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина, авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способность придавлены, приплюснуты жизнію.

Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, бросить нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову, — такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!“

Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ *человѣкъ*! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно любимаго имъ сына,— не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улы-

баться сквозь слезы, — какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти то къ тому, то къ другому!.. Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица г. Быкова, только на минуту появляющаго въ романѣ собственною особою, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственною особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вареньки какъ то не совсѣмъ опредѣленно и неокончено; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вареньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны; отношенія Вареньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, — все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Ѳедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все-таки ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій“...

* * *

Бѣлинскій послѣ перваго своего разбора „Бѣдныхъ Людей“ не разъ еще возвращался къ нимъ. Такъ въ 1847 году въ „Современникѣ“, при общемъ обозрѣніи литературы за 1846 г., онъ между прочимъ замѣтилъ:

*) „Обращаясь къ замѣчательнымъ произведеніямъ беллетристической прозы, являвшимся въ сборникахъ и журналахъ прошлаго года, — взглядъ нашъ прежде всего встрѣчаетъ „Бѣдныхъ Людей“, романъ, вдругъ доставившій большую извѣстность до того времени совершенно неизвѣстному въ литературѣ имени. Впрочемъ, объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всѣхъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому, мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предметѣ. Сила, глубина и оригинальность таланта г. Достоевскаго была признана тотчасъ-же всѣми, и, что еще важнѣе—публика тотчасъ-же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту г. Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которыя и можетъ возбуждать только сильный талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ г. Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство, одни—растянутости, другіе—неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что если бы „Бѣдные Люди“ явились хотя десятою долею въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ и словъ, — это произведеніе явилось бы безукоризненно-художественнымъ.

* * *

Еще черезъ годъ, именно въ 1848 году, въ „Современникѣ“ же, по поводу выхода въ свѣтъ „Бѣдныхъ Людей“ отдѣльнымъ изданіемъ, Бѣлинскій писалъ:

*) „Появленіе этого романа было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя г. Достоевскаго одно занимало наши журналы.

*) Сочиненія Бѣлинскаго.

Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій. Г. Достоевскій недавно напечаталъ свой новый романъ „Хозяйка", который не возбудилъ никакого шуму, и прошелъ въ страшной тишинѣ. Шумъ, конечно, не всегда одно и то же со славою, но безъ шуму нѣтъ и славы. „Бѣдные Люди" доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большіе надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однакожъ не мѣшаетъ „Бѣднымъ Людямъ" быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго, живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющая читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительною истиною въ изображеніи дѣйствительности, мастерскою обрисовкою характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ, и—что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта г. Достоевскаго, его оригинальность, — глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ „Бѣдныхъ Людяхъ" много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготовляетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще, легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но за то, самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ—мастерскія художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиною взгляда и силою выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь".

В. Бѣлинскій.

* * *

Опуская другія, современныя появленію „Бѣдныхъ Людей", критики, перейдемъ къ тому знаменательному критическому періоду въ нашей литературѣ, представителемъ котораго былъ Н. Добролюбовъ.

Въ 1861 году въ № 9 „Современника" Добролюбовъ, ме-

жду прочимъ, разбираетъ „Бѣдныхъ Людей“ слѣдующимъ образомъ:

*) „Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у г. Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серьезно начинаютъ увѣрять себя, что они—нуль, ничего, и что если его превосходительство заговоритъ съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодѣтельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли,—попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда.

Само собою понятно, что имъ не удастся выдержать характеръ, и оттого они вѣчно недовольны собою, проклинаютъ сабя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скорѣе къ первому типу: это люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человѣческаго права, но замѣнившіе его какою-нибудь узенькою фикціею условнаго права, утвердившіеся въ этой фикціи и бережно ее хранящіе. При всякомъ случаѣ, гдѣ подобные господа воображаютъ, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримѣръ, что „я титулярный совѣтникъ“, мнѣ самъ Василій Петровичъ руку подалъ“, меня штабъ-офицерша Похлестова знаетъ, и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые до - нельзя и сами всѣхъ болѣе несчастные своею обидчивостью.

Обратимся къ анализу первой черты,—совершеннаго смиренія, тупого успокоенія на своемъ положеніи, каково оно вышло. Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ; человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ, или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ, — ну, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнѣе: знаетъ, что

*) Н. Добролюбовъ. „Забитые люди“. „Современникъ“ 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова.

слѣпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ — описывать то, какъ слѣпой не видитъ?..

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго, здраваго смысла, въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда не заглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго, насильственнаго давленія, и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ находимъ мы въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ г. Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ себѣ, дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумываясь, ни на что не претендуя. „Что это вы пишете мнѣ — объясняется онъ съ Варенькой—про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ что же на старости-то лѣтъ привередничать? *Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! Не графскаго рода!*... Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу.—Я не нѣженка“. И точно онъ не нѣженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ, и утѣшается тѣмъ, что онъ „ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ“... „Сытъ я“, говоритъ, — а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ: можно представить, какая тутъ сытость. Обутъ и одѣтъ онъ, — тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ: „Я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно“. Относительно своего умственнаго состоянія сознаетъ, что онъ человѣкъ не ученый, на мѣдныя деньги учился, и слога не имѣетъ, и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ; съ общественнымъ положеніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резон-

ныхъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ“. Утвердившись въ такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексѣевичъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и высшею единственною мѣрою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣнія начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: „Состою я уже около 30 лѣтъ по службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя *собственнымъ сознаніемъ своимъ*, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. *Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны“. Далѣе Макаръ Алексѣичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: Я, говоритъ, „въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія, — въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; *даже крестикъ выходилъ*“... Какъ видите, *крестикъ* составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій, послѣдній аргументъ его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, напримѣръ, выпилъ неосторожно, дебошу надѣлалъ, по его словамъ, и послѣ того пишетъ къ Варенькѣ, утѣшая ее: „Вы, говоритъ, обо мнѣ не безпокойтесь; спѣшу вамъ объявить, что амбиція моя мнѣ всего дороже, и увѣдомляю васъ, что *изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему*“. Вообще Макаръ Алексѣичъ до того дошелъ, что даже и сапоги и шинель носитъ не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ больше для другихъ, и все для другихъ изъ амбиціи. „По мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій

морозъ безъ шинели и безъ сапогъ ходить—я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего: *человѣкъ-то я простой, маленькій*". Но *„сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени; въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало*". То есть какъ же пропало? А такъ, что „вдругъ его превосходительство замѣтятъ и невзначай какъ-нибудь отнесутся на мой счетъ—бѣда"!.. Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала, и генералъ далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта дѣйствительно превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, понятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексѣича: „Клянусь вамъ,—пишетъ онъ Варенькѣ,—что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія и на себя, на униженіе мое и на мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ *они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали*, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его"! Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите—даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но согласитесь, что вѣдь вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбуждалось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Забитый, тощій песъ Улисса, съ воемъ и ласкою встрѣчающій своего господина, неизмѣримо ближе и ровнѣе съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодѣтельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существа, къ которому равно принадлежитъ и Макаръ Алексѣичъ и его благодѣтель,—вотъ что видите вы въ изліяніяхъ его благородности. А онъ между тѣмъ счастливъ, самъ счастливъ собствен-

нымъ униженіемъ и въ умиленіи молитъ Бога простить ему „ропотъ и *либеральныя мысли*“, которыя онъ позволялъ себѣ подъ часъ „въ прежнее грустное время“...

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ г. Достоевскомъ, а въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ сказалась даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между офиціальнымъ настроеніемъ, между внѣшностью, форменностью, и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуты особаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что вѣдь ни одного человѣка нѣтъ, кто бы, въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, обѣщающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексѣичъ: вы, можетъ быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что „всякому свое мѣсто назначено, а мѣста по способностямъ распредѣлены“ и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резонируетъ въ спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть кто-нибудь задѣнетъ его за живое,— онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ ему въ голову сами собой „либеральныя“ мысли. Онъ тогда спрашиваетъ: „Отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣніи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю маточка (спѣшитъ онъ прибавить, обращаясь къ Варенькѣ), — что не хорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ,— зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, — ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова спѣшитъ оговориться боязливый Макаръ Алексѣичъ), оно грѣшно такъ думать, *до тутъ по неволѣ грѣхъ въ душу лѣзетъ*“. Расчувствовавшись, Макаръ Алексѣичъ уже не огра-

ничивается и сомнѣніями, а даже до негодованія доходитъ и задѣваетъ людей почище себя: „Что фракъ-то сидитъ на немъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ,—такъ ужъ ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, такъ ли, голубчикъ?*“ Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго чиновника: видно, не совсѣмъ угомонилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что „если бы мы другъ другу тону не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ, и порядку бы не было“. Нѣтъ, онъ издастъ теперь вопли сердечные и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: „А еще люди богатые не любятъ,—замѣчаетъ онъ,—чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались,—дескать, они безпокоятъ, они-де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойлива; спать, что ли, мѣшаютъ имъ стоны голодные?*...“ И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такія мысли, вызываетъ наружу такія инстинкты, которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собой, неодолимо являются во всей своей силѣ. „*Теперь* на меня *такая тоска напала*,—пишетъ разогорченный Дѣвушкинъ, — *что я самъ своимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать, и* хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ*. И подлинно, родная моя, *часто самого себя*, безъ *всякой причины, уничтожаешь*, въ грошъ не ставишь и ниже щенки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ быть, оттого происходитъ, что я самъ *запуганъ и загнанъ*, какъ хоть бы и тотъ бѣдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ“. Вотъ этакія-то мысли, западая въ человѣка и развиваясь въ немъ съ чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ,—и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ общественномъ механизмѣ, который рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу. Можно замѣтить, пожалуй, что Макаръ Алексѣичъ, для своего образованія и положенія, является уже слишкомъ мѣткимъ оцѣнщикомъ противорѣчій офиціальныхъ основъ жизни съ ея дѣйствительными требованіями; но это потому, что, сочиняя въ те-

ченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькѣ, Макаръ Алексѣичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны—почему же и автору немножко не придти къ нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежатъ Макару Алексѣичу,—это скажетъ всякій, хоть недолгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексѣичъ формулировалъ свои тяжкія сомнѣнія въ письмахъ къ Варенькѣ; другіе не формулируютъ ихъ иначе, какъ своимъ поведеніемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результатами“.

Н. Добролюбовъ.

* * *

Слѣдующіе два критическіе отзыва относятся къ болѣе позднѣйшему времени: первый (О. Миллера) къ 1874 года, а второй (П. Булича) къ 1881 году.

*) „Съ первыхъ-же своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ Достоевскій обращается къ людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тѣмъ изъ этого класса, для которыхъ, конечно, не „благодать“ ихъ кличка „*чиновникъ*“. Въ этомъ отношеніи Достоевскій является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повѣсти Гоголя „Шинель“. Но въ романѣ „Бѣдные Люди“, съ разу доставившемъ Достоевскому такую почетную извѣстность, нельзя не признать значительнаго шага впередъ противъ „Шинели“. Гуманное отношеніе къ бѣднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо далѣе, чѣмъ у Гоголя. Не даромъ Бѣлинскій обратился къ Достоевскому съ такими сочувственными словами: „Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вѣдь это тоже люди, ваши братья!“ Конечно, уже и Гоголь сказалъ это психологическою постановкою героя „Шинели“, который хотя и смѣшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго сколько-нибудь по-человѣчески чувствующаго читателя. Тѣмъ не менѣе герой Гоголя, такъ сказать, весь ушелъ самъ въ себя, въ продолжительныя заботы о томъ для него значительномъ ком-

*) „Публичныя лекціи О. Миллера“.

фортѣ, какой онъ доставляетъ себѣ новой шинелью; сочувствіе къ нему читателя возбуждается собственно тѣмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цѣною какихъ долгихъ лишеній, достается маленькому человѣку и какое событіе въ его приниженной жизни составляетъ то, что является у другого само собой къ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя, а маленькій человѣкъ обходится! Все то, что предпринимаетъ Акакій Акакіевичъ для доставленія себѣ новой шинели—своего рода нравственный подвигъ, но подвигъ, который ведетъ къ его личному удовольствію и удобству. Гораздо болѣе представляютъ намъ „Бѣдные Люди" Достоевскаго. Въ лицѣ Макара Дѣвушкина, этого добряка-чиновника, переписывающагося съ героиней повѣсти, авторъ, по замѣчанію Бѣлинскаго, „показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ", т. е. въ тѣхъ симпатическихъ связяхъ, которыя соединяютъ бѣднаго, загнаннаго человѣка съ другимъ бѣднымъ, загнаннымъ существомъ. Ту же глубоко-человѣческую черту усмотрѣлъ Бѣлинскій и въ другомъ лицѣ этой повѣсти, въ лицѣ эпизодическомъ, старикѣ Покровскомъ. „Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человѣкъ!" говоритъ Бѣлинскій.—Да, и онъ человѣкъ, даже въ лучшемъ смыслѣ слова, потому что онъ въ состояніи любитъ до самоотверженія. „Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну", продолжаетъ Бѣлинскій, „напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго съ книгами въ карманѣ и подъ мышками, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка". Все это сказано Бѣлинскимъ именно потому, что въ Покровскомъ, какъ и въ Макарѣ Дѣвушкинѣ, несмотря на тотъ темный уголъ, въ который забиты они невзгодами жизни, ярко теплится та искра Божія, которая совершенно погасла не только въ Обломовѣ, но и въ Штольцѣ, потому что оба они не видятъ ничего далѣе—одинъ своего кабинета съ мягкой по-

стелью и вѣчнымъ халатомъ, другой—своей нескончаемой суеты ради собственныхъ выгодъ и удовольствій. Искра Божія погасла въ нихъ—потому-то приходится Ольгѣ отказаться отъ надежды не только сдвинуть съ мѣста Обломова, но и отыскать живительный смыслъ въ трудолюбіи Штольца. Напротивъ, что касается Дѣвушкина и Покровскаго, то Бѣлинскій находилъ даже, чего послѣ него не находили другіе критики, что Достоевскій „вовсе не хотѣлъ изобразить людей, у которыхъ умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнію“. И въ нихъ дѣйствительно не забито то, что симпатически связываетъ человѣка съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ „Забитые люди“ налегаетъ на другую сторону произведеній Достоевскаго,—на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всѣми ея послѣдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовъ совершенно справедливо относитъ то, что Дѣвушкинъ съ какимъ-то особеннымъ униженіемъ умаляется передъ своимъ начальствомъ: „я вѣдь человѣкъ маленькій“, говоритъ онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такою скромной долей, онъ не мирится съ мыслію, чтобы она могла удовлетворить и ту дѣвушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ея бѣдное, загнанное положеніе хотѣлъ бы онъ усладить, улучшить; и вотъ онъ отдаетъ послѣдніе гроши, чтобы доставить ей какое-нибудь удовольствіе, или хоть лакомство. Правда, во многихъ другихъ повѣстяхъ Достоевскаго мы уже не находимъ этой нравственно поддерживающей бѣдняка заботы о другихъ бѣдняхъ. Многіе „забитые люди“ Достоевскаго, подобно гоголевскому Акакію Акакіевичу, *загнаны въ самихъ себя*, и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ, какъ совершенно вѣрно выяснилъ Добролюбовъ, герой повѣсти того же названія г. Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ службы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти. Не менѣе печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, не уживающаяся съ мыслію, что ей никогда не достанется многое, такъ легко достающееся другимъ,—я разумѣю героя „Двойника“, г. Голядкина.

О. Миллеръ.

*) Ни одинъ романъ Достоевскаго, считая и послѣдніе, не имѣлъ такого успѣха въ обществѣ, какъ „Бѣдные Люди". Этому успѣху способствовало и тогдашнее общественное настроеніе и рѣшающій голосъ Бѣлинскаго. Критикъ предсказывалъ, что Достоевскому, „какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ", говорилъ, что сущность и значеніе разсказа и глубоки и многозначительны, что „сила, глубина и оригинальность Достоевскаго признана тотчасъ же всѣми". Многіе однако жъ изъ тогдашнихъ читателей поняли и внѣшніе недостатки писателя: утомляющую растянутость разсказа, ненужныя повторенія и излишнюю плодовитость. Все это приписывали молодости автора, еще не установившагося, не вошедшаго въ надлежащую мѣрку таланта. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу самыхъ страстныхъ, увлекающихся натуръ и, какъ извѣстно, очень скоро разочаровался въ художественной полнотѣ таланта Достоевскаго, и сталъ очень строго относиться къ его произведеніямъ. Въ настоящее время всякій знаетъ, что эта ранняя, первая повѣсть Достоевскаго имѣетъ только историческое значеніе, что общество, къ счастью, далеко ушло отъ ея бѣднаго содержанія, что это не такое художественное произведеніе, къ которому можно обратиться или за поученіемъ, или за высокою прелестью образовъ, никогда не утрачивающихъ своей молодости.

Что такое эта первая повѣсть, которою такимъ блестящимъ образомъ началась литературная дѣятельность Достоевскаго? Это весьма простой разсказъ изъ жизни тѣхъ людей, которые нанимаютъ бѣдную комнату или „уголъ" въ Петербургѣ, ѣдятъ съ грѣхомъ пополамъ, отказываютъ себѣ въ малѣйшей бездѣлицѣ, считая копейки и сберегая кусочки сахару. Всѣ духовные интересы ихъ ограничиваются чтеніемъ случайно попавшей въ руки книжки или представленіемъ на сценѣ Александринскаго театра. Но въ этой скудной жизни не умираетъ человѣческое сердце, горитъ искра чувства, есть свои радости и свои страданія, столь же глубокія, столь же понятныя, какъ и вездѣ, гдѣ страдаетъ и радуется человѣкъ. Пусть однако Достоевскій самъ разскажетъ о содержаніи своихъ „Бѣдныхъ Людей". Онъ читалъ ихъ въ кругу знакомаго се-

*) Н. Буличъ. „Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія". Казань. 1881 г.

мейства: „Старикъ ожидалъ чего-то непостижимо-высокаго, такого, чего онъ пожалуй и самъ не могъ понять, но только непрѣменно высокаго; а вмѣсто того, вдругъ *такіе будни и все такое извѣстное, вотъ точь-въ-точь какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается.* И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой или изъ историческаго чего-нибудь въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, *забитый* и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ осыпались, и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать ни взять, какъ мы сами говоримъ... Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы... Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ... Такъ себѣ, просто разсказецъ: за то сердце захватываетъ, говорилъ онъ: *за то становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ, за то познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой!*“ (*Униж. и Оскорбл.*, стр. 38—39).

Начинающій романистъ выбралъ и форму, употребляемую не искусившимися въ романѣ писателями: форму,—писемъ. Это обстоятельство помѣшало Достоевскому болѣе глубокимъ психологическимъ образомъ развить ту нѣсколько странную старческую привязанность Макара Алексѣевича Дѣвушкина, которую онъ питаетъ въ качествѣ дальняго родственника къ молодой дѣвушкѣ, брошенной обольстителемъ, ее купившимъ. Въ изображеніяхъ жизни, окружающей старика и дѣвушку, мы находимъ тѣ же симпатіи писателя, которыя сохранились въ немъ и въ послѣдніе годы и въ позднѣйшихъ, гораздо шире задуманныхъ романахъ. Таковы у него фигуры бѣдныхъ дѣтей, загнанныхъ, болѣзненныхъ и задумчивыхъ. Нищій ребенокъ, окоченѣвшій отъ мороза, посинѣлый отъ холода, бѣдненькій и запуганный, голодный, кашляющій и чахлый, заглядѣвшійся на куколъ танцующихъ у шарманщика появляется и на страницахъ „Дневника Писателя“. Лицо Варвары Алексѣевны повторилось и въ Наташѣ романа „Униженные и Оскорбленные“ и отчасти въ Софьѣ Мармеладовой въ „Преступленіи и Наказаніи“, хотя самъ Дѣвушкинъ очевидно нарисованъ по типу героя гоголевской „Шинели“. Передъ нами проходятъ тѣ же лица, которыя и позднѣе повторяются нѣсколько разъ, напр., этотъ излюбленный Достоевскимъ типъ

чиновника безъ мѣста, исключеннаго изъ службы и подъ часъ испивающаго: „такой сѣденькій, маленькій; ходитъ въ такомъ засаленномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть... Жалкій, хилый такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ голова дрожитъ, ужъ отъ болѣзни что ли какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой: ужъ я застѣнчивъ подъ часъ, а этотъ еще хуже". Эта фигура, со всегдашнею слезинкою, которая гнойтся у ней на рѣсницахъ— тотъ же типъ смиренія и забитости, какимъ является и самъ Дѣвушкинъ, человѣкъ смирный, человѣкъ маленькій. Герой романа—простой переписчикъ и гордится этимъ: „я работаю, я потъ проливаю"—говоритъ онъ. Кто то назвалъ его крысой. „Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то эта нужна, да крыса-то эта пользу приноситъ, да за крысу-то эту держатся, да крысѣ-то этой награжденіе выходитъ—вотъ она крыса какая!" Бѣдные люди капризны и взыскательны; негаснущая искра человѣческаго достоинства дѣлаетъ ихъ подозрительными. „Онъ, бѣдный-то человѣкъ, взыскателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божій иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ, да прислушивается къ каждому слову,—дескать, не про него ли тамъ что говорятъ?" Какъ требовало время, этотъ бѣдный человѣкъ—„безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей"; онъ никогда не замѣченъ ни въ какихъ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ: „чтобы этакъ противъ постановленій что нибудь или въ нарушеніи общественнаго спокойствія". Правда, и въ его головѣ, особенно когда онъ выпьетъ, невольно иной разъ подымаются „проклятые вопросы". Идетъ онъ по богатой и шумной петербургской улицѣ; блестятъ и горятъ магазины; за зеркальными стеклами разложены наряды, которые богатые люди дарятъ своимъ женамъ, съ грохотомъ несутся экипажи; на бархатѣ и шелку сидятъ въ нихъ разодѣтыя дамы, графини и княгини, и изнываетъ сердце бѣдняка. „Отчего это такъ случается, мучительно стоитъ вопросъ въ его головѣ, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правдѣ-истинѣ, зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И

вѣдь бываетъ жетакъ, что счастье-то Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись; а ты, такой-сякой, только облизывайся: ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ по неволѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ“. И не находитъ мучительный вопросъ жизни отвѣта въ головѣ бѣдняка или разрѣшается смиреннымъ фатализмомъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно повиноваться“. Но этотъ низменный фатализмъ былъ, разумѣется, лишь въ головѣ чиновника Дѣвушкина. Достоевскій думалъ, конечно, иначе и выставляя свои жалкія лица: оборванныхъ, запуганныхъ бѣдняковъ-чиновниковъ, дрожавшихъ предъ *ихъ* превосходительствомъ, бѣдныхъ дѣвушекъ, которыя безъ сознанія, безъ воли, какъ цвѣты подъ морозомъ, гибнутъ жертвами разврата и насилія, болѣзненно-нервныхъ дѣтей съ широко-раскрытыми глазенками, задумывающихся посреди веселья, съ исхудалыми, какъ кисточки, ручками, понималъ, какой міръ онъ изображаетъ.

П. Буличъ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

„Двойникъ. Приключенія господина Голядкина". — „Господинъ Прохарчинъ."—„Романъ въ девяти письмахъ".—„Хозяйка".—„Слабое сердце".— „Чужая жена". „Честный воръ".—„Елка и Свадьба".—„Ревнивый мужъ".— „Бѣлыя ночи".—„Неточка Незванова".—„Маленькій герой".—„Село Степанчиково".—„Дядюшкинъ Сонъ". — „Скверный анекдотъ".—„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ".—„Записки изъ подполья".—„Крокодилъ".— „Игрокъ".—„Вѣчный мужъ" *).

Такъ какъ перечисленные повѣсти и разсказы не играютъ особенной роли въ литературной дѣятельности Достоевскаго и сами по себѣ не представляютъ на столько выдающагося интереса, чтобы ихъ необходимо было изучать въ отдѣльности,—то мы нашли лучшимъ, много не распространяясь, помѣстить критическія статьи о нихъ подъ одной общей рубрикой: „Повѣсти и разсказы," и притомъ—статьи (за исключеніемъ статей Бѣлинскаго), разсматривающія не отдѣльно каждое произведеніе, а за разъ по нѣскольку.

---

*) Эти произведенія первоначально были напечатаны: „Двойникъ" въ „Отеч. Зап." 1846 г., т. 44; „Господинъ Прохарчинъ"—„Отеч. Зап." 1846 г., т. 48; „Романъ въ девяти письмахъ"—„Современникѣ" 1847 г., т. 1; „Хозяйка"— „Отеч. Зап." 1847 г., т. 54 и 55; „Слабое сердце"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 56; „Чужая Жена"—„Отеч, Зап." 1848 г., т. 56; „Честный Воръ"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 57 (подъ названіемъ „Разсказы Бывалаго Человѣка"); „Елка и Свадьба"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 60; „Ревнивый Мужъ"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 61 (впослѣдствіи Достоевскій соединилъ „Чужая Жена" и „Ревнивый Мужъ" въ одинъ разсказъ подъ названіемъ: „Чужая жена и мужъ подъ кроватью". Смотр., Полн. Собран. Соч. Дост., Изд. Стелловскаго 1865 г.); „Бѣлыя ночи"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 61; „Неточка Незванова"—„Отеч. Зап." 1849 г., №№ 1, 2, и 5, т. 62 и 64; „Маленькій Герой" написанъ въ 1849 г., а напечатанъ въ 1857 г. въ „Отеч. Зап.", № 8; „Село Степанчиково"—„Отеч. Зап." 1859 г., т. 127; „Дядюшкинъ Сонъ"—„Русск. Словѣ" 1859 г., т. 2; „Скверный Анекдотъ"—„Времени" 1862 г., кн. II; „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ"—„Времени" 1863 г., кн. 2 и 3; „Записки изъ подполья"— „Эпохѣ" 1864 г., кн. 2 и 4; „Крокодилъ"—„Эпохѣ" 1865 г., кн. 2; „Игрокъ"— Полн. Собран. Соч. Дост., изд. Стелловскаго, 1865 г.

*) „Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,—и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа—г. Голядкинъ—одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на *амбиціи* людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями, рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ не дурно; но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бѣдныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ, и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямою дорогою. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. И такъ герой романа—сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполнена авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ „Двойникѣ“ еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ „Бѣдныхъ Людяхъ“. А между тѣмъ, почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего-де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!... Справедливо ли такое заключеніе?—Мы не обинуясь скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи не понимающей самой себя толпы.

*) В. Бѣлинскій. Сочиненія Бѣлинскаго и „Отеч. Записки“ 1846 г.

Начнемъ съ того, что „Двойникъ“ нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая разстянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта, вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго,—и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Если бъ авторъ „Двойника“ далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключить изъ рукописи его „Двойника“ все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ,—у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ—верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ „Двойникѣ“ ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ „Двойника“ еще не пріобрѣлъ себѣ такта, мѣры и гармоніи, и оттого не безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости „Бѣдныхъ Людей“, хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ „Двойнику“. И такъ, въ этомъ отношеніи, судъ толпы не справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ г. Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своею дорогою, никого не слушая,—или, желая угодить толпѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ отдѣльному чувству мѣры?... По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ идти своею дорогою, съ каждымъ днемъ, естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время, онъ долженъ, обязанъ „принимать къ свѣдѣнію“, чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ „Двойникѣ“ растянутостью, такъ это частое и, мѣстами, вовсе не нужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ, напримѣръ: „Дожилъ я до бѣды, *дожилъ я вотъ такимъ-то манеромъ до бѣды... Это бѣда вѣдь какая!... Эка вѣдь бѣда одолѣла какая!...*“ Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ найдется въ романѣ довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ, въ сознаніи своей силы и своего богатства, какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще „Двойникъ“ носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что если бъ авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой „Двойникъ“, чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки,—мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это, съ одной стороны, показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но, съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи, — даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что... Такого неизчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра,—и это богатство видимо

мучитъ и тяготитъ автора „Бѣдныхъ Людей“ и „Двойника“. Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ „Парижскія Тайны“, „Вѣчный Жидъ“, или „Графъ Монте-Кристо“ были растянуты. И съ одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому, чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины ни истиннаго значенія того, что называютъ они „растянутостью“; они знаютъ только, что чтеніе „Бѣдныхъ Людей“ нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а „Двойникъ“ не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности—сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ „Двойника“, все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что же касается до толковъ большинства, что „Двойникъ“— плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены, и т. п. — объ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогеи своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностію поспѣшатъ схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудрено и окончательно рѣшили по „Двойнику“, что у него или вовсе нѣтъ таланта, или есть да такъ себѣ, небольшой.

* * *

*) Позже въ „Современникѣ", Бѣлинскій писалъ о „Двойникѣ": „Хотя первый дебютъ молодого писателя уже достаточно угладилъ ему дорогу къ успѣху, однако должно сознаться, что „Двойникъ" не имѣлъ никакого успѣха въ публикѣ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведеніе г. Достоевскаго, какъ неудачное и, еще менѣе, какъ не имѣющее никакихъ достоинствъ,—то нельзя также и признать судъ публики неосновательнымъ. Въ „Двойникѣ" авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истины въ этомъ произведеніи много, художественнаго мастерства тоже; но вмѣстѣ съ этимъ тутъ видно страшное неумѣніе владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что въ „Бѣдныхъ Людяхъ" было извинительными для перваго опыта недостатками, въ „Двойникѣ" явилось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣньи богатаго силами таланта опредѣлить разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примѣромъ. Гоголь такъ глубоко и живо концепировалъ идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдѣлать его героемъ еще цѣлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичъ являлся бы вѣрнымъ самому себѣ, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедіи, нѣтъ сомнѣнія, были бы такъ же превосходны, какъ и „Ревизоръ", но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорѣе бы наскучали, нежели нравились, потому что все уха, да уха, хотя бы и „Демьянова", пріѣдается. Какъ скоро поэтъ выразилъ своимъ произведеніемъ идею, его дѣло сдѣлано, и онъ долженъ оставить въ покоѣ эту идею, подъ опасеніемъ наскучить ею. Другой примѣръ на тотъ же предметъ: что можетъ быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедіи, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно онѣ не уступаютъ въ достоинствѣ ни одной изъ остальныхъ сценъ комедіи; почему же онъ выключилъ ихъ?—Потому, что онъ въ высшей степени обладаетъ тактомъ художественной мѣры и не только знаетъ, съ чего на-

*) „Современникъ" 1847 г. и Соч. Бѣлинскаго.

чать и гдѣ остановиться, но и умѣетъ развить предметъ ни больше ни меньше того, сколько нужно. Мы убѣждены, что если бы г. Достоевскій укоротилъ своего „Двойника", по крайней мѣрѣ, цѣлою третью, повѣсть его могла бы имѣть успѣхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колоритъ. Фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находиться въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ, „Двойникъ" оцѣнили только не многіе диллетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоитъ не изъ диллетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читаютъ только то, что имъ непосредственно нравится, не разсуждая, почему имъ это нравится, и тотчасъ закрываютъ книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не нравится большинству, можетъ имѣть свои достоинства; но истинно хорошее произведеніе есть то, которое нравится обѣимъ сторонамъ или, по крайней мѣрѣ, нравясь первой, читается и второю. Гоголь не всѣмъ нравился, да прочли то его всѣ"...

* * *

О повѣсти „Господинъ Прохарчинъ" Бѣлинскій отозвался такъ:

*) „Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не дастъ разсмотрѣть читателю... Не вдохновеніе, не свободное наивное творчество породило эту странную повѣсть, а что-то въ родѣ... какъ бы это сказать?—не то умничанья, не то претензіи... иначе она не была такою вычурною, манерною, непонятною, болѣе похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствѣ ничего не должно быть темнаго и непонятнаго; его произведенія тѣмъ и выше такъ-называемыхъ „истинныхъ происшествій", что поэтъ освѣщаетъ пламенникомъ своей

*) Бѣлинскій. „Современникъ" 1847 г. Также Соч. Бѣлинскаго.

фантазіи всѣ сердечные изгибы своихъ героевъ, всѣ тайныя причины ихъ дѣйствій, снимаетъ съ разсказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбѣжный результатъ достаточной причины. Мы не говоримъ уже о замашкѣ автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, напримѣръ, „Прохарчинъ мудрецъ“ и тѣмъ ослаблять силу его впечатлѣнія: это недостатокъ второстепенный и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя нѣтъ такихъ повтореній. Конечно, мы не въ правѣ требовать отъ произведенія г. Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя; но тѣмъ не менѣе думаемъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примѣромъ еще большаго“.

* * *

Вотъ еще отзывъ Бѣлинскаго о повѣсти „Хозяйка“.

*) „Будь подъ ней подписано какое-нибудь неизвѣстное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повѣсти — нѣкто Ордыновъ; онъ весь погрузился въ занятія науки; какими— объ этомъ авторъ не сказалъ своимъ читателямъ, хотя на этотъ разъ ихъ любопытство было очень законно. Наука кладетъ свою печать не только на мнѣнія, но и на дѣйствія человѣка; вспомните доктора Крупова. Изъ словъ и дѣйствій Ордынова нисколько не видно, чтобъ онъ занимался какою-нибудь наукою; но можно догадываться изъ нихъ, что онъ сильно занимался кабалистикою, чернокнижіемъ, — словомъ, *чаромутіемъ*... Но вѣдь это не наука, а сущій вздоръ; но тѣмъ не менѣе и она наложила на Ордынова свою печать, т. е. сдѣлала его похожимъ на поврежденнаго и помѣшаннаго. Ордыновъ встрѣчаетъ гдѣ-то красавицу купчиху; не помнимъ, сказалъ ли авторъ что-нибудь о цвѣтѣ ея зубовъ, но должно быть, что зубы у нея были бѣлые, въ видѣ исключенія, ради большей поэзіи повѣсти. Она шла объ руку съ пожилымъ купцомъ, одѣтымъ по купечески и съ бородою. Въ глазахъ у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физіологъ предложилъ бы ему хорошую цѣну за то, чтобъ онъ снабжалъ его по временамъ если не глазами, то

*) „Современникъ“ 1848 г. и Соч. Бѣлинскаго.

хоть молніеносными, искрящимися взглядами, для учебныхъ наблюденій и опытовъ. Герой нашъ тотчасъ же влюбился въ купчиху; несмотря на магнетическіе взгляды и ядовитую усмѣшку фантастическаго купца, онъ не только узналъ, гдѣ они живутъ, но и какими-то судьбами навязался къ нимъ въ жильцы и занялъ особую комнату. Тутъ пошли любопытныя сцены: купчиха несла какую-то дичь, въ которой мы не поняли ни единаго слова, а Ордыновъ, слушая ее, безпрестанно падалъ въ обморокъ. Часто тутъ вмѣшивался купецъ, съ его огненными взглядами и съ сардоническою улыбкою. Что они говорили другъ другу, изъ-за чего такъ махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили въ чувство,—мы рѣшительно не знаемъ, потому что изъ всѣхъ этихъ длинныхъ патетическихъ монологовъ не поняли ни единаго слова. Не только мысль, даже смыслъ этой, должно быть, очень интересной повѣсти остается и останется тайной для нашего разумѣнія, пока авторъ не издастъ необходимыхъ поясненій и толкованій на эту дивную загадку его причудливой фантазіи. Что это такое — злоупотребленіе или бѣдность таланта, который хочетъ подняться не по силамъ, и потому боится идти обыкновеннымъ путемъ, и ищетъ себѣ какой-то небывалой дороги? Не знаемъ; намъ только показалось, что авторъ хотѣлъ попытаться помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши сюда немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно натерёвши все это лакомъ русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастическіе разсказы Тита Космократова, забавлявшаго ими публику въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія: все изыскано, натянуто на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво. Что за фразы: Ордыновъ *бичуется* какимъ-то невѣдомо сладостнымъ и упорнымъ чувствомъ; проходитъ мимо *остроумной* мастерской гробовщика; называетъ свою возлюбленную голубицею и спрашиваетъ изъ какого неба она залетѣла въ его небеса. Но довольно, боимся увлечься выписками диковинныхъ фразъ этой повѣсти—конца ихъ не было бы. Что это такое? Странная вещь! Непонятная вещь!"...

В. Бѣлинскій.

* * *

При обозрѣніи русской литературы за 1848 годъ П. Анненковъ въ „Современникѣ“ между прочимъ говоритъ:

*) „Начнемъ съ „Отечественныхъ Записокъ“ (1848 г.), гдѣ образовался кругъ молодыхъ писателей, создавшій уже довольно давно какой-то фантастически-сантиментальный родъ повѣствованій, конечно, не новый въ исторіи словесности, но по крайней мѣрѣ новый въ той формѣ, какая теперь ему дается возобновителями его.

Всякій нѣсколько занимающійся отечественною словесностію, знаетъ напередъ, что изобрѣтатель этого рода былъ г. Ѳ. Достоевскій, авторъ „Бѣдныхъ Людей“. Онъ положилъ ему основаніе повѣстями: „Двойникъ“ и „Хозяйка“, и, какъ видно, собирался дать ему важное значеніе, прерванное однако жъ всеобщимъ неодобреніемъ. Кому не казалось при появленіи „Хозяйки“, что повѣсть эта порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и людей болѣзненная до крайности фантазія? Отсюда выходитъ кругъ писателей, преимущественно занимающихся психологической исторіей помѣшательства. Они уже любятъ сумасшествіе не какъ катастрофу, въ которой разрѣшается всякая борьба, что было бы только не вѣрно и противо-художественно; они любятъ сумасшествіе—для сумасшествія. Съ перваго появленія героя ихъ, движенія его странны, рѣчь безсвязна, и между нимъ и событіями, которыя вскорѣ начинаютъ развиваться около него, завязывается нѣчто въ родѣ пренинанія: кто кого перещеголяетъ нелѣпостью. Надо сознаться, что основатель направленія—Ѳ. Достоевскій, остается до сихъ поръ неподражаемымъ мастеромъ въ изображеніи поединковъ такого рода. Но кто же не согласится, что при этомъ случаѣ сумасшедшіе оказываютъ особенную услугу авторамъ? Они освобождаютъ ихъ отъ труда наблюденія и дѣлаютъ совершенно излишнимъ то художественное чутье, которое указываетъ матеріалы годные и негодные для созданія. Зачѣмъ имъ это? Всякая мысль, первое попавшееся слово, самая произвольная выдумка — все годно для сумасшедшаго: не чиниться же съ нимъ, въ самомъ дѣлѣ! Если бы мы хотѣли подтвердить выписками справедливость нашего сужденія, мы бы могли представить примѣры, ко-

*) „Современникъ“ 1849 г., № 1 и „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, отд. II.

торые были бы приняты, вѣроятно, за неудачную шутку. Разумѣется, что, разъ отдавшись безъ оглядки собственной фантазіи, отдѣленной отъ всякой дѣйствительности, авторы этого направленія уже и не думаютъ объ оттѣнкахъ характеровъ, о живописи, такъ сказать, лица, о нѣжной игрѣ свѣта и тѣни на картонѣ. Требованія эти замѣщаются туманнымъ стремленіемъ къ величію характеровъ, тяжелымъ поискомъ колоссальности въ образахъ и представленіяхъ. И дѣйствительно, къ концу разсказа главное лицо облекается въ нѣкоторый родъ величія, но величіе это весьма близко подходитъ къ тому, которымъ поражаетъ бѣднякъ съ картоннымъ вѣнцомъ на головѣ и деревяннымъ скипетромъ на страдальческомъ ложѣ своемъ.

Въ 1848 году однакожъ авторъ „Хозяйки“ какъ будто вышелъ на свѣтъ послѣ долговременной болѣзни: фантастическій элементъ замѣтно ослабѣлъ въ новыхъ его произведеніяхъ, но за то съ вящшею силою выступилъ другой—сантиментальность. Г-нъ Ѳ. Достоевскій написалъ одну повѣсть: *Слабое сердце* и два разсказа: *Отставной и Честный воръ*. Спѣшимъ сказать, что въ повѣсти своей г. Достоевскій высказалъ несомнѣнный талантъ, въ которомъ смѣшно было бы и отказать автору „Бѣдныхъ Людей“. Правда, тутъ опять является сумасшедшій, но на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, помѣшательство имѣетъ ясную причину, и самый ходъ болѣзни выказанъ ловко. Дѣло вотъ въ чемъ. Два бѣдныхъ чиновника, Аркаша и Вася, нѣжно любящіе другъ друга, живутъ какъ голубки, на одной квартирѣ. Вася—существо любящее, нѣжное, признательное; Аркаша — собственно безличенъ, но всю жизнь его составляетъ одна безпредѣльная привязанность къ Васѣ. Почти въ одно время Вася влюбляется безъ памяти и взыскивается милостію начальника, который даетъ ему денегъ и вмѣстѣ большую работу—переписать къ сроку какое-то дѣло. Восторгъ пріятелей, при стеченіи такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ, невыразимъ; но голова Васи не выдерживаетъ. Чѣмъ сильнѣе кипитъ чувство радости въ душѣ его, тѣмъ менѣе способенъ онъ къ дѣлу, а срокъ работы приближается. Напрасно прилагаетъ онъ всѣ усилія, чтобы свалить этотъ камень: онъ все падаетъ на плечи его. Отчаяніе начинаетъ пробираться въ душу Васи; ему мерещатся упреки, кары, несчастія. Онъ обвиняетъ самого себя

въ забвеніи долга, въ неблагодарности, и наконецъ мѣшается на сумасбродной мысли, что его отдадутъ въ солдаты: вѣдь, онъ такой маленькій человѣкъ! Вотъ повѣсть. Она могла бы служить хорошимъ эпизодомъ въ романѣ. Литературная самостоятельность, данная случаю, хотя и возможному, но до крайности частному, какъ-то странно поражаетъ васъ; но и не тутъ еще настоящая слабая сторона повѣсти. Она именно въ любви Аркаши и Васи, расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что большею частію и не вѣрится ей, а кажется она скорѣе хитростью автора, который вздумалъ на этомъ сюжетѣ руку попробовать. Положимъ, что простые, недальніе люди всегда выражаютъ чувство чѣмъ-то въ родѣ междометій или отрывистыми словами; положимъ, что они до пресыщенія говорятъ другъ другу: милый ты мой, голубчикъ ты мой (даже въ одномъ мѣстѣ у автора: косолапый ты мой!), душка, Васюкъ, Лукаша; положимъ также, что они безпрестанно глядятъ другъ на друга, улыбаются и плачутъ, да на все же есть границы. Особенно для произведеній этого рода существуетъ черта, указываемая вкусомъ, за которой патетическое уже погибаетъ въ крайнемъ ничтожествѣ самихъ героевъ. Къ тому же мы осмѣливаемся, во имя русскаго человѣка, протестовать противъ этой болѣзненной говорливости сердца. Она составляетъ исключительное достояніе разслабленныхъ людей, врядъ-ли способныхъ къ сильному ощущенію; но простой человѣкъ молчаливъ и при немъ. Онъ крѣпко бережетъ добро, цѣну котораго хорошо знаетъ, и тѣмъ непроницаемѣе, чѣмъ незамѣтнѣе его мѣсто на свѣтѣ. За нимъ надо подсматривать въ его хорошія минуты, а не заставлять болтать его. Сама манера автора, слогъ его, который такъ походитъ на продѣлку западныхъ пилигриммовъ, ходившихъ на поклоненія, ступая одинъ шагъ впередъ и два назадъ, еще уменьшаетъ довѣріе къ его описаніямъ, сообщая имъ неестественную фальшивую тучность. Безпрестанное возвращеніе на собственныя фразы, вошедшее, кажется, уже въ привычку у почтеннаго автора, прилагается теперь въ равной степени къ бесѣдѣ двухъ друзей и къ самому разсказу. Вотъ какъ толкуютъ между собою первые:

— „Знаешь что? ты взволнованъ, ты много не наработаешь... Постой, постой, постой—вижу, вижу—слушай!—заговорилъ Нефедовичъ, вскочивъ въ восторгѣ съ постели и пре-

рывая заговорившаго Васю, всѣми силами отстраняя возраженія:—прежде всего нужно успокоиться, нужно съ духомъ собраться: такъ ли?

— Аркаша! Аркаша! закричалъ Вася, вскочивъ съ креселъ.—Я просижу всю ночь, ей-богу просижу!

— Ну, да, да! ты къ утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

— Нѣтъ, нельзя, нельзя; конечно, заснешь въ пять часовъ, засни" и т. д.

И вотъ, какъ говоритъ авторъ отъ себя, по случаю покупки Васей чепчика для своей невѣсты:—Ахъ, Боже мой, да гдѣ же вы найдете чепчикъ лучше? Это ужъ изъ рукъ вонъ! *Гдѣ же вы сыщете лучше?* Я говорю серьезно! Меня наконецъ даже приводитъ въ нѣкоторое негодованіе, *даже огорчаетъ немного* такая неблагодарность влюбленныхъ. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите: что можетъ быть *лучше этого амурчика-чепчика. Ну, глядите!* и т. д. Предоставляемъ судить каждому, какъ это все вѣрно природѣ, и походитъ ли на наивность и добродушіе, за которыми авторъ видимо гнался.

Изъ разсказовъ г. Достоевскаго пропускаемъ *Отставной*, какъ совершенно незначащій, и остановимся на второмъ: *Честный воръ*. Намъ кажется, если мы не ошибаемся, что оба эти разсказа порождены успѣхомъ „Записокъ Охотника" г. Тургенева. Лукавая простота и тонкая наблюдательность послѣднихъ видимо соблазнили г. Достоевскаго, который далъ своимъ разсказамъ одно общее заглавіе, именно: „Разсказы бывалаго человѣка". Тутъ предстояла опасность, что читатели спросятъ: да не сидитъ-ли этотъ бывалый человѣкъ гдѣ-нибудь за письменнымъ столикомъ въ Петербургѣ? Вѣроятно въ предчувствіи подобнаго вопроса со стороны своихъ читателей, авторъ прибавилъ къ заглавію въ скобкахъ: „изъ записокъ неизвѣстнаго", но внизу однакожъ подписалъ большими буквами свое имя. Мы находимся теперь въ недоумѣніи: кому же собственно принадлежатъ разсказы? Г-ну Достоевскому или неизвѣстному, котораго онъ сдѣлался только издателемъ. Всѣ эти маленькія хитрости, отзывающіяся наивной претензіей, нисколько не мѣшаютъ достоинству разсказовъ, если есть достоинство. Во второмъ изъ нихъ: „Честный воръ", намъ еще показалось, что въ глазахъ автора стояли неподражаемыя повѣсти иностраннаго романиста, написавшаго „La

mare au diable“ и „François-le-Champi“. Простота содержанія, взятаго изъ народнаго быта, стараніе открыть тѣ свѣтлыя стороны души, которыя человѣкъ сохраняетъ на всякомъ мѣстѣ и даже въ сферѣ порока, какъ завлеченъ собственной виной или обстоятельствами, наконецъ, мысль заставить говорить человѣка недальняго, но которому превосходное сердце замѣняетъ умъ и образованіе,—все это очень близко намекаетъ на родство русскаго разсказа съ иностранными, приведенными выше. Мы должны быть благодарны автору за подобную попытку *возстановленія* (rehabilitation) человѣческой природы, если бы даже не было нѣсколькихъ мѣстъ въ его повѣсти, дѣйствительно прекрасныхъ, какъ, напримѣръ, то, гдѣ представлена картина нѣмого страданія бѣднаго пьянчужки Емели, послѣ совершонной имъ покражи рейтузъ у своего благодѣтеля портного, но тутъ мы и остановимся. Самому портному, разсказывающему этотъ случай, мы должны отказать въ нашемъ сочувствіи. Онъ болѣе походитъ на ритора, чѣмъ на простодушнаго разсказчика, и за нимъ безпрестанно выглядываетъ самъ авторъ, злоупотребляющій его инструментомъ для совершенія чего-то въ родѣ повѣствовательнаго tour-de-force.

Да, разсказъ портного, — какъ поднялъ онъ въ какомъ-то кабачкѣ бѣднаго Емелю, зашибеннаго винцомъ, призрѣлъ его,—невѣренъ и мало трогаетъ насъ. Въ немъ не достаетъ главнаго: нравственнаго достоинства, такъ необходимаго человѣку, который повѣствуетъ о собственномъ великодушіи. Портной безпрестанно кокетничаетъ добротой своего сердца, а между тѣмъ онъ не такъ добръ, какъ съ перваго разу кажется. Посудите сами. Онъ говоритъ, напримѣръ: „Обрадовался я возвращенію Емели (сбѣжавшаго съ квартиры отъ стыда послѣ покражи рейтузъ), да пуще прежняго тоска къ моей душѣ припаялась. Оно вотъ какъ, сударь, выходитъ: случись, то-есть надо мной такой грѣхъ человѣческій, такъ я, право-слово, говорю: скорѣй какъ *собака издохъ бы, а не пришелъ. А Емеля пришелъ! Ну, натурально,* тяжело человѣка въ такомъ положеніи видѣть“, и проч. Эта фальшивая нота обличаетъ въ портномъ человѣка развитого, да и при томъ еще дурно развитого. Старанія портного возвратить Емелю на путь истины, оставшіяся не только безуспѣшными, но подвинувшія Емелю еще на воровство, высказаны кудряво, но

задушевнаго голоса въ нихъ не слышится. Читатель постоянно занятъ не разсказчикомъ, а манерой автора, его пріемами, его условнымъ стилемъ, которые, дѣйствительно, въ ущербъ внутреннему содержанію повѣсти, безпрестанно напрашиваются на ваше вниманіе, на оцѣнку вашу. Гораздо лучше высказаны очистительныя страданія бѣднаго Емели, когда, попостившись денекъ, другой, онъ крадетъ рейтузы у своего учителя и пропиваетъ ихъ. Съ тѣхъ поръ грызущая совѣсть не даетъ покоя Емелѣ, и этотъ человѣкъ — этотъ пьяница! — умираетъ отъ сознанія своей вины и раскаянія. Но и здѣсь опять досадный портной все дѣло портитъ. Какъ неодолимое препятствіе, стоитъ онъ въ средѣ разсказа, словно нарочно для того, чтобы форма повѣсти не могла никакъ придти въ равновѣсіе съ содержаніемъ. Вотъ, напримѣръ, чѣмъ заключаетъ, онъ повѣствованіе о смерти Емели: „Такъ вотъ, сударь, это я вамъ для того теперь разсказалъ и правоученіе—*если ужъ нужно, чтобъ оно было тутъ* — для того вывожу, чтобъ вы поняли, что если человѣкъ разъ вошелъ въ порокъ, какъ, примѣромъ сказать, Емеля въ пьяную жизнь, такъ постыдное дѣло какое, хотя бы онъ прежде былъ и честный человѣкъ, для него ужъ возможнымъ становится, — то-есть станетъ возможнымъ помыслить о немъ. А какъ у порочнаго человѣка *воли не можетъ быть мужественной,* да и обсужденіе-то не всегда здравое, такъ онъ и совершитъ это постыдное дѣло, и мысль его *нечистая тотчасъ дѣломъ становится.* А какъ совершитъ, да какъ, несмотря на свою порочную жизнь, все еще не загубилъ *въ себѣ всего человѣка* (!), какъ осталось въ немъ сердце хоть на сколько-нибудь, такъ оно тотчасъ нытъ примется, кровью обливается, начнетъ раскаяніе, какъ змѣя его загрызетъ, и умретъ человѣкъ не отъ постыднаго дѣла, а съ тоски, потому что *все свое* самое лучшее (!), что берегъ помимо всего и *во имя чего человѣкомъ еще звался* (!), за ничто загубилъ, какъ Емеля свою честность, что одна только и оставалась за нимъ,—за полштофа *глупой,* горькой сивухи“... Здѣсь уже чисто-начисто стоитъ самъ авторъ; портной нисколько не повиненъ въ этой пышной риторической рѣчи, старающейся поддѣлаться подъ народный говоръ. Съ помощью ея мы можемъ объяснить теперь, почему иностранныя произведенія этого рода такъ теплы и трогательны, и такъ хитры и холодны наши подражанія. Тамъ

явились они отъ презрѣнія къ истертымъ пружинамъ беллетристики, отъ досады на ложный блескъ фразеологіи, скрывающей обманъ или пустоту, отъ жажды простого истиннаго чувства, не удовлетворяемой литературной дѣятельностью общества, перешедшей почти въ ремесло. У насъ наоборотъ: они держатся на уловкѣ и имѣютъ въ основаніи авторскую изворотливость и условную манеру, съ помощью которыхъ сочинитель берется *поставить* вамъ что угодно. Немудрено, что произведеніе такъ написанное, если и производитъ какое-нибудь дѣйствіе на читателя, то конечно совершенно противоположное тому, какое оно имѣло въ виду.

П. Анненковъ.

* * *

*) Кто наблюдалъ въ нашемъ обществѣ надъ тѣмъ, что называется „мелкимъ людомъ", тотъ знаетъ, что кроткіе и покорившіеся люди тоже иногда бываютъ обидчивыми и щепетильными. Это зависитъ отъ отношеній: предъ начальникомъ отдѣленія помощникъ столоначальника — насъ, смирился совершенно; но съ другими помощниками онъ считаетъ себя „въ своемъ правѣ", и за это право держится ревниво и угрюмо. Послѣдняя сторона развита г. Достоевскимъ въ „Двойникѣ", въ которомъ много хорошихъ мѣстъ погибло, къ сожалѣнію, въ общей растянутости и неудачной фантастичности разсказа...

Голядкинъ мучится и сходитъ съ ума вслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ офиціальными требованіями его положенія. Голядкинъ не такъ бѣденъ и задавленъ, какъ Дѣвушкинъ; онъ можетъ себѣ позволять даже нѣкоторый комфортъ; даже въ своемъ кругу видитъ людей, которыхъ *офиціально* имѣетъ право считать ниже себя, такъ какъ состоитъ помощникомъ столоначальника въ департаментѣ. Вслѣдствіе того онъ пріобрѣлъ нѣкоторое условное уваженіе къ себѣ и какое-то смутное понятіе о „своемъ правѣ". Но тутъ онъ и спутался. Случилось обстоятельство, при которомъ нужно было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсѣмъ другое: ему понравилась дѣвушка. Какъ

*) Н. Добролюбовъ. „Забитые Люди". „Современникъ" 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова.

искатель незавидный, онъ былъ отстраненъ, и вотъ тутъ-то перевертываются вверхъ дномъ всѣ его понятія. Макаръ Алексѣичъ нашелъ возможность удовлетворить добротѣ своего сердца, быть полезнымъ для любимаго существа, и потому въ немъ все больше и яснѣе развивается гуманное сознаніе, понятіе объ истинномъ человѣческомъ достоинствѣ. Яковъ Петровичъ Голядкинъ, напротивъ, получилъ нѣсколько афронтовъ отъ родныхъ своей возлюбленной и отъ своего соперника, и потому оскорбленный въ своемъ человѣческомъ чувствѣ, но, не умѣя хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. „Это моя частная жизнь, это не касается моихъ офиціальныхъ отношеній“, находится онъ сказать, когда ему отказываютъ отъ званаго обѣда въ домѣ родителя его возлюбленной. И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются; онъ уже не знаетъ, что же онъ—въ правѣ или не въ правѣ... Онъ чувствуетъ только одно — что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми—врагами и недругами,—все не удается, характера не хватаетъ... И приходитъ онъ къ idée fixe, къ пункту своего помѣшательства: что жить на свѣтѣ можно только интригами, что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ... И вотъ у него является на умѣ рѣшимость — тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но гдѣ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... „Натура-то твоя такова: душа ты правдивая,— разсуждаетъ онъ самъ съ собою.—Нѣтъ, ужъ лучше мы съ тобой потерпимъ, Яковъ Петровичъ,—подождемъ и потерпимъ“. И къ этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характеръ,—мысль, что все еще „можетъ объясниться и устроиться къ лучшему“. Оттого-то онъ никакъ не можетъ ни на что рѣшиться, даже высказаться порядкомъ не можетъ, и, несмотря на „присутствіе страшной энергіи въ себѣ“, вѣчно мнется, труситъ и ворочается съ половины дороги. Все, что въ немъ было живого, здраваго и сознательнаго, какъ-то не выливалось въ обычную форму, въ которой онъ доселѣ сидѣлъ такъ хорошо, и, едва поднявшись, осѣдало опять на дно его души, но осѣдало какъ-то безпорядочно, болѣзненно, совершенно не подъ-стать къ стройности чиновнаго механизма, въ которомъ онъ былъ вставленъ. Характеризуя его

противорѣчія, авторъ между прочимъ говоритъ: „Позволить обидѣть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тѣмъ болѣе—дозволить затереть себя, какъ ветошку, и наконецъ дозволить это совсѣмъ развращенному человѣку... Не споримъ, впрочемъ, не споримъ: можетъ быть, если бъ кто захотѣлъ, если бъ ужъ кому, напримѣръ, вотъ непремѣнно захотѣлось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, обратилъ бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ въ иной разъ это чувствовалъ), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ,—такъ, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы съ амбиціей, была бы съ одушевленіемъ и чувствами, *хотя бы и съ безотвѣтной амбиціей и безотвѣтными чувствами и далеко въ грязныхъ складкахъ этой ветошки скрытыми,* но *все-таки съ чувствами*". Мнѣ кажется, трудно лучше характеризовать положеніе забитыхъ людей, подобныхъ Голядкину, людей, дѣйствительно какъ будто превращенныхъ въ тряпицу и только въ грязныхъ складкахъ хранящихъ остатки чего-то человѣческаго, неслышнаго, безотвѣтнаго, но все какъ-то по временамъ дающаго себя чувствовать. Вотъ оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкія сомнѣнія и вопросы на бѣдный разсудокъ и фантазію Якова Петровича. „Такъ это не такъ? Тутъ не каждый въ своемъ правѣ? Тутъ берутъ интригами? Давай же, когда такъ, и я буду интриговать... Да гдѣ мнѣ интриговать? Натура у меня глупая—правдивая,—никогда окольными путями... Но другіе-же всѣ окольными путями ходятъ, иначе человѣка затрутъ, а я затереть себя не могу позволить... А что въ самомъ дѣлѣ, если бъ я"... И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ меланхоліи и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвоется, самого себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходитъ въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатокъ гдѣ-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуютъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создастъ ему „Двойника". Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно ли я понимаю

основную идею „Двойника“; никто, сколько я знаю, въ разъясненіи ея не хотѣлъ забираться далѣе того, что „герой романа — сумасшедшій“. Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ — тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собою сложилось у меня въ головѣ при перелистываніи этой повѣсти. Авторъ, кажется, самъ не чуждъ былъ такого объясненія: такъ, по крайней мѣрѣ, представляется по нѣкоторымъ мѣстамъ повѣсти. Напр., первое признаніе г. Голядкинымъ своего двойника описывается авторомъ такъ: „Это былъ не тотъ г. Голядкинъ, который служилъ въ качествѣ помощника своего столоначальника; *не тотъ, который любилъ стушеваться и зарыться въ толпу;* не тотъ, наконецъ, *чья походка ясно выговариваетъ: не троньте меня, и я васъ трогать не буду“ или: „не троньте меня,—вѣдь я васъ не затрогиваю“*, — нѣтъ, это былъ другой господинъ Голядкинъ, *совершенно другой,* но вмѣстѣ съ тѣмъ и *совершенно похожій на перваго“*. И далѣе безпрестанно г. Голядкинъ-младшій ведетъ себя съ такою ловкостью и безстыдствомъ, какія только въ мечтахъ и возможны: онъ ко всѣмъ подбивается, передъ всѣми семенитъ, бѣгаетъ съ портфелемъ его превосходительства, изъ чего г. Голядкинъ-старшій заключаетъ, что онъ уже „по особому“... Г. Голядкинъ-младшій всегда умѣетъ остаться первымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвернуться и подольститься, когда нужно; онъ способенъ даже заставить другого заплатить за съѣденные имъ растягаи; и при всемъ томъ онъ со всѣми хорошъ, онъ смѣло разсуждаетъ тамъ, гдѣ Голядкинъ-старшій умильно теряется, онъ сидитъ въ гостиной тамъ, куда Голядкинъ-старшій и въ переднюю показать носъ боится... Нечего и говорить, что г. Голядкинъ все это самого себя рисуетъ въ видѣ двойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастическіе подвиги, онъ имѣетъ мысль, что вотъ поступай онъ только такимъ образомъ (какъ *нѣкоторые люди* и поступаютъ)—и по службѣ онъ успѣвалъ бы, и насмѣшкамъ товарищей не подвергался, и не былъ бы затертъ какимъ-нибудь выскочкой, раньше его получившимъ коллежскаго, и главное — не былъ бы такъ безбожно обиженъ драгоцѣнною Кларою Олсуфьевною и ея родными. Но вмѣсто того, чтобы любоваться на

подобные подвиги, г. Голядкинъ возмущается противъ нихъ всею долею того забитаго, загнаннаго сознанія, какая ему осталась послѣ ровнаго и тихаго гнета жизни, столько лѣтъ непрерывно покоившагося на немъ. Ему противны даже въ мечтахъ тѣ поступки, тѣ средства, которыми выбиваются „нѣкоторые люди"; онъ съ постояннымъ страхомъ отбрасываетъ свои же мечты на другое лицо и всячески позоритъ и ненавидитъ его. Въ минуты же просвѣтлѣнія, когда онъ опять начинаетъ яснѣе сознавать свою собственную личность, онъ вспоминаетъ о своихъ поползновеніяхъ на хитрость, ему мерещится строгій голосъ старика Антона Антоныча: „А что, и вы тоже собирались хитрить?"—и блѣднѣетъ, теряется,—и снова представляется ему образъ его двойника, который бы изъ всего этого вывернулся, посеменивъ ножками, и еще сильнѣе растетъ раздраженіе г. Голядкина противъ такой подлой, зловредной личности... Порою къ нему возвращаются прежнія мысли, что, можетъ быть, все устроится къ лучшему, — и вотъ ему разъ представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плѣненная его качествами, присылаетъ ему письмо, въ которомъ приказываетъ увести ее отъ злостныхъ и неблагонамѣренныхъ интригантовъ. И г. Голядкинъ точно отправляется подъ окна Клары Олсуфьевны—ждать ее, а отсюда уже отвозятъ его въ сумасшедшій домъ...

Ну, посудите же—зачѣмъ было сходить съ ума человѣку? Оставайся бы онъ только вѣренъ безмятежной теоріи, что онъ въ своемъ правѣ, и всѣ въ своемъ правѣ, что если новый коллежскій раньше его произведенъ, — такъ этому такъ и слѣдуетъ быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, такъ опять это значитъ, что ему къ ней и соваться не слѣдовало,—словомъ, продолжай онъ идти своей дорогой, никого не затрогивая, и помни, что все на свѣтѣ законнѣйшимъ образомъ распредѣляется по способностямъ, а способности самою натурою даны и т. д. — вотъ и продолжалъ бы человѣкъ жить въ прежнемъ довольствѣ и спокойствіи. Такъ вѣдь нѣтъ же: встало что-то со дна души и выразилось мрачнѣйшимъ протестомъ, къ какому только способенъ былъ ненаходчивый господинъ Голядкинъ,—сумасшествіемъ... Не скажу, чтобъ г. Достоевскій особенно искусно развилъ идею этого сумасшествія, но надо признаться, что тема его—раздвоеніе слабаго, безхарактернаго и необразованнаго человѣка между

робкой прямотой дѣйствій и платоническимъ стремленіемъ къ интригѣ, раздвоеніе, подъ тяжестью котораго сокрушается наконецъ разсудокъ бѣдняка, — тема эта, для хорошаго выполненія, требуетъ таланта очень сильнаго. При хорошей обработкѣ, изъ г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а типъ, многія черты котораго нашлись бы во многихъ изъ насъ. Припомните ваши встрѣчи съ чиновнымъ людомъ; припомните тѣхъ, которые называютъ себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правдѣ жить. Вспомните, какъ они любятъ говорить о своей неискательности, и какъ иногда вдругъ, круто измѣняется направленіе разговора при упоминаніи о комъ-нибудь изъ ихъ сослуживцевъ, начальниковъ или знакомыхъ, успѣвающемъ больше другихъ. Тутъ сейчасъ пойдетъ: и „хорошо тому жить, у кого бабушка ворожитъ", и „правдой вѣкъ не проживешь", и жалобы на собственную неспособность къ подлостямъ, и ироническое, какъ будто уничижительное перечисленіе собственныхъ заслугъ: „что, дескать, мы—что по шести часовъ спины не разгибаемъ, да дѣла-то всѣ нами держатся — эка важность... А вотъ — пойти къ его превосходительству на балъ, да польку тамъ отхватать, да по утрамъ, вмѣсто дѣла то, по магазинамъ разъѣзжать—его супруги комиссіи исполнять — вотъ это дѣло, вотъ съ этимъ и въ честь попадешь. А мы —что? Клячи водовозныя, волы подъяремные — только въ черную работу и годимся"... и т. д. А затѣмъ разговоръ непремѣнно принимаетъ такой оборотъ: что вѣдь „и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить"... и въ доказательство разскажутъ вамъ нѣсколько случаевъ, гдѣ точно человѣку удобно было сподличать, а онъ не захотѣлъ... Во всѣхъ подобныхъ господахъ рѣшительно сидитъ тенденція г. Голядкина къ сумасшедшему дому; дайте имъ только побольше мечтательности и меланхоліи—и переходъ будетъ не далекъ...

Господинъ Голядкинъ, впрочемъ, человѣкъ ужъ совсѣмъ сумасшедшій; оставимъ его. А вотъ еще лицо у г. Достоевскаго, тоже сумасшедшій, но скорѣе только мономанъ—г. Прохарчинъ, человѣкъ этотъ тоже сообразилъ, должно быть, еще при началѣ своего служебнаго поприща, что „одному на свѣтѣ назначено въ каретахъ ѣздить, другому въ худыхъ сапогахъ по грязи шлепать", и, причисливъ себя къ послѣднему раз-

ряду, нанялъ себѣ уголъ и живетъ, не думая пытать судьбы своей. Но прочнаго спокойствія нѣтъ у него на душѣ; характеръ у него боязливый, какъ у всѣхъ забитыхъ, и хоть онъ твердо вѣруетъ въ нерушимость своей философіи, но на свѣтѣ видитъ и случайности разнаго рода: болѣзни, пожары, внезапныя увольненія отъ службы по желанію начальства... Бѣдняка начинаетъ преслѣдовать мысль о непрочности, *о необезпеченности его положенія*. Мысль, конечно, естественная. Натуралень и результатъ ея—рѣшеніе откладывать и копить деньги, на всякій случай. Но исполненіе уже дико, хотя тоже понятно въ г. Прохарчинѣ: онъ прячетъ звонкую монету себѣ въ тюфякъ... Да и куда же ему дѣвать въ самомъ дѣлѣ? Въ сундукъ положить—утащатъ; поручить кому-нибудь—никому довѣриться нельзя; въ ломбардъ положить — помилуйте, это значитъ, прямо объявить себя богачомъ, Крезомъ какимъ-то. „У него деньги въ ломбардѣ лежатъ“ — знаете ли вы, какъ звучитъ эта фраза въ кругу мелкихъ чиновниковъ, а тѣмъ болѣе обитателей угловъ!... Вотъ г. Прохарчинъ и прячетъ деньги въ тюфякъ, и 10 лѣтъ прячетъ, и 15, и 20, можетъ быть, и больше, и даже самъ, кажется, высчитать хорошенько не можетъ, сколько у него тамъ спрятано, а потревожить тюфякъ—боится любопытныхъ глазъ... Живетъ онъ довольно спокойно, т. е. передъ всякимъ сторонится, всего робѣетъ и радъ, что его не трогаютъ. Вдругъ вмѣстѣ съ нимъ поселяются новые жильцы — хорошіе люди, но „надсмѣшники“. Замѣтивъ боязливость Прохарчина и постоянную мысль его о необезпеченности,—давай они между собою сочинять слухи—то о сокращеніи штатовъ, то объ экзаменахъ для старыхъ чиновниковъ, то о желаніи его превосходительства уволить всѣхъ чиновниковъ съ непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелыхъ временахъ... И что бы вы думали! Вѣдь совсѣмъ сбился съ толку бѣдняжка Прохарчинъ: ходитъ самъ не свой, лица на немъ нѣтъ, такъ и ждетъ, что его выгонятъ изъ службы, и тогда что же съ нимъ будетъ? Запасецъ хоть и сдѣланъ, да вѣдь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волненіе Прохарчина выразилось, какъ видится, между прочимъ, тѣмъ, что онъ, встрѣтясь съ какимъ-то закоснѣлымъ пьянчужкой, хватилъ черезъ край и привезенъ домой въ безчувствіи и больной. Едва очнувшись, онъ началъ бредить и тосковать о томъ, что вотъ живешь-

живешь, да и съ сумочкой, нынче нуженъ, завтра нуженъ, а потомъ и не нуженъ, и ступай по міру... Его начинаютъ убѣждать, что ему бояться нечего: человѣкъ онъ хорошій и проч... Онъ отвѣчаетъ: „да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь, лежишь, да и того"...—Чего?—Анъ и вольнодумецъ"... Всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе при одной мысли, что Прохарчинъ можетъ быть вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: „стой, я не того... ты пойми только; баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебѣ, и пошелъ вольнодумецъ"!... Словомъ сказать, господинъ Прохарчинъ сдѣлался истиннымъ вольнодумцемъ: не только въ прочность мѣста, но даже въ прочность собственнаго смиренія пересталъ вѣрить. Точно будто вызвать на бой кого-то хочетъ: „да что, дескать, вѣчно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Вѣдь я и сгрублю, пожалуй,—я и сгрубить могу... Только, что тогда будетъ"?... Но разгулялся этакъ господинъ Прохарчинъ передъ смертью: въ ту же ночь, не осиливъ волненія, онъ умеръ, возбудивъ вообще сожалѣніе въ жильцахъ. А по смерти его нашли въ тюфякѣ, въ разныхъ сверточкахъ, серебряной монеты на 2,497 рублей съ половиною ассигнаціями, — отчего жильцы и въ особенности хозяйка пришли уже въ негодованіе...

Господинъ Прохарчинъ, какъ забитый, запуганный человѣкъ, ясенъ; о немъ и распространяться нечего. О его внезапной тоскѣ и страхѣ отставки тоже нечего разсуждать. Привести развѣ мнѣніе его сожителей, во время его болѣзни: „Всѣ охали и ахали; всѣмъ было и жалко и горько, и всѣ межъ тѣмъ дивились, что вотъ какъ же это такимъ образомъ могъ совсѣмъ заробѣть человѣкъ? И изъ чего жъ заробѣлъ? Добро бы былъ при мѣстѣ большомъ, женой обладалъ, дѣтей поразвелъ; добро бъ его тамъ подъ судъ какой ни-на-есть притянули; а то вѣдь и человѣкъ совсѣмъ дрянь; съ однимъ сундукомъ и съ нѣмецкимъ замкомъ; лежалъ слишкомъ двадцать лѣтъ за ширмами, молчалъ, свѣту и горя не зналъ,— скопидомничалъ, и вдругъ вздумалось теперь человѣку, съ пошлаго, съ празднаго слова какого-нибудь, совсѣмъ перевернуть себѣ голову, совсѣмъ забояться о томъ, что на свѣтѣ вдругъ стало жить тяжело... *А и не разсудилъ человѣкъ, что всѣмъ тяжело!.. Прими онъ вотъ только это въ расчетъ,* го-

ворилъ потомъ Океаніевъ, *что вотъ всьмъ тяжело, такъ сберегъ бы человѣкъ свою голову, пересталъ бы куралесить и потянулъ бы свое кое-какъ, куда слѣдуетъ*".

И вѣдь правъ Океаніевъ: дѣйствительно, Прохарчинъ оттого и погибъ, что съ пути здравой философіи сбился.

Но кто же не сбивался съ нея? У кого не бывало случаевъ, порывовъ, увлеченій, внезапно нарушавшихъ ровный ходъ мирноустроеннаго механизма жизни?

Вотъ еще, пожалуй, примѣръ, изъ г. Достоевскаго: юный чиновникъ, Вася Шумковъ, изъ низкаго состоянія трудолюбіемъ и благонравіемъ вынелъ, за почеркъ и кротость любимъ начальствомъ и самимъ его превосходительствомъ Юліаномъ Мастаковичемъ, получаетъ отъ него приватныя бумаги для переписки, да еще за эту честь и деньгами отъ него награждается время отъ времени. Къ этому еще, онъ имѣетъ преданнаго друга Аркашу; мало того, онъ полюбилъ, заслужилъ взаимность и уже женихомъ объявленъ... Чего ему еще! Онъ переполненъ счастьемъ; жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья, да приватныхъ отъ Юліана Мастаковича—житье съ женою хоть куда! Они же такъ любятъ другъ друга! Вася ничего не помнитъ, ни о чемъ не думаетъ, кромѣ своей невѣсты; у него есть бумаги, данныя для переписки Юліаномъ Мастаковичемъ; сроку остается два дня, но Вася, съ свойственнымъ влюбленному легкомысліемъ, говоритъ: „еще успѣю", и не выдерживаетъ, чтобъ вечеромъ подъ новый годъ не отправиться съ пріятелемъ къ невѣстѣ... Но, возвратившись домой и засѣвши на цѣлую ночь писать, онъ поражается суровою дѣйствительностію: всѣхъ бумагъ никакъ не перепишешь къ сроку, — а завтра къ тому же новый годъ, надо еще идти — расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживаетъ, обѣщая за него расписаться,—Вася боится, что Юліанъ Мастаковичъ могутъ обидѣться. Напрасно также добрый другъ уговариваетъ его не сокрушаться, напоминая о великодушіи Юліана Мастаковича: это еще болѣе убиваетъ Васю. Какъ, онъ, ничтожный червякъ, презрѣнное, жалкое существо, — удостоенъ такого высокаго вниманія, получаетъ частныя приказанія, слышитъ милостивыя слова... и вдругъ—что же?—нерадѣніе, неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего поступка Вася и измѣрить не можетъ, ибо соразмѣряетъ

ее съ разстояніемъ, раздѣляющимъ его отъ Юліана Мастаковича,—а кто же можетъ измѣрить это разстояніе?! У бѣдняка голова кружится при одномъ взглядѣ на эту страшную пропасть... Онъ было думаетъ идти къ Юліану Мастаковичу и принесли повинную; но какъ рѣшиться на подобную дерзость? Другъ его хочетъ объясниться за своего друга, даже отправляется къ его превосходительству, но заговорить тоже не рѣшается. Бѣдный Вася сидитъ за письмомъ два дня и двѣ ночи, у него мутится въ головѣ, онъ уже ничего не видитъ и водитъ сухимъ перомъ по бумагѣ. Наконецъ, любовь, ничтожество, гнѣвъ Юліана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страхъ на свое полнѣйше безсиліе—сламываютъ несчастнаго; онъ убѣждается, что ему теперь одна дорога—въ солдаты, и мѣшается на этой мысли. Юліанъ Мастаковичъ благодушно замѣтилъ: „Боже, какъ жаль! И дѣло то, порученное ему, было неважное, и вовсе неспѣшное... Такъ-таки, ни изъ-за чего погибъ человѣкъ!“

Положимъ, что г. Достоевскій слишкомъ ужъ любитъ сводить съ ума своихъ героевъ; положимъ, что у Васи его ужъ до-нельзя *слабое сердце* (такъ и повѣсть незывается). Но всмотритесь въ основы этой повѣсти, — вы придете къ тому же результату: что идеальная теорія общественнаго механизма, съ успокоеніемъ всѣхъ людей на своемъ мѣстѣ и на своемъ дѣлѣ, вовсе не обезпечиваетъ вообще благоденствія. Оно точно, будь на мѣстѣ Васи писальная машинка, было бы превосходно. Но въ томъ-то и дѣло, что никакъ человѣка не усовершенствуешь до такой степени, чтобъ онъ ужъ совершенно машиною сдѣлался; въ большой массѣ еще такъ—это мы видимъ въ военныхъ эволюціяхъ, на фабрикахъ и проч., но пошло дѣло по одиночкѣ — не сладишь. Есть такіе инстинкты, которые никакой формѣ, никакому гнету не поддаются и вызываютъ человѣка на вещи совсѣмъ несообразныя, черезъ что, при обычномъ порядкѣ вещей, и составляютъ его несчастіе. Вотъ хотя бы для этого Васи;—если ужъ пробудилось въ немъ чувство, если ужъ онъ не можетъ отстранить отъ себя человѣческихъ потребностей, то ужъ гораздо лучше было бы для него вовсе и не имѣть этого похвальнаго сознанія о своемъ ничтожествѣ, о своемъ безпредѣльнѣйшемъ, жалкомъ недостоинствѣ предъ Юліаномъ Мастаковичемъ. Смотря на дѣло обыкновеннымъ образомъ, онъ сказалъ бы просто: „ну,

что же дѣлать,—не успѣлъ; обстоятельства такія вышли",— и остался бы довольно спокоенъ. А много ли найдемъ мы людей въ положеніи Васи, которые бы способны были къ такой храбрости? Большая часть, проникнутая сознаніемъ своего безсилія и величіемъ начальнической милости, — съ трепетомъ возится за его порученіемъ, и хоть не сходитъ съ ума, но сколько выдерживаетъ опасеній, сомнѣній, сколько тяжелыхъ часовъ переживаетъ, ежели что-нибудь не сдѣлается, или сдѣлается не совсѣмъ такъ, какъ поручено... И все это вѣдь не изъ-за дѣла (до котораго Васѣ и всякому другому подобному ни малѣйшей нужды нѣтъ), а именно изъ-за того, какъ взглянутъ, что скажутъ,—изъ-за того, что отъ этого взгляда жизнь Васи зависитъ, въ этомъ словѣ вся его участь, можетъ, заключается.

Говорятъ, отрадно человѣку имѣть за собою кого-нибудь, кто о немъ заботится, за него думаетъ и рѣшаетъ, всю его жизнь, всѣ его поступки и даже мысли устраиваетъ. Говорятъ, это такъ согласно съ естественной инерціей человѣка, съ его потребностью отдаваться кому-нибудь беззавѣтно, поставить для души какой-нибудь образецъ и владыку, въ волѣ котораго можно бы почивать спокойно. Все это очень можетъ быть справедливо въ извѣстной степени, и можетъ оправдываться даже исторіею. Но едва ли это мнѣніе можетъ найти себѣ оправданіе въ тенденціяхъ современныхъ обществъ. Оттого-ли, что общества новыхъ временъ вышли изъ состоянія младенчества, въ которомъ естественное чувство безсилія необходимо заставляетъ искать чужого покровительства; оттого-ли, что прежніе, извѣстные намъ изъ исторіи покровители и опекуны обществъ часто такъ плохо оправдывали надежды людей, довѣрявшихъ имъ свою участь, — но только теперь общественныя тенденціи повсюду принимаютъ болѣе мужественный, самостоятельный характеръ. Высокія добродѣтели слѣпой, безумной преданности, безусловнаго довѣрія къ авторитетамъ, безотчетной вѣры въ чужое слово—становятся все рѣже и рѣже; мертвенное подчиненіе всего своего существа извѣстной формальной программѣ — и въ орденѣ іезуитовъ осталось уже едва ли не на бумагѣ только.

Слѣдовало бы ожидать, что, при всеобщемъ стремленіи къ поддержанію своего человѣческаго достоинства, исчезнутъ и тѣ забитыя личности, которыхъ нѣсколько экземпляровъ взяли

мы у г. Достоевскаго. Однакожъ, оглянитесь вокругъ себя— вы видите, что онѣ не исчезли, что герои г. Достоевскаго— явленіе вовсе не отжившее. Отчего же они такъ крѣпятся? Хорошо, что ли имъ? Нѣтъ, мы видѣли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастія его забитость, безотвѣтность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что ли, въ нихъ все человѣческое? Нѣтъ и не замерло. Мы нарочно прослѣдили четыре лица, болѣе или менѣе удачно изображенныхъ авторомъ, и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупѣютъ, забываются въ полуживотномъ снѣ, обезличиваются, стираются, теряютъ, повидимому, и мысль, и волю, и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія навожденія мысли и урѣзяя себя, что это не ихъ дѣло... Но искра Божія все-таки тлѣется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человѣкъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человѣка, обратить въ грязную ветошку, но все-таки гдѣ-нибудь въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки сохранится и чувство и мысль,— хоть и безотвѣтныя, незамѣтныя, но все же чувство и мысль...

„А что же въ нихъ, если они незамѣтны и безотвѣтны,— скажетъ читатель. Все равно, значитъ, что ихъ и нѣтъ. И вотъ по этому то, вѣроятно, и продолжаютъ до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забитыя до степени грязной ветошки, объ которую обтираютъ ноги“.

Мало-ли что незамѣтно, читатель,—незамѣтно потому, что не хотятъ замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываетъ такая пора, что все выходитъ наружу. Вѣдь вотъ г. Достоевскій нашелъ же возможность подсмотрѣть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревенѣлыхъ чертахъ своихъ героевъ. А бываютъ такіе случаи, что „безотвѣтное“ чувство, глубоко запрятанное въ человѣкѣ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышатъ его. Дѣло въ томъ, что въ человѣкѣ ничѣмъ незаглушимо чувство справедливости; онъ можетъ смотрѣть безмолвно на всякія неправды, можетъ терпѣть всякія обиды безъ ропота, не выразитъ ни однимъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителенъ къ неправдѣ, насколько ее видитъ и понимаетъ, все-таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, и терпѣнію даже самаго убитаго и трусливаго человѣка всегда есть предѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ человѣкѣ необходимо есть чувство

любви;—всякій имѣетъ кого-нибудь, дорогого для себя,—друга, жену, дѣтей, родныхъ, любовницу. На нихъ примѣриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствѣ думаетъ, и со стороны ему разсуждается вольнѣе и яснѣе. Себя, положимъ, Макаръ Алексѣевичъ обрекъ на горькую долю и о себѣ не жалѣетъ; я ужъ, говоритъ, таковскій, — пусть мною всѣ помыкаютъ... и не доѣмъ-то я — не бѣда, и обидятъ-то меня — такъ не великъ баринъ. Но вотъ его чувство обращается на чистое, нѣжное существо, которое дѣлается ему всего дороже въ жизни, на Вареньку: онъ уже предается сожалѣнію о ея несчастіяхъ, находитъ ихъ незаслуженными, заглядываетъ въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки: ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, разъѣзжающій въ каретахъ и перепархивающій изъ одного великолѣпнаго магазина въ другой, словомъ, скрытая боль, накипѣвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предполагать, не зная дѣла; бываетъ это тѣмъ чаще, что въ большинствѣ случаевъ человѣкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стѣсненъ и въ матеріальномъ отношеніи, а между тѣмъ принужденъ бываетъ выполнять разныя общественныя условія. Макаръ Алексѣичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидѣвъ его плачевный вицъ-мундиръ, говоритъ, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою департаментскаго сторожа, не давшаго ему щетки почистить шинель, подъ тѣмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно испортить... Въ самомъ дѣлѣ, каково положеніе: поставленъ человѣкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дѣло, быть одѣтымъ, какъ они, пить и есть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хоть подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ, — хоть бы какіе-нибудь сапоги,—такъ и тѣхъ нѣтъ; были одни, да и у тѣхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексѣевича: „пожалуй, и самъ я скажу, что не нужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ рѣшите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно

погубить". И мало ли людей, страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человѣкъ, до чего онъ униженъ, до чего онъ обиженъ жизнію; тутъ-то посылаетъ онъ желчные укоры тому, на чемъ, повидимому, такъ сладостно покоится въ другое время, по изложенной выше философіи Макара Алексѣича. И въ этомъ то пробужденіи человѣческаго сознанія онъ всего болѣе заслуживаетъ наше сочувствіе, и возможностью подобныхъ сознательныхъ движеній онъ искупаетъ ту противную, апатичную робость и безотвѣтность, съ которою всю жизнь подставляетъ себя чужому произволу и обидѣ.

Но отчего же подобныя вспышки „Божьей искры" такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ,— не могли бы они и быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значитъ, о томъ, отчего образуются въ значительной массѣ такіе характеры, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Если „Бѣдные Люди" связаны съ Гоголевскою „Шинелью", то „Двойникъ" не менѣе тѣсно связанъ съ „Записками сумасшедшаго", только разница въ томъ, что Гоголь набросалъ свой психологическій очеркъ немногими мастерскими чертами, съ сжатостію, свойственною великому художнику, у Достоевскаго же замѣтна крайняя расплывчивость и растянутость. За то, съ другой стороны, если Добролюбо-

*) О. Миллеръ. „Публичныя лекціи".

вымъ вѣрно истолкованъ смыслъ, вложенный Достоевскимъ въ своего „Двойника“, то произведеніе это, по глубинѣ мысли, превосходитъ „Записки сумасшедшаго“. Этотъ фантастическій двойникъ, по толкованію Добролюбова, есть не что иное, какъ внутреннее раздвоеніе одной и той же личности. Голядкинъ сознаетъ, что для успѣха въ жизни ему нужно умѣніе заискивать въ людяхъ, нужны такія качества, какихъ въ немъ нѣтъ, — и вотъ эта-то практическая, недостающая ему способность подслуживанія и олицетворяется имъ въ лицѣ г. Голядкина младшаго, который своей пронырливостію постоянно перебиваетъ дорогу г. Голядкину старшему. Какъ бы то ни было, герой повѣсти въ своемъ помѣшательствѣ постоянно занятъ столкновеніями со своимъ двойникомъ, т. е. съ другимъ воображаемымъ *самимъ собою*, а это можетъ быть объяснено только такимъ предшествующимъ психическимъ состояніемъ, которое не выпускало его изъ заколдованнаго круга *личныхъ* заботъ и стремленій.

Извѣстно, что Добролюбовъ въ своей статьѣ, намѣтивъ основной смыслъ многихъ дѣйствующихъ лицъ Достоевскаго, упоминаетъ мимоходомъ и о той странной, хотя и не сходящей съ ума, но душевно далеко не здоровой личности, которая является въ повѣсти „Село Степанчиково“ подъ именемъ Оомы Оомича. Личность эта представляетъ замѣчательный съ психологической глубиной воспроизведенный нашимъ авторомъ переходъ изъ положенія человѣка оскорбленнаго, униженнаго — въ положеніе человѣка оскорбляющаго, при представившейся возможности забрать власть въ свои руки.— Ома Оомичъ, долго бывшій приживальщикомъ въ домѣ стараго самодура генерала, вдругъ переходитъ къ человѣку, который отличается самымъ кроткимъ, гуманнымъ характеромъ, и, пользуясь этимъ, приживальщикъ забираетъ въ руки не только хозяина, но и весь домъ. Онъ съ какимъ-то наслажденіемъ продѣлываетъ надъ другими то, что самъ вынесъ: загнанность его прежняго положенія развила въ немъ эгоизмъ до послѣднихъ предѣловъ. Впрочемъ, въ концѣ повѣсти (на это не обратила вниманіе критика), ему представляется возможность подняться нравственно: отъ него зависитъ разстроить бракъ добряка полковника съ нѣжно привязавшейся къ нему гувернанткой и такимъ образомъ отомстить полковнику за то, что онъ, было, попытался нѣсколько пообуздать

самоуправство Ѳомы Ѳомича, — но Ѳома Ѳомичъ вдругъ отказывается отъ мести; онъ великодушно содѣйствуетъ этому браку, и такимъ образомъ изъ маленькаго тирана подчинившагося ему дома неожиданно превращается въ благодѣтеля.

Нѣкоторое психологическое соотвѣтствіе съ Ѳомой Ѳомичомъ представляетъ у нашего автора герой „Записокъ изъ подполья", вымещающій на несчастной дѣвушкѣ всѣ тѣ униженія, которыя пришлось ему вытерпѣть самому отъ другихъ, вслѣдствіе загнанности своего положенія. Но когда эта дѣвушка не такъ понимаетъ его жестокую проповѣдь, и думаетъ схватиться за него, чтобы подняться нравственно,— онъ сурово отталкиваетъ ее отъ себя, обнаруживая передъ нею всю бездну того эгоизма, который развился въ немъ отъ ожесточенности человѣка униженнаго.

Другія личности Достоевскаго не ожесточены, а просто запуганы своимъ положеніемъ и находятся подъ вліяніемъ подначальнаго страха даже тогда, когда бояться рѣшительно нечего, потому-что начальники ихъ — люди добрые. Такимъ является у нашего автора молодой чиновникъ, сходящій съ ума отъ мысли, что, увлекшись своимъ положеніемъ жениха, онъ не умѣетъ въ срокъ окончить работу, возложенную на него „его превосходительствомъ". Здѣсь, конечно, авторъ уже вдается въ крайность: у героя, какъ замѣтилъ Добролюбовъ, оказывается уже слишкомъ *„слабое сердце"* (таково заглавіе повѣсти). Но и этотъ оттѣнокъ забитости получаетъ свое значеніе въ той общей картинѣ забитыхъ людей, какую рисуетъ намъ Достоевскій. Въ сущности также запуганнаго человѣка видимъ мы и въ повѣсти, озаглавленной „Скверный анекдотъ", повѣсти, по юмористическому своему тону, довольно близко подходящей къ гоголевскимъ произведеніямъ. Дѣло тутъ, какъ извѣстно, въ желаніи начальника порисоваться своею популярностію, гуманно отнестись къ подчиненному. Совершенно случайно его превосходительство попадаетъ на свадебный пиръ къ мелкому чиновнику своего департамента, попадаетъ съ другого пира, на которомъ онъ уже успѣлъ достаточно угоститься. Очутившись въ средѣ, для него слишкомъ низкой, и не зная, какъ-бы такъ, спустившись до нея, не утратить своего достоинства, онъ избираетъ благую часть—продолжаетъ и тутъ угощаться, но, хвативъ наконецъ черезъ край, попадаетъ въ положеніе, вовсе не

выгодное для его „достоинства“ и еще менѣе выгодное для подчиненнаго, котораго онъ вздумалъ „осчастливить“. Свадебный пиръ кончается въ высшей степени неудобною болѣзнью его превосходительства и необходимостью тщательнаго ухода за его высокой персоной — тутъ-же въ квартирѣ „осчастливленныхъ“ молодыхъ. Но что составляетъ уже рѣшительно печальную сторону этого „Скверпаго анекдота“— это дальнѣйшія послѣдствія конфуза его превосходительства для подчиненнаго, у котораго сей конфузъ приключился. Печальна та логика, которая сейчасъ-же заставляетъ подчиненнаго понять, что, сдѣлавшись ближайшимъ свидѣтелемъ критическаго положенія своего начальника, онъ уже не долженъ и думать показываться ему на глаза; и вотъ подъ вліяніемъ этой логики онъ спѣшитъ заглазно подать прошеніе о переводѣ въ другое мѣсто. Въ развязкѣ такимъ образомъ этотъ „анекдотъ“ — по мнѣнію нѣкоторыхъ, просто пустая, даже плоская, грязная шутка,—не лишенъ весьма серьезнаго смысла и находится, по послѣдствіямъ его для маленькаго человѣка, въ самой близкой связи съ другими картинами галлереи „забитыхъ людей“ Достоевскаго.

Къ этой же галлереѣ, конечно, должны быть отнесены и учительскіе типы, въ „Дядюшкиномъ снѣ“ и въ „Игрокѣ“. Въ первомъ мы видимъ бѣднаго учителя уѣзднаго училища, забраковаппаго въ качествѣ жениха именно изъ-за бѣдности. Между тѣмъ та, которую онъ любитъ и которая платитъ ему тѣмъ-же въ душѣ, сдается на постыдную торговую сдѣлку своей матери съ дряхлымъ сіятельнымъ богачомъ, успѣвшимъ, отъ слишкомъ весело проведенной жизни, потерять сознаніе и память. И этотъ-то живой мертвецъ долженъ повести ее подъ вѣнецъ, между тѣмъ какъ отвергнутый ею молодой честный труженикъ съ горя чахнетъ и умираетъ отъ чахотки. Въ „Игрокѣ“ обрисовано подначальное положеніе учителя въ домѣ человѣка, который смотритъ на него какъ на какую-то, почему-то считающуюся необходимою, мебель. Не что иное, какъ желаніе выйти изъ этого подначальнаго положенія, приводитъ его къ тому, чтобы рискнуть попытать счастіе въ соблазняющей его игрѣ на рулеткѣ. И какую яркую противоположность представляетъ при этомъ азартная игра старухи, тетки генерала, съ игрой учителя. Старуха пускается на краю могилы въ игру — по барской прихоти и изъ желанія

показать племяннику, разсчитывающему на ея наслѣдство, что она не только еще въ живыхъ, но и полна жизни и страсти, а главное, что она полновластная владычица своего богатства: захочетъ, и спуститъ все въ одинъ день у него на глазахъ, не оставивъ ему ни копейки. — Это совсѣмъ не то, что отчаянное „авось, и я выйду въ люди“ учителя, убѣдившагося въ томъ, какъ тяжелъ трудовой хлѣбъ, и рѣшившагося попытать счастье. Къ тому-же у него тутъ примѣшивается и желаніе поправить своимъ выигрышемъ положеніе любимой имъ дѣвушки, падчерицы генерала. Не отнесись она къ нему такъ гордо, не оттолкни она его протянутую къ ней руку, и онъ съумѣлъ бы остановиться во время, не втянулся бы окончательно въ грязный омутъ игры. Униженіе, испытываемое имъ, бѣднякомъ, отъ Полины,—самое тяжелое изъ униженій, потому что оно достается отъ существа любимаго,—доводитъ его до потери вѣры въ себя и въ другихъ, до совершеннаго нравственнаго паденія. А если мы, наконецъ, вспомнимъ послѣднюю встрѣчу его съ англичаниномъ, достающіеся отъ него упреки въ пустотѣ, въ отсутствіи характера, обобщеніе, дѣлаемое англичаниномъ — „что всѣ-то вы, русскіе,—пустые безхарактерные люди“, — то не трудно будетъ понять, что, послѣ всего предшествующаго, такое окончательное униженіе могло только нравственно доконать несчастнаго молодого человѣка. Повѣсть остается какъ бы оборванною, но можно предвидѣть, что героя ея ждетъ впереди только самоубійство... Мы такимъ образомъ возобновили въ памяти цѣлый рядъ, повѣстей, въ которыхъ выводятся униженные и забитые люди (я пополнилъ этотъ рядъ повѣстями, не отмѣченными у Добролюбова). Имѣя въ виду всѣ эти повѣсти, мы конечно не можемъ не согласиться съ вѣрностію сужденія, высказаннаго Добролюбовымъ, но должны восполнить его не менѣе вѣрнымъ сужденіемъ Бѣлинскаго. Добролюбовъ обратилъ главное вниманіе на то, до какой степени всѣ эти люди придавлены жизнью; Бѣлинскій — на то, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ не дали окончательно подавить въ себѣ все человѣческое. Но для насъ особенно важенъ взглядъ самого Достоевскаго на то, что составляетъ самое цѣнное въ человѣкѣ; а взглядъ этотъ прямо выраженъ въ „Запискахъ изъ подполья“: „Свое собственное вольное и свободное „хотѣніе“, говоритъ онъ тутъ, свой

собственный, хотя бы самый дикій, капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествія, — вотъ это-то и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ". Но не надо пугаться этихъ словъ, этого *хотѣнія* ради *хотѣнія:* Достоевскій сейчасъ-же оговаривается: „хотѣть можно и противъ своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно". Да, только способность и на такое хотѣніе доказываетъ, что человѣкъ владѣетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ,—захочетъ, и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ своихъ „Зимнихъ замѣткахъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ" Достоевскій окончательно высказывается въ этомъ смыслѣ: „поймите меня—самовольное, совершенно сознательное и никѣмъ не принужденное самопожертвованіе всего себя въ пользу всѣхъ есть, по моему, признакъ высочайшаго развитія личности, высочайшаго могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно пойти за всѣхъ на крестъ, на костеръ можно только при самомъ сильномъ развитіи личности". Вотъ что составляетъ идеалъ нашего писателя, и на этотъ-то идеалъ указываетъ онъ отрицательно рядомъ людей, которымъ именно свободнаго обладанія своею личностію и не достаетъ, въ которыхъ, повидимому, совершенно забито свободное человѣческое *хотѣніе*. Но Бѣлинскій не даромъ замѣтилъ, что въ Дѣвушкинѣ и Покровскомъ, несмотря на всю ихъ приниженность, вполнѣ сохранилась способность любить до самоотверженія, а Достоевскій именно въ этомъ видитъ самое сильное проявленіе личности; стало-быть, она тутъ не совершенно забита. Въ лицахъ вполнѣ довольныхъ, успокоившихся на комфортѣ, убаюканныхъ удобствами жизни, скорѣе можетъ оказаться совершенно подавленною та свободная человѣческая личность, которая проявляется въ расширеніи своего *я* постояннымъ общеніемъ со всѣмъ окружающимъ міромъ. Мы видѣли на Ал. Адуевѣ, на Обломовѣ, до какой степени самое воспитаніе можетъ вести къ тому, что личность въ этомъ лучшемъ, человѣчнѣйшемъ смыслѣ, такъ и остается не пробужденною. Достоевскій, напротивъ того, далъ намъ два дѣтскихъ типа, взятыхъ изъ той же обиженной судьбою среды, съ которою онъ постоянно имѣетъ дѣло, и мы ясно видимъ на нихъ, что именно раннее зна-

комство съ нуждою и горемъ и зажигаетъ въ душѣ тотъ священный огонь, который такъ часто остается навсегда чуждымъ людямъ, приголубленнымъ счастьемъ. Неточка Незванова,—главное лицо той прекрасной повѣсти Достоевскаго, которая осталась, какъ извѣстно, неоконченною вслѣдствіе постигшей его катастрофы.—Неточка Незванова выростаетъ уже вовсе не въ томъ блаженномъ невѣдѣніи жизни съ ея невзгодами, которое доводитъ и хорошихъ по природѣ людей до „обломовщины". Рано, еще ребенкомъ, познакомилась она съ горемъ, рано почувствовала сильную жалость къ людямъ, представляющимся ей униженными. Правда, она ошибалась на первыхъ порахъ: самымъ униженнымъ и оскорбленнымъ представлялся ей ея отчимъ, тогда какъ тѣ выговоры и попреки, которые доставались ему отъ жены, были имъ совершенно заслуженны. Не понимая этого, считая мать обидчицей, Неточка привязывается къ отчиму, который пользуясь этимъ, заставляетъ ее, наконецъ, утаивать деньги у матери. Читая романъ, невольно боишься, что этотъ человѣкъ развратитъ ея юную душу,—но то теплое любящее начало, которое такъ громко говоритъ въ ней, служитъ лучшимъ ручательствомъ, что этого не случится. И мнимо загнанный отчимъ, и сосредоточенная въ себѣ, какъ бы очерствѣвшая, страдалица мать умираютъ одинъ за другимъ. Неточка остается круглою сиротою и попадаетъ къ чужимъ людямъ; они ее хорошо одѣваютъ и кормятъ, но настоящей сердечной ласки она долго не встрѣчаетъ ни отъ кого, кромѣ какъ отъ самого князя, который, повидимому, и самъ играетъ какую-то печальную роль въ своемъ аристократическомъ домѣ. Но вотъ вдругъ къ Неточкѣ, во время ея болѣзни, приводятъ маленькую княжну, и мало-по-малу между этими двумя, такъ различно поставленными въ жизни дѣтьми, начинаетъ завязываться дружба. Достоевскій мастерски проводитъ психологическую черту, отдѣляющую ребенка, выросшаго въ нуждѣ и рано узнавшаго жизнь, отъ ребенка, воспитаннаго въ богатой семьѣ при блаженномъ невѣдѣніи жизни. Маленькая княжна, на долго не можетъ привыкнуть къ Неточкѣ; не зная, что такое горе, она не можетъ понять, почему та все плачетъ. Долго Неточка кажется ей прескучнымъ, пренесноснымъ ребенкомъ. Княжна думаетъ развеселить ее разными лакомствами, но все понапрасну, и бѣдная Катя уже считаетъ свою

подругу рѣшительно ни къ чему негодной. Но надобно замѣтить, что въ этой Катѣ, при всей ея избалованности, съ другой стороны, замѣтна и нѣкоторая ожесточенность. Мать ея, при своемъ чисто барскомъ своенравномъ характерѣ, часто поступаетъ съ нею несправедливо; отъ непомѣрнаго баловства она вдругъ переходитъ къ ненужной, ничѣмъ особеннымъ не вызываемой строгости, и въ ребенкѣ отъ этого развивается упорство и своенравная гордость своего рода. Понятно, что при такихъ качествахъ она долго не соглашается попросить прощенія у Неточки, которую огорчила тѣмъ, что слишкомъ любопытно ее распрашивала, кто такіе были и какъ жили ея родители. Къ тому-же вѣдь самолюбіе заставляетъ маленькую княжну завидовать Неточкѣ: всѣ говорятъ, что она и лучше учится и добрѣе, — и вотъ Катѣ хочется показать, что у нея за то есть такія преимущества, о которыхъ Неточка и думать не можетъ. Между тѣмъ въ сердечкѣ Кати уже невольно закралась привязанность къ Неточкѣ, но при своей такъ рано развившейся гордости и самолюбіи, она долго не хочетъ признаться въ этомъ и самой себѣ, а тѣмъ менѣе выказать свое чувство. Она внутренно какъ будто-бы сознаетъ, до какой степени готова она подчиниться вліянію этой бѣдной дѣвочки, но гордость эгоизма, угнѣздившаяся въ избалованной дѣвочкѣ, долго не допускаетъ ее до подобнаго подчиненія. Но вотъ, наконецъ, Неточка рѣшительно побѣждаетъ ее тѣмъ, что со всѣмъ увлеченіемъ дѣтскаго самоотверженія беретъ на себя вину Кати, за что ее и сажаютъ въ ту мрачную комнату, которую ея разыгравшееся воображеніе обращаетъ въ „темницу". Только съ той минуты, когда Катя увидѣла такую полную любовь къ себѣ со стороны своей подруги, и собственная привязанность Кати къ ней разомъ вышла наружу. Но именно тутъ-то, когда стала часъ отъ часу крѣпнуть и развиваться ихъ дѣтская дружба, когда еще неизвѣстное и воспитательное начало стало проникать въ сердце Кати, въ видѣ теплой любви къ добрѣйшему и такъ много уже испытавшему, въ своей маленькой жизни ребенку,—именно тутъ, этому, можетъ быть еще первому, единственному дѣйствительно-воспитательному началу въ ея воспитаніи — и это, конечно, съ умысломъ — не даютъ развиться: Катю увозятъ въ Москву, а Неточку сдаютъ въ другой домъ. Она, какъ извѣстно, находитъ и

тутъ лицо, къ которому привязывается тѣмъ крѣпче, что и это лицо — страдающее, несмотря на все приволье и блескъ своей обстановки; новая привязанность крѣпнетъ съ годами и вызываетъ новые самоотверженные поступки со стороны Неточки, уже дѣвицы... Но повѣсть, къ сожалѣнію, тутъ-то и обрывается...

О. Миллеръ.

* * *

*) Слабыя нервы, болѣзненно-раздраженная фантазія, начальныя припадки той болѣзни, которою страдалъ Достоевскій, недовольство окружающимъ, невозможность высказать это недовольство, „когда чего-то другого проситъ и хочетъ душа!“ — вотъ тѣ условія при которыхъ возникли странныя созданія Достоевскаго до 1849 года. Добролюбовъ, въ своей критикѣ, пытался указать на связь характеровъ Достоевскаго съ дѣйствительностью, и былъ убѣжденъ, что они выросли въ жизни. Онъ шелъ даже дальше; онъ поднималъ вопросъ: „отчего эти характеры доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества, отчего они образуются въ значительной массѣ, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ?“ но для рѣшительныхъ отвѣтовъ на эти вопросы, по его собственнымъ словамъ, „еще время не пришло“.

Второй большой разсказъ Достоевскаго: „Двойникъ. Приключенія господина Голядкина“, съ мучительнымъ и доведеннымъ до мельчайшихъ подробностей анализомъ сумасшествія старается, какъ намъ кажется, объяснить причины этого сумасшествія (а оно зарождается и развивается передъ читателемъ) именно тѣмъ обстоятельствомъ, что въ существо униженное, забитое и запуганное прокрадывается случайно сознаніе человѣческаго достоинства, желаніе такихъ же благъ, какія достаются счастливцамъ на этомъ свѣтѣ... По свидѣтельству Бѣлинскаго, глубоко-задуманный „Двойникъ“ вовсе не имѣлъ успѣха, что слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что разсказъ слишкомъ растянутъ, отчего и самая мысль автора, скрытая въ мелочныхъ подробностяхъ при-

*) Н. Буличъ. „Достоевскій и его сочиненія“. Казань 1881 г.

ключеній Голядкина, совершенно теряется. Публика не была еще пріучена къ такимъ разсказамъ. Бѣлинскому „Двойникъ“ не нравился; онъ видѣлъ въ немъ: „неумѣнье богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи“; находилъ онъ и другой недостатокъ: это фантастическій колоритъ, но, кажется намъ, послѣднее невѣрно. Двойникъ, встрѣчающійся на каждомъ шагу бѣднаго и придавленнаго героя, мѣшающій ему жить — не фантастическое созданье, а реальный продуктъ больного мозга Голядкина; сознаніе его раздваивается, и передъ нами мучительный процессъ этого раздвоенія одного и того же характера на двѣ половины. Но и въ головѣ самого писателя долженъ былъ совершаться тоже тяжелый и мучительный процессъ для того, чтобъ съ такимъ неумолимымъ хладнокровнымъ вниманіемъ, съ такою, если можно такъ выразиться, *сосредоточенною злобою* останавливаться на мелкихъ, ничтожныхъ и больныхъ приключеніяхъ Голядкина. Да, всѣ эти герои Достоевскаго, по его собственнымъ словамъ, „жалкое, уродливое, недоношенное племя, *племя корчащихся подъ свалившимися на нихъ камнями*“. Таковъ жалкій чиновникъ господинъ Прохарчинъ, въ разсказѣ подъ этимъ названіемъ,—смирный, таинственный и одинокій, у котораго вся незамѣтная для другихъ энергія уходитъ на откладываніе остатковъ отъ скуднаго содержанія на случай упраздненія той канцеляріи, гдѣ служитъ. Но Прохарчину не удалось воспользоваться сбереженіями; онъ умираетъ отъ паралича, и накопленныя деньги достаются другимъ. Таковъ бѣдный, гораздо болѣе симпатичный молодой чиновникъ Вася Шумковъ въ повѣсти „Слабое сердце“ (1848 г.), влюбленный въ свою невѣсту, мечтающій о будущемъ счастьи, съ наивно-радостнымъ чувствомъ долго выбирающій у француженки-модистки чепчикъ своей невѣстѣ для подарка на новый годъ и въ этомъ увлеченіи молодой любви забывающій, что ему надобно переписать къ назначенному сроку бумаги, данныя ему начальникомъ. Не то, чтобъ онъ забылъ о долгѣ, но онъ обманулъ себя, чтобъ постылымъ трудомъ не помѣшать дорогому счастью, чтобъ на нѣсколько времени не думать объ этомъ трудѣ. Но трудъ неумолимо встаетъ, наконецъ, передъ нимъ; онъ надѣется кончить; онъ пишетъ и пишетъ до тѣхъ поръ, пока товарищъ его по комнатѣ „съ ужасомъ не замѣ-

тилъ, что Вася водитъ по бумагѣ сухимъ перомъ, перевертываетъ совсѣмъ бѣлыя страницы и спѣшитъ, спѣшитъ наполнить бумагу, какъ будто онъ дѣлаетъ отличнѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ дѣло"! Бѣднякъ сошелъ съ ума отъ „слабаго сердца", на мысли, что его отдадутъ въ солдаты (такое наказаніе было тогда не рѣдкостью) и въ изорванномъ мозгу его стояла неотразимо одна только мысль: „За что же ее убивать! чѣмъ же она, чѣмъ же она виновата?—Прощай, моя люба! Прощай, моя люба! шепталъ онъ, качая бѣдной своей головой". Сердце сжимается болью отъ этой ненужной жертвы, отъ этой бѣды, какъ бы упавшей съ неба. Кто виноватъ въ этомъ несчастьи Васи? Неужели только слабое сердце? И Васю, какъ и господина Голядкина, увезли въ сумасшедшій домъ. Счастье его, что въ бреду станетъ ему грезиться его „люба", тогда какъ Голядкинъ не отдѣлается отъ представленія „своихъ враговъ, согласившихся погубить его". Задумался другъ Васи: „Какая-то странная дума посѣтила осиротѣлаго товарища бѣднаго Васи. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключомъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ будто только теперь понялъ всю эту тревогу и узналъ, отъ чего сошелъ съ ума его бѣдный, не вынесшій своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ, и *какъ будто прозрѣлъ* во что-то новое въ эту минуту"...

Эти три разсказа Достоевскаго изъ первой поры его литературной дѣятельности кажутся намъ лучшими: въ нихъ авторъ съ грустною думою подходитъ къ дѣйствительности и пытается изобразить въ лицахъ, въ людяхъ, не выхваченныхъ изъ жизни и изученныхъ съ строгою наблюдательностью, а созданныхъ его воображеніемъ и глубоко обдуманныхъ, каково должно быть на нихъ вліяніе окружающей и гнетущей ихъ среды. Сознательная мысль, которая легла въ основу этихъ произведеній, внушена была автору современною критикою, которая была учительницею и общества и авторовъ. Правда, какъ за Дѣвушкинымъ выглядываетъ Гоголевскій обладатель шинели, такъ за Голядкинымъ и Васей подымается знакомая всѣмъ фигура Аксентія Иванова Поприщина, но связь этихъ второстепенныхъ повтореній первоначальнаго типа со средою, ихъ создавшею, яснѣе сознается читателемъ.

Современная критика упрекала Достоевскаго за то, что онъ „любитъ сумасшествіе—для сумасшествія“, но это не такъ: упорное, болѣзненное и постоянное вращеніе въ сферѣ идей, близко граничащихъ съ душевною болѣзнью, которая сама возникла подъ вліяніемъ соціальныхъ причинъ, было сущностью таланта Достоевскаго. Оно вызывалось и тою странною жизнью, какую велъ онъ, уже страдающій нервными припадками. Большая повѣсть „Хозяйка“, по словамъ тогдашней критики, „порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до крайности фантазія“ (П. В. Анненковъ, *Воспом. и критич. оч.* II, 23). Достоевскій взялся въ ней за лица, какихъ онъ никогда не видалъ, за изображеніе совершенно незнакомой ему жизни; его фантазія, опиравшаяся на знакомый ему міръ бѣднаго петербургскаго чиновничества, оказалась въ этомъ случаѣ совершенно безсильною, а странный языкъ въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ—безжизненною поддѣлкою подъ народную рѣчь. Недостатокъ наблюденія, необходимый для автора, бросается въ глаза читателю особенно въ тѣхъ разсказахъ Достоевскаго, которые онъ началъ писать въ 1848 году, подъ названіемъ „Разсказы бывалаго человѣка“. Эти разсказы одолжены своимъ появленіемъ „Запискамъ Охотника“. Художественные, простые, проникнутые поэзіей и тонкою наблюдательностью очерки Тургенева, знакомаго съ тѣмъ, что онъ описываетъ, стали пользоваться тогда чрезвычайнымъ успѣхомъ. Міръ, изображенный Достоевскимъ, совѣмъ иной. Это тѣ же жалкіе обитатели бѣдныхъ петербургскихъ „угловъ“, придавленные нуждою, горемъ и пьянствомъ; это не жизнь дѣйствительная, да и самъ „бывалый человѣкъ“, какъ называетъ себя авторъ, говоритъ, что онъ „живетъ уединенно, совсѣмъ затворникомъ. Знакомыхъ у меня почти никого; выхожу я рѣдко. Десять лѣтъ проживъ глухаремъ, я конечно привыкъ къ уединенію“. Откуда же взять ему наблюдательности, необходимой автору?

Начатки меткаго анализа человѣческихъ чувствъ, въ которомъ Достоевскій является такимъ мастеромъ въ послѣдніе годы своей жизни, можно найти въ небольшихъ сценкахъ, гдѣ обрисованъ съ значительнымъ, хотя и тяжелымъ юморомъ, типъ ревниваго мужа. Таковы разсказы „Чужая Жена“ и „Ревнивый Мужъ“. Почему-то къ этому типу Достоевскій

возвратился и потомъ, и въ позднѣйшемъ разсказѣ „Вѣчный Мужъ“ (1871) желалъ возбудить какъ бы сочувствіе къ ревнивцу, пытался выставить въ немъ что-то трагическое. Сантиментальный романъ изъ того же времени „Бѣлыя Ночи“ любопытенъ потому, что тотъ же „бывалый человѣкъ“, какимъ назвалъ себя авторъ, выставляется въ новомъ свѣтѣ. Мы видимъ молодого Достоевскаго въ качествѣ „мечтателя“ въ уединенномъ петербургскомъ „углу“, и этотъ типъ онъ старается опредѣлить. Это—улитко-образное существо, приросшее въ своемъ углу, съ слабыми нервами, съ болѣзненно раздраженной фантазіей, наполненной образами иного міра, картинами новой, очаровательной жизни, когда кругомъ „все такъ холодно, угрюмо, сердито“. Безсонныя ночи проходятъ, какъ одинъ мигъ, въ неистощимомъ весельи и счастьи и, когда заря блеснетъ розовымъ лучомъ въ окна и разсвѣтъ освѣтитъ угрюмую комнату своимъ сомнительнымъ фантастическимъ свѣтомъ, какъ у насъ, въ Петербургѣ, нашъ мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпаетъ въ замираніяхъ отъ восторга своего болѣзненно-потрясеннаго духа и съ такою томительно-сладкою болью въ сердцѣ“. Посреди такихъ грезъ авторъ жалуется, что онъ „потерялъ всякій тактъ, всякое чутье въ настоящемъ, дѣйствительномъ“, а „между тѣмъ чего-то другого проситъ и хочетъ душа“. „Жизни нѣтъ или она освѣщена лишь тѣмъ блѣднымъ и трепетнымъ свѣтомъ, какой даютъ бѣлыя петербургскія ночи. Естественно, что тутъ не создаются цѣльныя, законченныя созданія.

Въ большомъ романѣ Достоевскаго „Неточка Незванова. Исторія одной женщины“, неоконченномъ по случаю катастрофы съ авторомъ, онъ пытается овладѣть типомъ молодой дѣвушки, сохранившей дѣвственную поэзію и прелесть посреди самыхъ ужасающихъ условій бѣдной жизни, съ рано развитымъ сознаніемъ жизненнаго горя, между забитою и вѣчно-больною матерью и пьяницею вотчимомъ, въ жалкомъ углу, „гдѣ никогда не смѣются, никогда не радуются, гдѣ вѣчное, нестерпимое горе“ съ „чадомъ безпорядочной жизни“, и Неточка рано стала ломать голову, стараясь угадать, отчего это такъ. И она, какъ и самъ авторъ, уходитъ со всѣми своими желаніями и надеждами въ фантастическія грезы, теряя всякій тактъ и всякое чувство дѣйствительности. Въ вѣчныхъ

ссорахъ между вотчимомъ и матерью, дитя должно было стать на чью-либо сторону, и она выбрала полусумасшедшаго вотчима, „оттого, что онъ былъ такъ жалокъ, такъ униженъ въ глазахъ моихъ". Когда, послѣ страшной катастрофы, героиня осталась сиротою и сдѣлалась пріемышемъ въ княжескомъ домѣ, ея симпатіи сосредоточиваются на бѣдномъ мальчикѣ, находившемся на одинаковыхъ съ нею условіяхъ въ томъ же домѣ, и она полюбила этого „бѣднаго мальчика, вздрагивавшаго отъ малѣйшаго шума, отъ каждаго голоса, со слезой, набѣгавшей на его маленькія, рыженькія рѣсницы, когда бывало онъ забьется въ уголъ одинъ, и, думая, что его никто не видитъ, хнычетъ потихоньку"... Но въ этомъ мальчикѣ просыпается злое чувство, желаніе выместить на другихъ обиды, посланныя ему жизнью. Въ немъ развивается мрачная подозрительность, все окружающее кажется ему сурово, неумолимо-враждебнымъ къ нему, и Неточка сближается съ этимъ оскорбленнымъ и уже мечтающимъ о мести существомъ, но авторъ не даетъ развитія этому рано озлобленному характеру. Сама Неточка живетъ только головными грезами, въ рѣзкомъ отчужденіи отъ всего окружающаго; въ жизни ея нѣтъ никакихъ радостей. Не знаемъ, какъ бы развернулся романъ, еслибъ Достоевскому была возможность кончить его *).

---

*) Помѣщая въ перечисленіи повѣстей и разсказовъ произведенія: „Маленькій герой", „Романъ въ девяти письмахъ", „Елка и свадьба" и „Крокодилъ", мы имѣли въ виду только соблюсти порядокъ въ библіографическомъ отношеніи; въ помѣщенныхъ же въ этой книгѣ критическихъ разборахъ о нихъ не упоминается.

Примѣч. В. Зелинскаго.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ВЫВШИМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орѳографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орѳографическихъ правилъ, орѳографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное,—почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя" открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, изовщикъ, изосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ орѳографическомъ словарѣ подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ съ разноцвѣтной окраской обрѣза, 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орѳографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 11-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орѳографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орѳографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ орѳографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самодѣятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ орѳографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріобрѣтаютъ орѳографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ѣ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к. (Печатается 4-мъ изданіемъ).

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнитель-

но къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію“).

13 Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орѳографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

15. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1901 г. Цѣна 1 р.

16. в) Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

18. Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к. (Печатается третьимъ изданіемъ).

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть.

26. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунѣ“— Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

29. Н. В. Гоголь въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго (печатается).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

Stanford University Libraries
3 6105 011 715 211

PG
3328
Z6Z4
1901a
v. 1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

NOV 17 '67
SEP 30 1968
NOV 29 '68
JAN 26 '69
FEB 26 1969
JUL 24 1969
NOV 1 1969
MAR 29 1973
JAN -6 1986